

- **ЭТИХ ТЫ НЕ ТРОНЕШЬ, ГОСПОДИ!** –
мир и война в первой повести Моисея Винокура
- **ЧТО ЖДЕТ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ?** –
И. Либлер и В. Браиловский о будущем еврейского движения в СССР
- **ЦАРСТВО СВЯЩЕННИКОВ ИЛИ СТРАНА ЕВРЕЕВ?** –
М. Вартбург о конфликте еврейской религиозной и государственной идеи
- **ВВЕДЕНИЕ В ТЕОЛОГИЮ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ** –
З. Бар-Селла разгадывает тайну знаменитой книги Ст. Лема
- **ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СОЛЯРИС** –
впервые по-русски – неопубликованные главы одноименного романа
- **ДОРОГА НА ОДНОГО** –
интервью Н. Гутиной с поэтом Михаилом Генделевым
- **ЕВРЕИ, КАКИМИ ИХ СОЗДАЛ МОИСЕЙ** –
завершение публикации последней книги З. Фрейда

56



МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ



№ 56



ДВАДЦАТЬ ДВ

*Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год*

56

октябрь-ноябрь 1987



*издание общественного культурного фонда
"МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством израильского комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 4 *МОИСЕЙ ВИНОКУР*. Веточка пальмы (повесть)
30 *МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ*. Праздник (стихи)
35 *ДАВИД ТАКСЕР*. Воспоминание о будущем (рассказ)
63 *СЕРГЕЙ РУЗЕР*. По кольцу (рассказ)

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 97 *ИСИ ЛИБЛЕР*. Будущее еврейского движения в СССР
107 *ВИКТОР БРАЙЛОВСКИЙ*. Будущее начинается сегодня

СУДЬБЫ ИДЕЙ

- 109 *МИХАИЛ ВАРТБУРГ*. Плата за сионизм

ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ

- 128 *ЗИГМУНД ФРЕЙД*. Этот человек Моисей (окончание)
157 *РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН*. Загадка Фрейда (послесловие)

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

- 169 *ЗЕЕВ БАР-СЕППА*. Введение в теологию космических полетов
182 *СТАНИСЛАВ ЛЕМ*. Солярис (главы, не публиковавшиеся в русских переводах)

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

- 194 *МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ*. Дорога на одного (интервью с Н. Гутиной)

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 205 *РОЗА ЛЯСТ*. Помпеи в Бейт-Шеане (очерк)

ЛЮДИ И КНИГИ

- 213 *ИОСИФ ЗАСЛАВСКИЙ*. Страсти-мордасти, или песни восточных славян
216 *ДАВИД ЦИФРИНОВИЧ*. Удивительная книга

ПО ПОВОДУ

- 217 *В. БОГУСЛАВСКИЙ* (о статье А. Этермана)
220 *С. РЕЗНИК* (о статье М. Азбея)
223 *ГЕОРГИЙ ДРИЗЛИХ*. Памяти друга (к безвременной кончине Александра Гольдмана)

На последней странице обложки — Александр Гольдман.

РЕДКОЛЛЕГИЯ И АВТОРЫ ЖУРНАЛА "ДВАДЦАТЬ ДВА" СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ...



... МАЙЮ КАГАНСКУЮ С ПРИСУЖДЕНИЕМ ПРЕМИИ ИМЕНИ ДЖЕЙМСА ПАРКСА ЗА ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СОВЕТСКОГО АНТИСЕМИТИЗМА

... РАВА АДИНА ШТАЙНЗАЛЬЦА С ПРИСУЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИЗРАИЛЯ ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ РАБОТУ ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ И КОММЕНТИРОВАНИЮ ВАВИЛОНСКОГО ТАЛМУДА



...АЛЕКСАНДРА ВОРОНЕЛЯ С ПРИСУЖДЕНИЕМ ПРЕМИИ ИМЕНИ Р. Н. ЭТТИНГЕР ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА СБОРНИК ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ "ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА"

Оружейных дел мастер Саид Хамами с женой Аюни и узлом носильных вещей прибыл в Сион на крыльях орла из Йемена.

В изначалье Пятого царства. Во времена Давидки-бомбардира.

Того самого Дуделе, что приказал обстрелять и затопить пароход "Альталена" с репатриантами-бейтаровцами на борту в виду берегов Святой земли.

И потопил!

Накаркало воронье напасть державе той, низкорослого, патлатого фараончика, и не смыть его имя с надгробья истории...

Да.

Но не о нем речь.

Чудо с орлом и йеменцами сотворило Еврейское Агентство.

Появились на улицах Адена, на базарных площадях и в молитвенных домах опасные люди издалека, говорящие шепотом. В сумерках приходили они и исчезали в ночи, но от сказанного "безликими" умолкали раввины, да старухи пророчили беду.

Переполнились сердца Иврим страхом, а души томлением.

Закрывал теперь лавку Саид Хамами задолго до вечернего намаза правоверных, терял покупателей в весенний месяц Ияр — месяц охоты на пере-

Моисей Винокур

ВЕТОЧКА ПАЛЬМЫ

(повесть)

пелов и бойкой торговли. Уходил, прятался в комнате, прилепленной к лавке, где земляной пол был сплошь покрыт лоскутным одеялом, в две ладони ребром толщиной.

Ждала его там девочка Аюни — жена его из почтенной семьи, что выпекали лепешки на продажу, а в праздник Песах — мацу.

В красном, золотом шитом наряде ждала его Аюни.

Маленькие ножки, такие теплые и трепетные в любви, как пара птенцов-перепелят, укрыты от чужого взгляда традиционным “лиджа” от пяток до бедер, и только он, Саид Хамами, знает тайнства жены.

Грешил он, подглядывая, как его Аюни плавит воск на мангале. Как полоски льна пропитывает вязкой липучкой, накладывая на ноги и укромные места на лобке и подмышками. Как, закусив нижнюю губу, с визгом и стоном срывает с нежного тела своего тонкий пух волос — и все это ради него, Саида, господина своего и кормильца.

Подводила брови зеленой сурьмой. Натирала десны кожей ореха, и тогда белые зубы ее были красивее сахара.

Мятой и камуном пахла Аюни. Мятой и камуном...

В ту зиму, в месяц Шват, познал жену свою Саид. В конце зимы появились “безликие” и ушла мужская сила из Саида.

Совсем ушла.

Помнит он, разговорился со знакомым охотником-мусульманином о беде своей. Как продал лучший свой “мультук” с прикладом из ливанского кедра за бесценок. И сказал охотник: “Криза”. А что это — объяснить отказался. Ходил человек в Мекку, в хадж, Аллаху падал в ноги в молитве, а объяснить — убоился. “Криза” — и весь сказ.

Бежал сон и покой от Саида. Корила себя и горевала Аюни, ставшая неугодной в глазах мужа. Плавилась, сгорала свеча до восхода солнца, уходила ночь вместе с сжигающими слюну рассказами Аюни, как видела она однажды ослов — самца и самку, как на бегу и с разбегу вошел Хамор с ревом и воплем в Атон и как правоверных, ужаленных ревом, понесло из мечети вдогонку за ослами. Как били палками человеки животных, но упрямые ишаки продолжали реветь и любить друг друга.

Только и эти рассказы не укрепляли Саида.

Тогда пошел он к известному колдуну в Адене по прозвищу Заб, и сказал ему косорылый мудила, говоря: “Ты Яхуд! И место твое в стране твоего Бога! А беда твоя лежит на листьях ку-

стов "Джат". Пожуеть листья и забудешь печали свои, и прошлое свое, и ремесло свое. Много детей будет у тебя, и то, что с печалью носишь ты между ног своих, в прибыль и в радость превратится. Знаменитым будешь в роду своем, и соплеменники твои придут к тебе на поклон".

Так сказал косорылый Заб, и Саид поверил ему. Всем сердцем поверил. И сбылись слова те в Сионе.

Большой серебряный орел перенес Саида и Аюни из Адена в Луд, и поселили их в городе Реховот, в квартале Шаараим. В квартале тайманим. Стали называть соседи Саида — Саадией, а его жену Аюни — Аувой.

С Кризой наш Саадия так и не расстался, но уже совсем по другой причине. Быстро смекнул Саадия, что поймавший Кризу в Сионе может считать себя счастливым человеком. Избранником судьбы может считать себя, да!

Зазывают Саадию к военному коменданту.

— Давай, — говорят, — оформим в войско.

Саадия говорит:

— Нет!

— Как "нет"? — говорят. — Обязан.

— У меня Криза!

— Когда же пройдет твоя Криза?

— Дайте мне Чанс!

Или вот, к примеру, "Нудники" из бюро социального обеспечения. Приставали. Ругали. Примерами глупыми запутывали.

— Посмотри, — говорят, — дорогой Саадия. Все соседи твои уже полицейскими стали. Уважаемыми людьми стали, — говорят. — В мэрии служат чиновниками и инспекторами на базаре. Очень уважаемыми людьми стали, соседи твои. поголовно. Ты же на пособии сидишь и не хочешь стать уважаемым человеком.

— У меня Криза! — говорит Саадия. — Дайте мне Чанс...

Ко времени нашего знакомства с семейством Хамами Саадия успел Ауве "нашмокать" пятерых детей.

Ко времени нашего знакомства оружейных дел мастер из Йемена превратился в известного в квартале Шаараим лекаря. Косметолога, можно сказать. Народного косметолога...

Приходили соплеменники во двор Саадии пожевать сочно-зеленые листья гата, чтоб исчезли морщинки на хую, приходили выпить стопочку арака и пососать табачного с придурью дыма из наргиле.

Все со спиральями длинных жестких волос впереди ушей и все, как один, в черных беретах бронетанковых войск армии обороны Израиля.

Мода у них такая. Мнение.

Красивые бабки зашибал Саадия за свою терапию. Очень красивые бабки!

Так говорил мне Саадия в вечер нашего знакомства.

— Красивые деньги и почет, — сказал Саадия.

— И ты, сосед мой Муса, имеешь в глазах моих почет, — сказал Саадия. — Только машина твоя очень длинная. Как сороконожка, машина твоя, и в брюхе ее десять маленьких сороконожек.

— Ты прав, господин мой Саадия, — говорю я пожилому тайманцу, и мне не очень хочется толковать об этом.

— Машина твоя пьет твои соки, яа, Муса, — говорит Саадия. — Не должен мужчина так рано вставать и так поздно работать.

Саадия берет коричневыми морщинистыми пальцами с желтыми ногтями щепотку листьев гата и запихивает за щеки, плотно набивая рот.

— Бери, яа, Муса. Листочки от дерева жизни отведай, — угощает Саадия от своего изобилия.

— Юсиф, — зовет кого-то Саадия. — Принеси для русского арака.

— Я водку пью, — говорю я господину моему Саади. — Исключительно водку.

— Плохо, — говорит господин мой Саадия. — Иноверцы могут пить водку. Она им не во вред. А у еврея от водки в мошонке всплывают яйца и высыхает мужская сила. У еврея яйца не должны плавать сверху...

“Да, — думаю. — Тот еще “лепила” мне тюльку гонит. Скользкую тему бухтит мужик. Некрофилию. Где ж это видано, чтобы на трезвую голову живую бабу шмурьгать?” Но молчу. Я у него в гостях.

— Сколько детей у тебя, господин мой Саадия? — ухожу я от нездоровой темы и думаю: “На хер я вообще сюда приперся? В растительный мир и фольклор?”

— Два сына у меня, яа, Муса. Два леопарда! Самцы! — говорит Саадия, и зубы его процеживают зеленую жижу наркотика. — Иосиф и Биньямин.

Я гляжу, как по двору бродят три полураздетые бабенки в

папильотках. Чернокожее, голодное мясо выпрыгивает из допустимого приличия.

— ?

— Дети Аувы, — отвечает господин мой Саадия презрительно. — Бзаз!*

К нам, сидящим за столом в тени дерева гуява, подходит высокий широкоплечий парень. Открытая, хорошая морда. Улыбается по-доброму. Сабра, а наглости придурочной, вседозволенности — нет. Сколько их у нас в народе — лиц, осененных Господом!!! Исключительно в боевых частях получают в награду солдаты такие лица. Только в Сионе. Вспоминаешь службу свою в береговых частях Черноморского флота. Урки в погонах. Ссученные. Только и мечтали, что бы где спиздить и пропить. Самогон. Одеколон "Бузок". Порошок зубной разводили. Анашу смолили и кодеином двигались. А рожи у всех — монголоиды!

Лучший полк Черноморского флота...

Теперь-то, оглядываясь издалека, вижу, что служил я в полку "кризисеров".

Только "шанс" мы не просили. Обходились гауптвахтами. Да нам бы "шанс" и не дали.

Вот и пришло время послать подальше господина моего Саадию, косметолога, и полк мой прибалтанный, и рассказать вам о моем друге Иосифе Хамами. Родственнике моем духовном и крестном отце сына моего Йегонатана-Залмана.

Убивался я, братья мои, голову ломал, с ума сходил, а придумать сыну имя достойное не мог.

"Фьюзы" сгорали, а придумать сыну имя достойное не мог. Даже в Новом завете имя достойное сыну искал — и хоть ты тресни!

Как назвать сына в честь отца моего, если отца звали Зяма? Как?

Возьмите меня в пример.

Родился я в Комсомольске-на-Амуре. Назвали меня — Моисей Зямович. Самое обычное имя и отчество. И место рождения. Кому-то там могла прийти в голову насмешка? У кого-то возникали сомнения: как жить ребенку с таким именем? Нет! Родился Моисеем Зямовичем — живи себе Моисеем Зямовичем.

* Бзаз (араб.) — титьки.

А вот попробуйте в Сионе выжить с именем Зяма! Когда кругом Игалы и Алоны! Вы меня понимаете?

Сижу один в квартире в квартале Шаараим. Пью водку. Жена, Маргарита Фишелевна, в больнице имени Клары Каплан. В родильном отделении. Двухэтажный трейлер мой, что новые машины перевозит, на пустыре за окном валяется. Не до него. Вдруг — звонок и стук в дверь. Сижу и недоумеваю, кто ко мне, сироте, может ломиться на исходе субботы? Кто? Мусора, кто же еще...

“Ох, — думаю. — Как я вас ненавижу! Даже еврейский мент — это Мент. Выблядки Каина!”

— Заходите, — кричу. — Заходите, бензонаим...*

И надо же — Йоська заходит. Иосиф Хамами. Старший сын “косметолога”.

— Ахлан, Юсуп! — встречаю я гостя нежданного и дорогого.

— Шалом, Моше, — говорит вежливый Иосиф. — Шабат шалом!

Почему ты пьешь один, как собака?

— Сирота я, Йосенька, — отвечаю, — чего уж там. Привык... И горе у меня, большое горе...

— Брось все и пошли ко мне, — говорит мне в ответ Иосиф. — Я помогу твоему горю.

Знаете, меня долго уговаривать не надо. Благословен Господь, что не сотворил меня женщиной...

Сидим мы с Йоськой под деревом гуява в полной тишине на исходе субботы. На столе орешки рассыпаны, фрукты, фистук-халаби, изюм.

— Знаешь, — говорю, — брат мой Юсуп, женщины в России называли меня Изюмовичем. Прямо так запросто говорили: “Что это ты, Изюмович, зарпортовался, величайшую заповедь забыл: не прешь и не рвешь?!”**

— Я помогу твоему горю, — говорит Йоська. — Какое у тебя горе?

— Со дня на день сын у меня родится, имени нет.

— Хмар***, — говорит вежливый Юсуп. — Откуда ты знаешь, что у тебя будет сын?

Смотрю я на Йоську и смеяться мне в лицо его хочется. Хоть

* Бензонаим — искаженное в просторечии ивритское “выблядки”.

** “Пру урву” (фонетическая транскрипция ивритского написания заповеди “плодитесь и размножайтесь”).

*** Хмар (араб.) — осел.

и роскошная рожа у Йоськи. У Йоськи две девчонки в активе, а у меня сын в России, Эфраим, техникум электромеханический закончил. Может быть, в Афганистане лютует сейчас — как знать? Платит мой первенец Советам таможенные сборы. Вырос зверенышем без отца...

— Слушай, — говорю, — Юсуп, и запоминай. Почему у тебя только девочки рождаются? Это ты ишак, а не я. Любишь ты свою Эстерку, жену свою, до кондрашки, и это — беда! От беды девочки рождаются... Так мне отец мой, Зямчик, объяснил. Если любишь — исключительно девочки и беда в дом войдут. И проживешь ты свою жизнь в печали и оппозиции. Отец, правда, сказал проще, но ты, Юсуп, по фене не ботаешь и тебе не понять...

— Давай, — говорит Йоська, — гат пожуем.

— Давай.

Приносит корзинку листьев. Жую с проглотом. Араком, мерзатиной, запиваю... Как одеколон в морской пехоте...

Что и говорить — обшмалялись мы с Юсупом в драбадан. Что я только Йосеньке в тот вечер не пиздел?! Как хороши, как свежи были розы! — говорил я другу, рожденному в Израиле и никогда не бывавшему на периферии. Я возил его на перекладных из Тифлиса!! Я стучал в рельс у штабного барака. И в заснеженном парке в Амстердаме мы, я и Йосенька, обоссались в штаны в присутствии прекрасной дамы... Да! Двое обрезанных — и Прекрасная Дама!

— Как себя чувствуешь? — тревожится Юсуп.

— Как кошерная скотина, — говорю. — Выделяю жвачку и копыта растопырил.

— Ай-ва! — говорит Йоси. — Я помогу твоему горю.

— Чем ты можешь мне помочь, дикий человек, абориген?

— Дай сыну имя величайшего еврейского полководца!

— Смеешься? — спрашиваю.

— Нет.

— Юсуп, я должен назвать ребенка именем моего отца! Моего отца водил по Колыме гулаговский "полководец" Герман. Кстати, тоже еврей. Полный червонец. Душа деда непутевого, Зямчика моего, переселяется во внука, а ты про полководца трекаешь.

Тогда рассказал мне Йоси о царе Сауле. О военачальнике его Йегонатане. О воинском счастье его и преданности... Красиво говорил Иосиф. Погибли Йегонатан и Саул... Одеревенели скулы от листьев тайманского наркотика. Не нравился мне Саул. Хоть

и ростом был от плеча выше любого в Израиле, мне мерещился тот патлатый, что обстрелял и потопил "Альталену".

— Знаешь, как переводят имя Йегонатан? — спрашивает меня, смурного, Иосиф.

— Нет.

— Поц! — говорит мне в лицо Юсуп безнаказанно. — Это имя прямо от Б-га! Б-г дал!! Йего Натан!!! Вернул тебе Господь Зямку твоего. Так и назови сына — Йегонатан-Залман-бен-Моше.

Вот тебе и гат, орешки с изюмом... Человек Б-жий, абориген мой, Юсуп... Кому косметика, а кому судьба...

Схлынула с меня дурь левантийская и поклялся я перед Иосифом Хамами, что на обряде союза с Предвечным будет он первым человеком. Крестным отцом.

Друзья и соседи прозвали Йегонатана — "Бакбук Молотов". Очень опасный мальчик крутился среди нас. Вылитый дедушка. Благим матом и не благим ревело мое золото, чижик мой, Зямочка, пугая окрестных тайманцев. Заслышав его вопли, беременные соседки проводили тыльной стороной ладони по глазам и говорили: "Хамса"*.

А Йоська души в нем не чаял. Забаловал пацана гостинцами, курить, каналья, учил и жевать листья гата. С военных сборов, не заходя домой, прибегал. Жетон, крылышки и красный берет парашютиста подарил, а такие вещи не дарят.

Рысачил я в ту пору на линии Эйлат—Герцлия. Двадцать шесть ходок в месяц отдай — не грехи. Восемьсот верст на круг. Да прихватишь еще пару коротких рейсов, от стада европейских машин, что прибывают в порты Ашдода и Хайфы. Не одних же "япошек" таскать.

Едешь вечером домой совершенно счастливый и гадаешь: "Спит уже мое золото или еще под деревом гуява сидит? Кушало дите борщ или опять шашлыки с мангала всухомятку ест, обжигаясь? "Косметолог" ему сказки арабские рассказывает или маманя про Киев бухтит?" Задумаешься, развесишь уши и проутюжишь светфор на темно-бордовый цвет. Визжат наездники из легковушек, пальцами у висков крутят, средним перстом пассы шлют, номер записывают на память. Рюхнешься в зеркала — не повис ли на хвосте ментализм — и радуешься. Удержу, можно сказать, нет от

*Хамса (араб.) — пронеси нелегкая.

радости. Прибегаешь в свой Шаараим, наконец, бросишь трейлер на пустыре — и домой.

— Где дите, женщина? — спрашиваешь. Во-первых!

— Внизу, — отвечает. — У Йоси.

— В детдом, — говорю, — сука, дите родное сдала?

Плачет...

Большой зуб я имею на Маргариту Фишелевну за воспитание Зямки.

— Кем вырастет дите, — спрашиваю, — если слова на идише не знает? Гашишником?

Плачет...

Разнервничался я, расписиховался и уж не помню — то ли про себя, то ли вслух — говорю: “Что ж ты, батяня, Зяма Аронович (благословенной памяти) о внуке не заботишься? Неужели, — спрашиваю, — и пацанчику судьба наша выпадет: носить ношенное и ебать — брошенное? У еврейского ребенка кличка “Бутылка Молотова”!”

— Приведи, Изюмович, киндера, — просит Ритатуля Фишелевна. — Он меня не послушается. А я пока на стол соберу.

Во дворе у Саадии Хамами, за столом под деревом гуява, как обычно, целая шобла пейсатых в бронетанковых черных беретах и мой сын. А также Иосиф и младший брат Биньямин.

— Ахлан, Муса! — приветствуют тайманцы. — Ахлан, мужчина! Ахлан, человек, у которого в доме растет леопард! — говорят тайманцы русскому человеку в глаза. Что с них взять, с дикарей? У них своя “феня”.

— Валлак, Абуя! — мяукает “леопард”. — Я сгораю по тебе!

Глаза мои припаяны к Йегонатану-Зямке. Короткие волосенки его впереди ушей, на висках, скручены в сосульки.

Столбенею и мысленно, как обычно в случаях непонятных, спрашиваю батьку Зяму Ароновича: “Что будет?”

Выходит на связь папашка. Ни разу не пропустил вызова. А шнораю я частенько.

— Зяма Аронович, — спрашиваю. — Ты видишь, что с внуком твоим делают?

— Не гони волну, — транслирует дедушка из далека, чистого и светлого. — Не переживай за малолетку. Начальник на разводе со мной о внуке говорил. Улыбался Начальник. “Правильный малолетка у тебя растет, Ароныч, — говорит. — Всей нашей кодле на радость”.

Тайманцы толкуют мое замешательство за скромность.

— Бзаз! — кричит Саадия дочкам в папилютках, и связь обрывается. — Принесите мужчине чистый стакан.

Ветерок прохладный шатается по двору в обнимку с дымом от мангала. Запахом печеной свечки и осени окутано дерево гуява. Ягненком пахнет мой Йегонатан, засыпая у меня на руках. Поет Биньямин песню о коленях Израилевых, о десяти пропавших Коленах. О большей, исчезнувшей части Народа. Про узкий мост поет Биньямин Хамами, который надо пройти без страха. Мост жизни... Плачет гитара в руках умельца. Спит маленький Зямка на Родине. Счастливый Иосиф хлещет арак стаканами. Его Эстер прощупали врачи ультразвуком. Сын будет у Юсупа! Нагляделся-таки на моего малыша, макая пальцы в сладкие слюны во рту, накручивая короткие пейсы-сосульки на висках у "Бутылки Молотова".

— Велик Господь, — говорю я собранию.

— Иншалла! — отвечают тайманцы хором, и никто не запоздал с выкриком. Хорошая это примета у евреев. Не жизнь, а автострада ожидает такого ребенка. Не то, что нас, все несет по Старой Смоленской...

В конце мая восемьдесят второго года послу нашему в Англии комсомольцы Арафата прострелили голову. Не смертельно.

Обычное дело в нашем регионе, пистолетные эти намеки, когда касается рядового еврея. Хрюкнут журналисты мимоходом новость, что, мол, молодой человек из национального меньшинства "замочил пером" у Шхемских ворот пацана-ешиботника в Иерусалиме, молоденького мокрушника, конечно же, не нашли, а религиозные фанатики учинили беспорядки. И все. И тут же музыку танцевальную включают — по заявкам молодых нацменов. Ум-Культум у них теперь в моде и Фарид. Оперативники наши, у которых язык детства, на котором мамы ихние говорят, — арабский, тоже очень любят Ум-Культум. Демократично любят. До самоизвержения семени. Полицейские народа нашего. Да... Случай же с послом нашим показался на верхотуре посягательством на драгоценные их жопы. Публичным, так сказать, посягательством. Ох, какой хипеж поднялся!

— Братья, — говорят, — и сестры! Нет мира в Верхней Галилее. Везде, ну везде мир, а в Галилее — нет. Исполним же повинность воинскую и добудем мир Галилее!

У Иосифа Хамами баба на сносях, а тут — “Мир Галилее”!

Шестого июня распахнули натошак ворота “Фатма”, что в километре от пограничного нашего городка Метула, и поплыли колонны Цахала с боем на северо-запад, от крепости Бофор и города Тир до города Сидон на западе и местечка Рашая на севере. Так повелели на верхотуре. Но Бейрут не брать!

Поцефисты.

В первый день войны парашютный полк, в котором Иосиф Хамами на святой должности пулеметчика, взял крепость Бофор. Чисто и без потерь. Так по радио сообщили. И потянулись мы, водители танковозов, вслед за волной танков наших, ушедших своим ходом. По узким, кривым улочкам городка Марджаюн, пустынным после прохода мотопехоты, ползли мы, груженные танками “Меркава”, в сторону горного кряжа Шуф. С поднятыми ветровыми стеклами, казалось бы отстегнутые от жары вентиляторами кондиционеров, угорали мы от духоты бронжилетов. Угоришь тут — правый срез платформы висит над пропастью, левый выбивает камни и пыль, чиркая по скале. Натанчик, напарник мой, мой первый номер, подсовывает пятилитровую банку с водой, обложенную пенопластом, за каждым поворотом выдергивает из носика фляги затычку:

— Пей!

Вода, вкуснятина ледяная, в Кастине забрана. Святой Земли водица. Когда еще попьем свеженькой из источников Израиля?

Автомат “Галиль” на коленях у Натана, с пристегнутой обоймой, и смех меня разбирает видеть конопатого друга в каске и с “ружьем”.

— Наступаем, Наташка?

— Кус им-има, шел а эм!* — не принимает шутки напарник. — Рассказывай, как дела на гражданке?

— Значит, так, — говорю, — сын у меня родился...

— Знаю, — прерывает Натан, — на обрезании был. Говори, как назвал? “Спутник”? “Калачников”?

— Ну ты, пидор, — говорю напарнику. — Не забалтывайся. Это все, что у меня есть.

— Так как назвал?

— Йегонатан-Залман.

— Квайес! — говорит поляк по-арабски. — Красиво!

* *Арабская матерщина.*

На крутом повороте дороги, петлей огибающей гору, в сердцевине ее — бункер. Бронетранспортер сопровождения проходит мимо, не задерживаясь. Дохлый, значит, дзот. Так и есть — только бетонные, стоящие дыбом плиты, да клочья обгорелой амуниции. В черном том брюхе уже некому заниматься политикой. Мотопехота наша прошла...

“Пистолетчики, — думаю, — еб вашу мать. Шушера. Все надеялись, что на конгрессах да форумах утрясете, с леваками нашими лобызаясь, — ан нет, не прокандехало на этот раз, не проперло. Не о кусне придурков разговор пошел — против Амалека вышло войско Превечного. А уж Рафул* вам матку наизнанку вывернет, это как пить дать!”

За полдень перевалило, а мы только к друзскому городу Хацбая подходим.

Что видит еврейский водитель на подходе к Хацбае? Табличку он видит — военная полиция автограф свой оставила: “Вражеская территория! Из машин не выходить! В торговые отношения не вступать!”

— Глупости, — говорит мой напарник Натан. — Не клади, Мойшеле, надпись эту себе на сердце. Спекулировать мы, конечно, не будем, потому что нечем нам спекулировать, но черешни я нагрebu — я ее смерть, как люблю, черешню...

Еще видят евреи, как растут вдоль дороги эвкалипты, и кроны их образуют туннель метров в триста длиной, а посредине его ответвляется дорога вправо и тут же — мост над ручьем. Если с моста вниз посмотреть, можно увидеть сарай и вывеску на нем: “Казино”.

— Заезжай! — кричит незнакомый мне офицер. — Заезжай на разгрузку!

— Мойшеле, загни ты, — просит напарник. — Я только черешни нарву.

Загоняю я телегу нашу на пустырь. Маневрирую, выткнув в струнку тягач и платформу. Лезу на гузник, цепи крепежа отпустить. Водила в танке уже движок запустил, пушку набок заворотил, а я еще “сандали” разгрузочные не отбросил.

— Что, — кричу танкистам, — бензонаим, сандали я за вас должен отбросить?

* Рафул — Рафаэль Эйтан, начальник генерального штаба Армии Обороны Израиля во время операции “Мир Галилее”.

Смеются танкисты. “Хороший у русского иврит, — говорят, — литературный.

А тут и Натан прискакал, бледный и счастливый. На пустую уже платформу черешню ссыпал из-за пазухи — налетай!

Комбат наш Янкель проталкивается в толпе, свою жменю цапнуть.

— Ну-ну, — говорит комбат, — ну-ну, Натан! Я этого не видел... Не видел я самовольства твоего...

В сумерках разгрузилась колонна. Ушли танкисты на горный кряж Шуф. Плывет по туннелю из эвкалиптов бесконечным потоком колесно-гусеничная рать. Еще различаешь под касками лица солдат. Сколько их у народа нашего — лиц, осененных Господом!! Меня, корягу старую, в слезу шибает, что уж о папашках ихних, да маманях говорить?!

Гудит, полыхает впереди, в горах Шуф, поножовщина. Повесили минометчики в небе “фонарики” осветительные на парашютах, подмахивают мотопехоте. Где-то там и корешок мой, Гринька Люксембург, шарашит на самоходке. Первоклассный водила мой побратим, любимец дивизиона, рожа бородатая червонным золотом отсвечивает. ШЕХИНОЙ!!*

“Береги себя, тварь, — молюсь. — Не нарывайся! У подбородка правую руку держи...”

Вторую войну мантулит Люкси на стопятыдесятпятках. Судный день в полный рост черпанул.

Созывает комбат шоферюг на боевое распределение.

— Дорога забита, — объясняет, — а обводной нет. Поздно ночью пойдем в обратную, когда схлынет. Не спать, — говорит. — Костров не разводите. Пожуйте из боевых пайков, и чтоб я звука не слышал. Обоймы пристегнуть и — ша.

В первый месяц похода накатались мы по Ливану до отрыжки. Ох, накатались...

Однажды уснул я в городе Рашая в штабе корпуса. И снится мне сон в руку. Будто сидим мы с Йоськой под деревом гуява, и ломает себе голову Юсуп. Фьюзы с треском сгорают. Места себе не находит. С ума сходит. Арак стаканами хлещет и листочками гата заедает.

* Шехина (иврит.) — сияние Превечного, Дух Б-жий.

— Почему ты пьешь один, как собака? — спрашиваю я Юсупа вежливо. — Что ты — Арс?*

— Имя ребенку дать не могу, — говорит Йоська и плачет. — Совсем другое имя хочу ребенку дать и не могу...

... — Вставай, шечемиса, — пинками будит меня дежурный грузин. — Пэвэц к нам приехал. Дани Сендерсон звать! Пойдем слушать!

“Батяня, — взываю, — Зяма Аронович, благословенна память о тебе! На хер мне нужен Дани Сендерсон, маломерка эта задроченная? Я спать хочу до сладких слюней, Ароныч! Я сына месяца не видел, маму его...”

“Ладно, — говорит крутой старик, — разбакланился! Не один ты дерьмо черпаешь, не скули. Посмотри лучше, какой подарок я тебе “на пропуль двинул”!”

Смотрю с балкона второго этажа на дорогу и вижу — тяжелый семитрейлер светло-зеленого невоенного цвета и надпись красная по борту: “Таавура”.

— Ароныч, — говорю папашке. — Лучшего подарка и быть не может в данный момент. Спасибо, батяня!

Одод-маленький, шоферюга из фирмы моей, на семитрейлере танк припер в Рашая.

Увидел меня — целоваться полез.

— Ныряй в кабину! — кричит. — На волне Эф-4 диспетчер чирикает...

— Таавура-шесть, Таавура-шесть, — вызываю по мотороле диспетчера.

— Таавура-шесть слушает, — отвечает диспетчер наш Рафи и узнает мой голос. — Откуда транслируешь, пропажа?

— Из-за границы, — говорю. — Из Кильдым-пиздым. А тебя не забрали?

— Хозяин отмазал пока. Дома все в порядке?

-- Не знаю.

— Подожди, Моше. Хозяин с тобой говорить хочет.

— Шалом, Моше, — приветствует хозяин.

— Шалом, Бонди!

— За все время не был дома?

— Да тут, как на войне. Шустрим.

— Скажи Одеду, чтоб подождал, — говорит хозяин. — Я тендер за женой твоей пошлю. Жди и себя береги. Шалом!

* Арс (араб.) — сутенер.

Великий Бонди! Купил меня с потрохами! Ну, старик, долгих лет тебе! Такого бы хозяина нам в премьер-министры! Все бы чик-чак стало на место...

Сижу в кабине, жду вызова связи.

— Абуя! — вдруг слышу сквозь помехи голос Йегонатана. — Я сгораю по тебе! Аюни!*

Бешенство матки можно схватить, доложу я вам, услышав голос сына в Ливане! Только из Сиона подарки такие шлют!

— Говори, Зямчик, говори, родной!

— Мама плачет...

— Пусть женщина поплачет, сынок. Только ты не реви!

— Я — мужчина!

— Дай, мужчина, маме микрофон. Целую тебя пять тысяч раз! Маргарита Фишелевна у микрофона. Ох, — думаю, — доберусь же я до тебя!

— Изюмыч, — плачет женщина на волне Эф-4. — Йоська домой вернулся, а тебя все нет.

— Эстер родила?

— Нет. Мы все очень волнуемся за нее.

— Окотится...

— Не говори так, Изюмыч. Уже десятый месяц на исходе...

Но прерывают какие-то "фуцены" разговор наш с Ритатулей Фишелевой. Забили связь и остаюсь я в кабине трейлера с микрофоном в руках.

Такое у меня счастье. Если всем — срамный уд, так мне — два!

Делать нечего. Уехал Оded. Гремит усиленная динамиками музыка над Рашая. Прыгает козлом исполнитель популярных песен. Усевшись в пыль и подобрав под себя ноги по-турецки, раскачивается в такт тьма вооруженного народа при паучах и касках, с автоматами на коленях и все, как один, обросли щетиной на лицах, освященных Господом.

Не бреются евреи во время боевых действий. Нельзя.

Падают ребята первой линии за мир Галилее. Лихорадит города наши извещениями-похоронками да воплями матерей на военных кладбищах. А в Рашая — гульба.

Дани Сендерсон внизу уже поплыл в оральной протрации, заглатывая головку микрофона на штативе чуть не до самого треножника. Солдаты кейфуют. Мужики с обросшими лицами.

* *Аюни (араб.) — глаза мои.*

Хлопают в ладоши и, может, видится им не плешивый разьебай на помосте, а пляшущая у костра Мирьям в на-ле пути Народа к Земле Обетованной. Стою я на захарканном балконе второго этажа друзского города Рашая и некому мне душу раскрыть. “Батяня, — шепчу, — Ароньч! Что Начальник говорит? Будет мир Галилее?” — “Нет, — отвечает отец. — Сомневается Всевышний. Буянит”. — “Дай, — кричит, — евреям манду, они вошь ищут!!”

Лабают внизу, повизгивают... И странно мне. Что за страна затруханная — Ливан! Мух полно, а птички не летают... Птички, ни одной не видел. Паноптикум.

Глава последняя

Бабешки Израиля похорошели за время моей отлучки невероятно! До заглядения!

Снизошло на них с Неба или запах крови с Севера перешиб мускус похотливых наших подруг, только выглядели еврейки роскошно.

Сижу в скоростном экспрессе Хайфа—Тель-Авив, как в букете цветов. Благоухают сестрички.

Пока ломился в проходе, чтоб местечко отграбчать, поворошил я букетик тот изрядно железяками амуниции и личным стрелковым оружием. От сфарадиек нанюхался духами “Опиум”, от ашкеназок — “Шанель номер пять”. Голова кругом. Реакция по организму идет, забытая за границей. Я ее торбой с грязным бельем прикрыл, присел в растерянности возле самой пушистой девули — устроился. Канистру двадцатилитровую между наших ног зажал. Со скандальной водицей канистра. Полтора ящика “Джони Уокера” перелил. Когда на въезде на Родину шмонали у Фатминых ворот — дебош закатил. “Сионисты, — кричал, — падлы, ценами нас потравили, вон куда бегать пришлось за дешевым пойлом! Пропустите, паскуды, не то пробку отверчу, оболюю всех “Скочем” и сожгу к ебанной матери!”

Теперь-то хаханьки, а на шмоне переживал я очень за трофей свой кровный. Как с пустыми руками перед “косметологом” буду стоять? Что будем листочками гата зажевывать с проглотом? Не арак же, мерзятину...

Благо, лейтенант-марокканец за главного там стоял, на разбой поглядывал. Ментальность у марокканцев, как у русских. Родство душ. На горло берут с ходу! На понт!

“Посмотри, — говорю лейтенанту, — что ашкеназы с репатриантом вытворяют? Бензонаим!”

— Пропустите резервиста, — говорит. — Не на продажу тащит. Давай выпьем и тремп ему остановим...

И вот сижу я в экспрессе среди сестричек. Еду домой. Воняю нестираной робой и соляркой. Девуля пушистым бедрышком пригревает, а носик к окошку заворотила и реже дышать принялась. Хатха-йога.

Билет покупая у водителя, в зеркало на себя посмотрел.

Тот еще мальчик на меня попер в отражении... Клоками седой щетины обнесло “шайнер пунем”, и щечки от перебитого носа до ушей апокалипсическими жилками рдеют. Признаки призывного возраста. Губы трещинами порепались, словно сексом по-советски занимался — манду, на заборе нарисованную, лизал. Одним словом, чтобы словесный портрет закончить, скажу: ничего от образа и подобия Господня на меня из зеркала не глядело. Грязная плешь и белые с перепоею глаза.

Чтобы как-то впечатление о себе сгладить, отворяю торбу. В затхлой глубине ее откапываю настольную книгу на русском языке. Принимаюсь за чтение.

Страница 666. Параграф 9.

“Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем”.

Закрываю книгу.

Потому что мысли путаются. Слипаются мысли, как конфеты-подушечки в детской ладошке. Накладка получается с Эккlesiастом. Плагиатом попахивает от сына Давидова. Царя в Иерусалиме.

Книгу настольную я на Родине читаю. В изгнании она мне не попадалась. Это точно.

Как сейчас помню — спрашивает меня батяня: “Куда ты, сынок, пачку “Беломора” заначил? Я все бычки с печки-голландки ободрал!”

(Любил Ароныч, лежа в постели, курить и, пожевав мундштук папироски, окурочок на бок печи приклеить на черный день.)

— Не знаю, папа, где папиросы, — вру родителю в глаза. — Я еще маленький и БГТОшник. Не курю я.

— Крутишься, волоеб! — серчает батяня. — Крошечкой прикидываешься! Сколько ни крутись, а жопа сзади. Волоки пачку живо, а то ноги повыдираю!

Сказал мне это батяня, когда я был почти маленьким. Проповедника же прочел только что. Кто же у кого идею заимствовал?

Суета сует...

— Солдат! — говорит соседка-пассажирка впервые за дорогу и обращает лик свой в сторону моих воспоминаний, блудящих по небритой роже. И я чувствую, что распахиваюсь, как ворота Фатмы, навстречу беседе. — Завинти крышку на банке своей, именем Б-га Милосердного! Течет мне по ногам гадость эта, и я угорела от вони ее!!

— Красивая госпожа, — говорю я чужой женщине. Гляжу на пушинки ее и не могу нагрубить. Язык забуксовал. — Ты назвала гадостью чистейший шотландский виски! Взгляни на ситуацию добрым глазом. Тебе неизвестный солдат ноги вымыл спиртным напитком. Мозги дезинфицировал, а ты улыбки доброй подарить не желаешь! Может, у меня паралич скоротечный начался от аромата твоих пушинок сладких, но я не ревную тебя к хахалю, к которому ты мчишься экспрессом и окружающую среду не замечаешь. Отвечай быстро, как тебя зовут?

— Илана, — говорит девушка. — И совсем я тебя не боюсь. Хотя впервые сию с пьяным "русским".

— Испугать?

— Не перестарайся...

Торбу сдвинул с колен. Ширинка — горбом.

— Беги домой, дядька, а то не донесешь, — смеется Илана. — Не пугай никого по дороге. Сбереги себя для жены. Так будет справедливей. Мой тоже скоро вернется и, поверь, мы свое наверстаем! Да не прячься ты под мешок. Сиди свободно. Мне тоже приятно думать, что мой там не шалит...

— Где он торчит?

— В Набатие.

— Звонил, что ли?

— Каждый день!

— Значит, "джобник"?

— Сам ты "джобник"! Ракетчик мой Рон.

— Прошу прощения, Илануш, — говорю. — Позволь включить заднюю скорость и педаль сцепления отпустить.

— А-а! Шоферюга! — догадалась девушка.

— Так точно, — говорю. — Шофер и предсказатель счастливых судеб! Гадаю по руке и между коленок. У тебя, шатенки, это как на кофейной гуще.

- Мой знак Зодиака отгадать сможешь?
- Давай лапку. Так и быть, будем паиньки.

Ладошка у Иланы горячая. Сухая. Запястье тонкое – мальчишье в обхват. Пальцы длиннющие, а ногти прозрачные, коротко острижены. Как насадочная сторона перышка к ученической ручке. Узкие. Круто изогнуты с боков. Обладательницы таких ногтей ввергают нас в панику, когда звучит команда: “Открыть кингстоны!”

- Февральская ты, Илануш, – говорю. – Рыбье у тебя счастье.
- Как это тебе удалось?
- Очень просто. Руки у нас абсолютно одинаковые. Только твои – чистые, а мои – не очень. Да и мое счастье тоже фаршированное.

– Как тебя зовут? – спрашивает.

– Мойшеле.

– Где ты так палец покалечил?

– Давно это было. В России.

– Расскажи про Россию.

– Выхожу однажды из ресторана, и вдруг группа антисемитов мне на руку наступает. Изувечили палец. Я осерчал. Купил билет и уехал в Израиль. К тебе.

– Дурачок, – говорит Илана. – Я серьезно спрашиваю.

Глаза у Иланы светло-серые. Хоть и смеются сейчас, а с печалинкой. Брови не выщипаны. Человечьи брови противоположного пола. Редкость. Гладит кривой мой палец с милосердием.

Несется экспресс уже за Нетанией. Соседству нашему конец приближается.

– Не будешь смеяться, если я тебе про маму свою расскажу? – спрашивает Илана.

– Лучше бы про мамину дочку, но если настаиваешь...

– Слушай. До Рони жили мы вдвоем с мамой в Хайфе. Отец давно умер. Я его и не помню. Но и не помню, чтобы возле матери был какой-то мужчина. Красивая мама у меня. Ашкеназийка чистых кровей. Внучка раввина из Австрии. Только всегда одна.

Во время войны Судного дня это было. А рассказала мне только вчера. Захлебнулись мальчишки регулярной армии кровью, вцепившись в смертный рубеж на Голанских высотах! Удержали, пока мужики-резервисты, прямо из синагог, под вой обезумевших сирен, шли на помощь.

Ты бы видела их лица, Иланка!! Господи, куда глаза мои гля-

дели всю жизнь? Почему я гнала их от себя? Насмешливых... Самоуверенных... Грубых... И вот они уходят недошептанной молитвой. Слезами венского моего гонора. Избранники Б-жьи уходят туда, где сам Превечный пришел в отчаяние.

В затемненном городе проплакала я до утра, бросила тебя соседям, собрала, что под руку попало, печенье да бутылку ликера, завела "Жучок" и помчалась на Север. За Рош-Пину. К мосту Бнот-Яков...

Столпились танки на обочинах дороги. Скупились в лесопосадках. Ждут своей очереди пройти узкий мост. Ржавые стальные балки, склепанные над Иорданом. Туда, где сразу за мостом круто в небо уходит дорога и плывут по ней мои братья, исчезая за синей чертой...

Я искала его долго. Они все были красивыми до слез, но я искала только его.

Он стоял позади будки на колесах, из которой торчали, как копья, антенны. За его спиной, в черном провале двери, то и дело вспыхивала лампочка рации, и кто-то издалека искал паролем. "Ветвь пальмы! Ветвь пальмы! — Я Высокое Напряжение. Отвечай!"

Он был красивее всех. Поверь мне, Илана. Плешивенький мужичок моих лет, с острым кадыком на тонкой, небритой шее и обручальным кольцом на детской руке.

Я была рядом, но он не видел меня. Он смотрел куда-то поверх колонн, в сторону озера Кинерет, туда, в тыловую близость своего дома, отрезанного от него воем сирен.

"Ветвь пальмы! Ветвь пальмы! — умоляла рация. — Отвечай!"

— Глоточек вишневой настойки резервисту не помешает? — спрашиваю. — Глоточек вина за жизнь?

Что-то похожее на улыбку искривило его лицо, и он переломился пополам в нелепом поклоне, и щипал мои руки губами, а я отворачивала в сторону голову, чтобы слезы не брызгали на его затылок.

Я увела его недалеко. В лесопосадку. Так, чтоб если окликнут, он мог услышать.

Иланка! Девочка моя! Как я его целовала. Как любила всем телом и сердцем тело того человека в казенной одежде, выданной впопыхах и не по росту!

Потом мы лежали в иссушенной солнцем, колючей, царапающей траве, он на спине, положив голову на сумку с моей дребеденью,

а я прижалась щекой к его животу и смотрела, как вздрагивают ребра под тонкой кожей, и седые волосы на груди были так близко у глаз моих, что касались ресниц, и я уже не видела его, только чувствовала всхлипы и плакала сама.

Он не отнял руки, когда острым пером "Паркера" я трижды обвела жирные цифры своего телефона. Как у спасенных из концлагерей. Он не отнял руки.

— Когда вернешься, позвони, — просила я резервиста. — Только скажи: "Я веточка пальмы". И все. Только это скажи, обещаешь?

Имени его я так и не узнала. Да и он моего. Номер телефона и пароль: веточка пальмы.

Он не позвонил... Да будет память о нем благословенна!"

— Аминь, — говорю.

— Аминь, — шепчет Илануш. — Мой Рони хороший и добрый. А то бы каждую волосинку на тебе зацеловала. — И как из ледяной, до ожога, воды вынырнула. — Правда, хорошая у меня мама?

И я закрыл пасть. Вернее, она у меня сама захлопнулась. Смотрю на нее фарами с дальним светом и думаю: "Мордаха-то Господом осенена! А матушка — Небом послана. Кому, — думаю, — ебаный мой рот, ширинку горбом показывал? Кого фаловал в спарринг-партнеры?"

Онемел я до самой таханушки* тель-авивской... Встреча-то с Иланкой — неспроста! Боком вылезет мне встреча эта. Забрюхатела душа моя тем резервистом, и ни выкидыш, ни кесарево не помогут. Так и буду шкрябать с ним, пока не сдохну...

И все-таки Илануш подарила мне кусочек себя.

— Не вставай, Мойшик! — сказала. — Я хочу уйти, притрагиваясь к тебе.

Она поднялась, повернулась ко мне лицом, перешагнула канистру, и наши колени встретились.

Обеими ладонями жала мои щеки, так что губы расплзлись в рыбьем зевке, и чмокнула вовнутрь. И отлепившись, сказала: "Мир тебе!" — сказала Илануш тихо. Потом: "Тьфу, какой ты соленый... — и еще раз, — Мир тебе!" А я сидел, как целка, и не видел ее лица, и уже молотил в висках языческий кадиш по ненужной жизни, и вот ушла чужая женщина моей масти, правнучка венского раввина, коснулась своими губами моих, украла всю мою наглость, бросила на произвол ржаво-селечной судьбы — скотоложествовать с киевлянками и заливать кишки спиртом.

* Тахана (ивр.) — остановка.

Я вывалил последним из стоячего автобуса под злобное поныкание водителя, груженный канистрой и военным скарбом, упал в старческие, добрые руки хабадников-проповедников с душами нараспашку, и старухи-побирушки с глазами офицеров контрразведки, почуяв сладкого фраера, поползли к моим коленям за наживой.

Одуванчик полевой спеленал мне руку ремешком филактерия, и я занавесился чужим талесом от гнилых старух и голого мяса порножурналов, и оттолкнув бедлам автостанции, вошел к НЕМУ в полный рост, даже не пошаркав ботинки о тряпку половую, и "оттянул" ЕГО списком поименным:

– Этих ТЫ не тронешь, понял?!

– Говори.

– Гришку Люкса.

– Говори.

– Мишку Спивака.

– Говори.

– Мишку Риклера.

– Дальше.

– Иоську Хамами.

– Говори.

– Марка Городецкого.

– Говори.

– Натана Каминского.

– Дальше.

– Одеда-маленького.

– Говори быстрее.

– Якова Дагана.

– Говори.

– Рона Иланкиного.

– Ты ж его не знаешь!

– Ради Илануш.

– Втюхался?

– По брызговики.

– Вон! Похаба! – смеется хозяин. – Иди уж... без тебя мозги засраны...

И я отвесил ЕМУ такой низкий поклон, так "опасно пошел головой", что земные реферюги просто выбросили бы с ринга, а ОН улыбался по-доброму.

– Иди, иди, – говорит. – Иди уж... Шобла ливанская...

И я ухнул вниз, к беспризорной канистре и амуниции, по тонкому ремешку филактерия, купил Йегонатану двухэтажный трейлер-автовоз, десяток легковушек всех марок, нанял таксера и уехал домой. В Реховот.

Нога еврея, в чьих жилах течет кровь Первосвященников, не переступит кладбищенской черты.

Так написано в Законе.

Ибо те, кому дано благословлять Народ, да не прикоснутся к тлену. К падали.

В какой бы степени родства ни находились Козны, в последний путь их провожают чужие люди.

Внизу, во дворе Саадии Хамами, третий день и третью ночь читают псалмы Давида. Отпевают душу старшего сержанта войск связи Биньямина Хамами. Упал мальчишка в Ливане, не оставив после себя долгов. Деревце полевое...

"Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих!

Как пали сильные!

Не рассказывайте в Геве, не возвещайте на улицах Ашкелона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных".

Доставили вертолетом в хайфский госпиталь "Рамбам" тело Беньки, разорванное миной, — так и ушел, не приходя в сознание и по милости Б-жьей — не страдая.

"Горы Гиладские! Да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами; ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы ни был он помазан елеем.

Дочери Израильские! Плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы.

Как пали сильные на брани!

Сражен Йегонатан на высотах твоих".

Шмыгнул джип с солдатками из комендатуры к дому Саадии и Аувы и через мгновение возопили к небу: "Явэ-э-эли! Явели!"

Завыли псы в соседних дворах, и толпы пейсатых в черных беретах бронетанковых войск хлынули на пугающий, от сотворения мира, вопль.

Я смотрел на них сверху, с балкона третьего этажа своей квар-

тиры, — как все тесней становится внизу, и вот двор переполнен и люди уже за металлической сеткой низкой ограды.

“Скорблю о тебе, брат мой Йегонатан: ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской.

Как пали сильные, погигло оружие бранное!”

И тогда я увидел Иосифа.

Я увидел его в проеме двери, куда смотрели все, и вот он вышел с непокрытой головой, и толпа осела, отпрянула назад и замерла.

Я увидел его в полный рост. Серое лицо безумца, с выдавленными болью глазами, волокущего по земле раскатанный ролик Пятикнижия и ручной пулемет МГ с растопыренными опорными ножками и брезентовой круглой сумкой для ленты, пристегнутой и готовой исполнить свое назначение.

“Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих!

Как пали сильные!”

И он бросил пергамент Закона на обезблуженный пяточок земли и топтал его босыми ступнями, и кто-то пискнул. “Во имя Господа — прекрати!”

“Та-та. Та-та”, — коротко и жестко хлестнул пулеметом по Небу Иосиф. — “Та-та. Та-та”, — от босых ног, попирающих Книгу Книг, вослед еще теплым позывным связиста Биньямина.

И ломая опорные столбики ограды, кинулись евреи прочь от святотатства, и я заревел, как маленький Зямка, во всю мочь глотки сорокалетнего мужика...

Йоська лежал ничком на клочках пергамента в пыли пустого двора. Дышал ровно. Жарища пошла на убыль. Тень дома полностью покрывала его. Из дома — ни звука.

Я собрал стреляные гильзы, разрядил пулемет и унес к себе.

Пусть уж стоит рядом с моим “Галилем”.

Ритка с Зямкой приехали. У Эстер и новорожденного все в порядке.

И мы спустились вниз, к семье Хамами, прихватив все, из чего можно пить, и канистру — чем-то же надо встретить людей, разделяющих скорбь, — и они пришли, пришли во множестве, в дом, где родился, и рос, и играл на гитаре, и пел еврейские песни тонкий, как пруттик, мальчишка Биньямин, и теперь они поют псалмы царя Израиля, Давида, помазанника Б-га, и выговаривают самые лучшие кусочки из незатейливой жизни соседского пацана.

...Дежурил амбуланс. Хлопотали над полумертвой Аувой сестры милосердия. Почтенного вида старикашка в кальсонах на кривых ногах стоял перед Саадией. Просил не нарушать Закон союза с Адонаем. В день восьмой от рождения должно это совершиться с еврейским младенцем.

“Да... — думаю. — Да. Да”.

Притих Зямка на коленях у крестного отца. Смотрит, как плачет оживший Иосиф. “Халас, Йоси, — просит. — Маспик”.

...Две ночи подряд, перед рассветом, когда прогонял меня Йоська к спящему моему семейству, приходила ко мне Илануш.

Позволяла трогать темно-русые волосы, собранные тяжелым узлом и оседающие под собственным грузом. Шептала мне на иврите, чтоб никто в мире не понял ее слов, только я и она. Говорила, что в следующий раз мы уже непременно будем вместе, и если, возвратясь из провала, не забудем пароля, то встретимся обязательно, ибо все повторится.

Грязный, подпитый солдат с большими одиночеством глазами и правнучка венского раввина.

— Только не забывай: веточка пальмы!

— Я запомню.

— Повтори.

— Веточка пальмы.

Она сжимает мои щеки так, что губы растягиваются в рыбий зевок, и целует вовнутрь.

— Мир тебе! — шепчет Илануш в слезах. — Ты еще солоней, чем тогда... Не забывай: веточка пальмы...

...Последняя ночь моего четырехдневного отпуска. Утром от тель-авивского дворца спорта “Яд-Элиягу” повезут отпускников на север Земли Израиля. В Ливан. Но это будет только утром. И нечего думать об этом сейчас.

Мой маленький мужичок — Б-гом данный Зямка — спит со мной рядом. Со злостью и храпом втягивает в дырочки носа, заросшие полипами, горячий воздух хамсина. Осенью, как похолодает, сделают ему операцию.

Короткая стрижка киевлянки горит костерком на подушке в свете луны. Замоталась, бедняга, между родилкой, где сосет молоко из Эстер маленький Биньямин, и домом Саади Хамиами.

Кто подаст и приберет в доме скорбящих?!..

...Впереди процессии шел офицер высокого звания частей рав-

вината.

Шестеро однополчан, равных в звании старшему сержанту Биньямину Хамами, несли прямоугольный ящик, покрытый флагом с шестиконечной звездой.

Следом, с прижатыми к телу карабинами, штыками вверх, топали ребята почетного караула.

Вот и Саадия, поддерживаемый первородным сыном, прошел пасть кладбищенских ворот в конце улицы Яков.

Идут, идут евреи проводить в последний путь пацана-соплеменника.

Смотри и слушай, Израиль!

Только седая девочка Аюни повисла на прутьях ограды, не преступив черты, и тихо стонала:

— Явэ-эли... Явели...

НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

Вышла в свет книга:

ЦВИ КЕРЕМ.

"ЕВРЕИ, НЕЕВРЕИ И Т. Д."

Рассказ о прожитой жизни (Бессарабия, война, Россия, алия в Израиль) переплетается с острыми размышлениями об израильской действительности.

331 стр. (6 авторских иллюстраций). Цена 15 долл. (В Израиле — 22 шек.)

Заказы и чеки принимаются по адресу: Zvi Kerem, 21 Golomb Str., Haifa 33391, Israel.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

О. КУСТАРЕВ. "ВАЛЬС" (повести и рассказы)

200 стр.

Цена 14 долл.

В книге собрана художественная проза автора, обладающего насмешливым и точным взглядом, который позволяет ему запечатлеть особенности современной советской жизни.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ПРАЗДНИК

(отрывок из поэмы)

В первый праздника день когда
закончился фейерверк
и в небе осталась всего одна
свет у которой мерк
то выкатывался и сверкал
то ни зги
как будто голос упал в металл
и разошлись круги

а голос в жидкий летел металл
с такой высоты холма
что дымилась где он пролетал
огненная бахрама
и херувима лицо цвело
в отраженном огне
когда ослепительно и тяжело
шевелился металл на дне

и клал пятипалые листья сад
нам на глаза
и с мокрых листьев текла роса
в наши глаза назад
и брякли райские соком сна
яблоки наших глаз
что признак зрелости взгляда на
то что снаружи нас:

небо для бедных дом бедняка
приют его и ночлег
где известь сыплется с потолка

собой представляя снег
где словно это может помочь
свет напролет в дому
где темнота которая ночь
собой представляет тьму...

ИЗ ЦИКЛА "РОМАНСЫ"

Романс "Мотыльки"

В такие дни
на дне которых тьма
уже и не
метафоре сродни

в такие наши дни
хихикать от ума
писать
"Труды и дни"

смотреть
как черные
на свет
летят и белые на темень мотыльки

на слух
учиться тишине
которой нет
здесь на земле но есть в конце строки

о нас ведь
ада голоса уже слышны
и нас
зовут по именам

но насмерть
мы не помним наши сны
а насмерть спящие
уже не верим снам.

Малый Офицерский Романс

Мы справляли победу-дуру
как нужду
пограничий через

вот он катится
череп
не бог весть какого Дамура
но чему нас несет навстречу
если мы
и не покосились

а проплыли наши носилки
развилку
любви и речи

мимо прошли носилки
мимо тебя в любимом
спокойном каменном платье

и
ветром
неколебимом.

Воровской Романс

Не за то что этот тебя берет
вор моего
вздор!
сплю

и что
тебя я
не уберег
вообще я этого не люблю

да и не потому что не жизнь одна
а ты была у меня одна

но какой ты ему жена
а зачем мне его жена?

а он
всю тебя осмотрел
и
коронной добычей счел

и только ветер
свистит
в дыре
между левыми ребрами и плечом

и своей тени из-за угла
рассвет
как чистой воды араб
свежей зарей себя веселя

и ни ножа ведь ни топора
а
знал:
уходить пора

а кольца!
камушки из стекла
золото из серебра.

Романс "Кукла"

Когда раздался мне голос твой
с освещенной
с той
стороны лица
я
укутанный с головой
ворохом мертвого белья
когда
раздался мне голос твой
лежал я куклою неживой

и только
на голос твой вдалеке
шею я выгибал
и из зажмуренных глаз сбегал
свет
вкуса крови на языке
и лез целоваться к моим губам
как ты
по памяти
по щеке.

Последний романс

На свете счастья нет
а есть покой
и
денег

и есть младенец
и его
младенца
сон

что тьма за спинкой сна
возьмет меня
и — денет
и запахнет потуже горизонт.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НЕЛЛИ ГУТИНА. "ЖУРНАЛ"

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячью лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр.

12 долл.

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

Когда засвистело над головами, плюхнулись навзничь, как подкошенные. Только ледок захрустел. Ледок захрустел, и ледяная вода пробралась к угре-тому телу. Ношенные-переносенные валенки набрякли сразу.

А до того тысячная колонна ликовала: путь — мимо барака управления, на крыше полощется траурный флаг. Скрипучий рупор выхрипывает, должно быть, печальное. Загнулся!

Загнулся! — шепоток над колонной. Шепоток тысячи ртов — гул. Растекается колонна шеренгами по кромкам весенних луж, и те, что по бокам с винтарями, угрюмо молчат. Загнулся!

Один долбаный не выдержал, гаркнул:

— Умер Максим!

Сотня несдержанных откликнулась:

— Хрен с ним!

Угрюмые только и ждали — забегали, защелками затворами. И вот вся тысяча распласталась, кому где досталось: кому волглый снег, кому вода. Мишке с дружкой — вода.

Лежат лицом в землю бан-

Давид Таксер

* Первый рассказ цикла "Воспоминание о будущем" — "Побег" — опубликован в № 52.

деры, лесные братья, космополиты, послевоенный набор. А кто раньше — тех один-два и обчелся. Кто раньше, лежат поглубже с биркой к ноге. И нет им этой радости.

— Пришили-таки батьку собанднички.

— Может сам?

— Нет, брат, не тот был гад, чтоб сам посреди дела. На новую выдумку стар, а старая не пролезла. Теперешние знают, что не лучше Ягоды с Ежовым. Нет, сам не подгадал бы так вовремя.

— Вовремя — пораньше бы.

— Ишь, чего захотел. Радуйся, что раньше тебя.

* * *

Мишка его отличил с ходу. Только впустили этап в ворота, сразу и отличил. Даром, что голубоглазый. И не единственный был иудей — набор пошел городской, исконный, напрасно бандеры выкрикивали родные места. Из тех мест уже замели начисто.

Мишка его обозначил счастливым сразу, и подошел без спроса кто откуда. Кто откуда — дело десятое, первое дело — счастливчик. Возле счастливого потреться — самому перепадет.

Чем же счастливчик? А тут же видать. Года на три моложе — под огнем по-пластунски не ползал. Это счет личный, — вот лицо белое не тюремной серой белостью — белое лицо от кешеров-посылок. Маменька, небось, через все заслоны не с пустыми руками прорвется. И должен долю отвалить ветерану-соплеменнику. Не за так — за лагерную науку. Лагерная наука куска хлеба с маслом стоит.

Вывел его Мишка из толпы за плечи, — точно сливочным маслом пахнет, — повел к себе в барак, в барак атэпз*. Это первое Мишкино добро. Добро второе — разговор с нарядчиком Жопой-Мордой.

— Бог тебе, Морда, яичко к пасхе выслал. (А ведь пока одна догадка. Цыпленок вороном окажется — Морда не забудет.) Посылочник. Мама с папой большие люди. (Тоже предположение.)

— Большие люди теперь по лагерям куски сшибают.

— А у него на воле.

Так и оказалось. Приканал из Одесского интерклуба, мама актриса, папа музыкант.

* АТП — административно-технический персонал.

— Сами, — говорит, — из комсомола направили, сами посадили. Ни за что.

— Как же, друг мой, ни за что? Поди постукивал. В таком месте не стучать — сразу посадят, а ты два года на воле с иностранцами жил. И сколько же от щедрот?

— Пять лет.

— Ну счастливчик, ну счастливчик. Да знаешь ли, что ты один на миллион? Тут четвертная большой срок, червонец — малый, а про пятеру никто не слышал.

— Гебешников, кто бумаги составлял в Особое Совецание, подмазали. Все знакомые.

— Зря деньги растратили, лучше бы на посылки. Что четвертная, что пятера, — выход контрикам один. С биркой на ноге. Счастливчик-то счастливчик, да не очень.

— Как так?

— А так. Или все, или никто. А стучать здесь зарекишься, если бандеровского ножа не хочешь. Могут и без ножа, будешь плавать в сортирном дерьме. Опер тебя обязательно вызовет, сразу ему и заяви. Мол, посадили — хватит. На недельку в БУР* пойдешь — это ничего, не тот свет.

Так-то. Такую науку постигал бы шкурой. И на работу вышел придурком-нормировщиком, Мишка процент считать учил. А посылки, нужно сказать, не подгадили.

И вот лежат они лицом в лужу. Лежат в ледяной воде, в звонком воздухе весеннем хрипит рупор.

— Бах, — сказал сын музыканта, не поднимая головы.

Мишка молчал. Уже было такое. Стрельба, потом ледяная вода и музыка. Рупор слал фуги через залегших в снежном месиве. И смолкло все, кроме органа. Недостижимая опушка, где они, внимала Баху. Единой ноты никто не испоганил выстрелом, потому что ясно: не убьют, пока играет. Гони, голубчик, музыку до самого темна! Только шипит уже игла в порожнем круге, вслед грянули гортанные призывы: "Коммунистише партай!.. Генос-сен!.." И как с цепи сорвалось.

— Встать! — орал угрюмые.

* * *

Со дня похорон пошло в дугу. Еще цареубийцы лили слезы, а

** Барак усиленного режима.*

уже врачи на воле. И кто же не спросит теперь: только ли врачи невиноваты?

Еще лили слезы газетные царепривторцы: "...отец родной, встань!" — взывал свояк Председателя Похоронной комиссии*, "...и великий китайский народ, и народы Латинской Америки..." — заклинал, по желанию выбывший из членов, притом не повешенный**, а уже нахальная дикторша объявила по радио танго, при нем запретный гимн космополитов всей земли. Замерцал конец египетскому плену.

* * *

Голубоглазый году не просидел, оперился. Еще бы, при такой опеке да в такое время. Счастливчик, он счастливчик и есть, можно сказать, жареный петух только прицелился. Дары родительские — то еще подспорье: не один Морда, даже надзиратель на крючке, редкую мазь от экземы получил. Однако, что за прок от надзирателя? Ни принесет, ни вынесет, письма на волю не отправит. И есть кому без него. Но друг уже не всегда Мишку слушал — оперился. Однажды сказал:

— Что ты юрдуствуешь? Ведь можешь говорить интеллигентным языком.

Вот дает! Врезать, что ли? — едят, можно сказать, из одной миски.

— Слушай, сын своей мамаша, если бы я таким языком Морду просил, ты бы не сразу попал в придурки. Наковырялся бы в земле.

— Упрек?

— Наука Пригодится и в хорошее время.

Время, точно, лучше некуда. Номера снимали еще при Берии. Когда его кончали, гебистов и вовсе посадили под арест. Утром проснулись — нет их на вышках, другие стоят. Где же те, что орал: "...охрану изменников родины принял?" Появились, но уже без "изменников". Пошли зачеты рабочих дней, три за день, кому такие, как Мишка, выводят бумажный процент. Деньгами стали платить. Хоть гроши, а в буфете, в зоне открытом, на пончики и

* Председатель комиссии по похоронам Сталина — Хрущев. Свояк — Шолохов.

** Эренбург.

работягам хватает. Пончики в зоне! Каптер, умудренный лагерными годами — сидит без выхода с тридцатых, — пончиков не помнит. От пончиков в лагере шаг до свободы. А кому-то мнится даже распродажа лагерных цепей. Пусть не цепи, тряпицы с упроданными номерами припрятали. И что ни день — новость.

Однажды Мишка заскочил в конторку к другу и опешил. За прорабским столом сидела деваха. Сидела деваха, она да он и больше никого. Когда Мишка влетел, защелкала костяшками счетов. а без него, чувствует, болтали. И очень Мишке не хотелось уходить из комнаты, где женщина, хоть ясно — третий лишний: дружок отвечал нехотя, она уткнулась в бумаги. Пусть уткнулась, видел он искоса женский лик: глаза, нос, щеки, — все не мужицкое. И груди. Две выпуклости, что распирают блузку. Красавица! Он уверен — красавица, хоть была бы кривая. Даже если бы вообще, — только эти груди и все, что ниже. Настоящая баба в зоне, Боже мой! И творило воображение с женским телом, что хотело, а надо уходить. Друг ведь.

Сказать, что впервые видит женщину за девять лагерных лет, так неправдой будет. Во-первых, женщиной лагерь встретил. Тот задолбанный лесоповальный Ивдельлаг. В карантинный барак, куда с этапа затолкали зеков в исподнем, вошла она. Лихая кубанка по рыжим волосам, китель без погон и сапоги наложенные зеркальным блеском. В руках хлыст, щелкает хлыстом по голенищу — дьявол с ангельским лицом.

— Воры! — возвестила ангелица. — Воры есть?

— Есть, гражданка начальница, есть, — отозвался красный угол.

— Воры, я знаю, что борьба за существование в природе, но кровную не отнимать. Кровная пайка священна.

— Знаем, начальница, знаем, — отозвались воры.

Господи, та же ээсовка, что захватили возле Люблина. Точь-в-точь. Снять кубанку, накинуть пирожок. Только на той рота попрыгала, пока отняли, эта, видать, попрыгает на Мишке — отнять некому.

Потом весь Ивдельлаг, полсрока, вместе с женским полом. Но ни он им, ни они ему, — ноги едва двигались, не то, что другое. А когда выбился наконец в придурки-нормировщики да отъелся малость супом из рыбных костей, привел одну. Хлебала она плату — суп из котелка, ноги по-турецки поджала на нарах — Мишка ждал. Пустой котелок отложила и говорит: "Хлебца бы". Так и жевала всю дорогу.

Недолго пришлось кантоваться в придурках да с бабами, в пятидесятом контриков свезли в спецлагеря.

* * *

Да, да — сидела в конторке в зоне заключенных вольная девица. А как она там оказалась — длинная история, хоть всего работает, можно сказать, без году неделю. Перевелась с дневного факультета на вечерний, вот и работает.

Вообще-то, когда по знакомству устраивал прораб, студент того же вечернего факультета, о зоне речи не было. Обыкновенная работа на воле в его прорабской. Какая работа, она даже точно не может сказать — не пыльная. Помогает, кому делать нечего. Главное во всей этой затее — комната, знакомый обещал без долгого ожидания комнату. И действительно, комнату дали сразу, только в бараке, а барак в поселке со странным названием Четвертый ВОХР. Почему он четвертый и что за ВОХР, Бог его знает. Пусть Четвертый ВОХР, пусть барак, — дом, где жила в одной комнате с родителями и сестрами, тоже не дворец. Тут хоть голые стены, дана одну.

Впрочем, не одни стены в комнате: по распоряжению прораба-благодетеля (Димой зовут) на монтажном участке сварганили ей кровать. Кровать как кровать, а благодетелю не понравилась, проворчал: "Что ограды для могил налево, что кровать для начальства, — лепят в одной манере". Это он сказал в первый же вечер, когда явился с вином справлять новоселье. Сказал похозяйски — начальство он и есть. Сказал, как хозяин стен и пола с потолком, и кровати, и всего, что на кровати будет, а она почувствовала: не открутиться после его добра.

Пришло это чувство, не открутиться, ихватила для храбрости полстакана "Рябины на коньяке". Он снова налил, а когда поставила и этот стакан, еще сказал: "Знаешь, я жениться пока не собираюсь. Дети, все такое, — институт надо кончать", — тоже понял, не открутится. А она как следует обидиться не успела, замелькало в голове. Но запомнила. Такое не забудешь.

Утро пришло нечистоплотное, в ушах завяз скрип самодельных пружин.

— Мне это не понравилось, — говорит ему, когда продрал глаза. — Давай больше не будем.

Вот такая была дура. Он расхохотался и опять пристал. И было это совсем не то, чем хвастались подружки.

Слава Богу, потом не оставался на ночь, сматывался. И вот ведь странность: знала, что безвозвратно, а побороть себя не могла, сопротивлялась ему, устраивала драчку с заведомым концом. Стала драчка Диме, как подогрев перед началом. И тянулось бы так, и тянулось бы...

В конце квартала навалилась бумажная работа, а ее затребовали в помощь управлению. Дима на дыбы: "Невозможно, — кричит в телефонную трубку, — она всеми днями-вечерами на строительстве". Он лгал, сотруднички ухмылялись: вот как для них старается. Ухмылялись зря, положил Дима трубку и сказал, чтоб все слышали: "Неделю-две поработаешь в зоне заключенных, не то нагрянут — не оберешься неприятностей". Наедине сказал другое: "Запахали тебя. Три месяца как в проруби болтаются, под конец могут сами. В зону попозже придешь, уйдешь пораньше". В общем, заботой нагонял долг, не знал, чем будет оплачено.

* * *

Увидел Мишка деваху и полезли воспоминания. Которая жевала вспомнилась так, мельком, с видениями — другая. На последнем Ивдельском лагпункте срок отбывал известный аферюга, аристократ воровской, и жила с ним ленинградка чесэвезновка, то есть член семьи врага народа. Враг народа, должно быть, обладал вкусом, жену подобрал, что надо, а жена родила дочку. Вот дочка и жила с аферюгой не от хорошей жизни. Холь с нее даже лагерь не смысл — идет в телогрейке в столовую с котелком, а вроде в шелках по Невскому с ридикюлем. И положила она на Мишку глаз. Не то, чтобы вот так сама и положила, постреливали взаимно и взаимно улыбались. Мишка глазами постреливал, а чтобы большее... кому охота дело иметь с аферюгой, за ним вся воровская кодла? Костей не соберешь.

Постреливали они глазами, однажды заговорили.

— Как живется? — спрашивает.

— Бывало хуже, — отвечает Мишка.

— А у меня хуже не бывало, — и слезы брызнули.

Со слезами на нее совсем невозможно было смотреть, нутро тянуло утешить, — как сытый, но в известном смысле голодный, утешает несчастную сытую женщину. И видел, что ей передалось:

слезы текли, а щеки пылали. В том виде разошлись, только знал уже — влипает в историю.

История не заставила ждать. На другой день она явилась в нормировочную, выследила, когда был один. Явилась и с дверей на шею. Вела себя, как в первый и последний раз: стоны, лобзания и слезы. А потом говорит: мол, как не береглась, дневальный засек, что ждала, когда будешь один. Миленький, мол, все равно убьют, так давай лучше сами. А если хочешь здесь дальше мучиться, так упокой хотя бы меня, как-нибудь без мук — у самой не получается.

“Чему получаться? Шагнула в запретку — часовой доделает”, — такая мелькнула злая мысль. Законно. Каждый должен знать: нет общей смерти. Тысяча сразу умрет — каждый кончится в отдельности. Так что хоть с тысячей, хоть одна. Мысль только мелькнула, а стал он ее уговаривать. Мол, никогда не поздно и, мол, ничего неизвестно, а если все равно, так хорошо бы сначала попробовать мучителя-аферюгу туда. Он выставлялся, а она кричала:

-- Что ты ее жалеешь?! (Жизнь-то!) Беспросветно впереди, беспросветно!

— Как же беспросветно? Минуту назад просвет был. Глядишь, настоящего дождемся — не старые.

Слава Богу, насчет дневального она выдумала. Напрасно Мишка с другом даже в сортир вдвоем ходили, у каждого по железному пруту в штанине. Настоящий друг был. Боевой капитан. Мишка тоже с ним ходил бы, если б такое приключилось. А с дочерью врага народа еще дважды встречались до того, как ее раньше Мишки отправили в неизвестный спецлаг. Но в памяти первая встреча, неистовая с истерикой. До мелочей. И как рвала с себя все, и как втянула в себя зацелованного.

Вот на какие воспоминания навела Мишку вольная девица, что в конторке с другом наедине. Хоть становись в очередь, когда какая-нибудь бывшая зечка-уголовница в рабочую зону пулнется. Да, да — в эти распрекрасные невиданные времена и такое бывает. Стали деньги платить, уголовницы, что по маленковской амнистии на воле, тут же унюхали: пуляются в заначки до расстановки конвоя, после съема сматываются. Если раньше выловят — терять им нечего. И Мишке с голодухи может быть наплевать, что не на одного. Может быть наплевать, а может быть и нет. По-песью еще не приходилось — хотя бы с игрой в любовь.

Потому, все-таки, в очередь он не станет, и в конторку больше не зайдет — одно расстройство. Пусть голубоглазый расстраивается.

* * *

А он, этот счастливец, не очень расстраивался. Девчонки перед ним со школы стелились. Красавчик — раз, не лаптем сделан — два, и родители что надо. Когда она вошла с десятником, в сопровождении рябого надзирателя, ухом не повел. Как бы не повел ухом — Рябому скоро надоело в четырех стенах торчать и десятник без опаски оставил ее — ушел. Вот тогда и стал вроде застенчиво поглядывать. Вроде застенчиво и вроде восхищенно — черт его знает, как смотрел, только, как нужно. Вскоре и ответный быстрый взгляд. Хотя и быстрый, а говорит много. Так и слышится: “Ах, какой симпатичный и какой несчастный!” Если “несчастный”, так это уже полдела. От женской жалости до большего — шаг. К тому же, молодой и симпатичный. Пострелял несчастными голубыми глазами, пришло время говорить.

— Даже, — говорит, — не верится, рядом не грубияны — девушка. — Ответа не получил — это ничего: после первых слов пусть будет пауза. Теперь можно вопрос:

— А вы надолго к нам? — не просто “надолго” — с просьбой в вопросе, чтоб навсегда. Вот так: несчастный, молодой, красивый хочет, чтоб была рядом всегда. Ничего больше. Пожала плечами:

— Может на неделю, или на две... А вы давно... давно?... так и не нашла слова. Тюрьма, лагерь — вероятно болезненно, “сидите” — грубо. Он понял:

— Больше года. И еще почти четыре. Было бы за что. Понимаете? Ни за что.

Ни за что — вдвойне несчастный. И поймала себя: так и подразумевала. Ни за что. С такими глазами — только по ошибке, по навету, по людской нечуткости. Точно, как ее деда в тридцать седьмом, как родителей сюда в Сибирь. Найдено слово — ни за что — пошел разговор. Тут и принесло этого Мишку, хорошо хоть понял, быстро смылся. До возвращения прораба несчастный успел книжку попросить, видел — пришла с книжкой. “Право, — отвечает, — не знаю. Не велели ничего ни брать, ни давать”. Книжку вроде забыла на столе. Все в первый день “вроде”, но вроде хорошо.

На другой день уже без “вроде” ждали, когда останутся одни, — не всегда масленица, десятник не отлучился. В столовую с ним ушла. Помялась, когда звал, но пошла. Тоже хорошее чутье: по своей воле оставаться подозрительно. А что не смогли словом перекинуться — было бы желание. Когда “нельзя” — “хочу” вдвое, без всяких слов каждый это в другом чувствует.

Впрочем, и слов навалом. С десятником ушла, он книжку возвратил на стол, в книжке три исписанных листа. Полночи писал, Мишка рядом ворочался, но ничего не спросил. В лагере спрашивать неприлично, жди, пока скажут. А не скажут, тоже помалкивай.

Три тетрадных листа он исписал — ни одной просьбы, ни одной жалобы. Только лишь, что приятно видеть, да что книжка хороша. (Читал еще на воле.) И взгляд на творчество вообще. Умное письмо, ничего не скажешь, такое письмо не вспугнет. Одна просьба все же была. Так, даже не просьба — почти вопрос: не скучно ли читать, а если нет, так может быть ответит. Она вернулась, увидела книгу на столе, удивилась: неужели успел за ночь? Стала ее в сумку запихивать, а листки разлетелись по полу. Ах, молодец девчонка, спокойно пошла, собрала, будто свои, и тоже в сумку.

Дома прочитала она, перечитала и задумалась. Не то, чтобы просто задумалась — пошли сравнения. Умный, интеллигентный, внешностью не обижен, — это с одной стороны. Что нравится ему — без сомнения, пусть в письме о таком ни слова. С другой стороны — Дима. Ничего такого про Диму не скажешь. Немного пообтерся в институте, правда, — не глуп. Только ум у Димы не для других, ум у него на одного себя. Все, что делает, — для себя, для других — лишь в оплату за то, что ему сделают. Как бы вычислит до гроша, прибыль снимет, что останется — на тебе, Боже. Что и говорить, никакого сравнения. Так ведь и не женится на ней, сразу предупредил. Считает, что рассчитывается поблажками. А если так, то она ему тоже не должна — расплатилась, может поступать, как хочет.

А как она хочет — он же заключенный? Ничего. Не вечно. Говорят, скоро этому конец. Если на высылку — ради настоящего она готова. И куда дальше Сибири? Пока можно неделю-другую видется, письма писать. И на одном вздохе накатала ответ.

Посыпались послания тетради, в каждом — нежным оборотом, имя ее чаще прежнего. А время отстукивает свое, нет времени дела ни до горя, ни до радости. Вот и пришел последний день,

завтра не выходит в зону. И всегда бывает, что с одной стороны орел — с другой решка: в тот день десятник заболел. Одним на своих местах в последний день нет удержу. Так в чем проступок, если подойдет, если даже обнимет на прощание? А кто бы не обнял?

Он встал навстречу, зарылся лицом в волосы, как в солнечный свет, и не было слов долго, аж пока жгучее желание выплеснуло бессвязные. И он сам себя услышал, услышал, — осознал, где находятся, и что в любую минуту могут войти. Осознал — отступил, а она не помогла, подступила.

— Если войдут, ты пропала, — шептал, когда жадные руки уже скользили по телу в дрожи, извивами тело помогало освободить себя, губы тянулись к губам с ответным шепотом:

— Где же? Где же? Тебе не выйти отсюда.

И обнявшись, опустили на колени.

Когда очнулся, приподнял с пола, раскинутая она валилась обратно. Увидел всю и опять охватило безумие. Потом суетился, непослушными руками пытался застегнуть пуговицы блузки, а она, как блаженная. Знала: нужно уйти, секунды растекались сквозь пальцы, что еще в его ладонях. Чуть подтолкнул к двери — рука в воздухе.

С того дня хитрила с Димой: ни да, ни нет. Дохитрилась до последней возможности — теперь только отказывать. Отказывать Диме — с ним и надежде на вход в зону. Только после тех недель быть с Димой невысказанно, лучше удавиться.

Промелькнули недели, как день один, — что теперь? Теперь счастливцу нужно к Мишке, чтоб пересылку писем хотя бы устроил. У Мишки вольный шофер в друзьях. На нарах, рядом лежа, все рассказал с заключением:

— Думаю, это настоящее.

— Еще бы не настоящее. Здесь полюбишь и козла, а уж козлиху...

— Зачем ты так? Она хорошая девчонка.

— Если хорошая — пользуйся. Пользуйся — не забывай, что не зечка. Папа с мамой, институт, все такое. — И не мог себе Мишка сам ответить: из зависти ли хочется наговаривать гадости, с обиды ли. Вот, мол, молчал, — когда приперло, на тебе. Ну да какое кому дело до Мишкиных обид. Главное — не откажет. Посыпались на нее послания, послания, где она, она, она вознесенная до небес. После того, что было, послания — дрова в пламень. Одинокой ночью с посланием в руках ее и озарило. Страшно!

Однажды шофер-почтальон не застал ее в конторе.

— Нету, — сказала уборщица тетя Клава. — Чтой-то ты повадился, аль замуж берешь?

— Поспешай, да не торопись, — ответил со смешком. — Сначала — адрес невесты.

— Погодь, спрошу, кто знает.

— В посёлке Четвертый ВОХР она живет. Восемнадцатый барак, — буркнула Надежда Васильевна-плановичка в ответ на заявление — вот смех! — что женишок пришел за адресом своей невесты.

А Дима насторожился. Что еще за жених? Сопоставил с отговорочками, вышел посмотреть. Чумазый да толстый, ростом ей не вышел, — успокоился. Но скоро заскребло. Чего в жизни не бывает — стала бабой, заспешила замуж. Оно, если за такого — к лучшему, никуда не денется, а скребет. От той скреботы не усидел, сказал сослуживцам: "Кто спросит — на объекте", сел в газик и шоферу скомандовал куда.

Подъехали, когда от барака отвалил самосвал. "Вот и хорошо, — решил Дима. — Скандал ни к чему". Вообще, ругал себя в дороге. Здравый смысл подсказывал: пусть идет, как идет. Но кроме здравого смысла в живого человека и дурь вложена. Так у него сейчас дурь сильнее здравого смысла. Редкость. Держать себя в руках умел — польза налицо: из работяг выбился, начальство уважает, подчиненные боятся. На работе — Дмитрий Сергеевич, в институте — Дима, свой парень. Больше других в грудь не стучит, на собраниях в президиум выбирают. Самое время вытащить из колоды хороший козырь — добрую женитьбу. А она какой козырь? Отрицательная величина. Женитьбу на ней не простит секретарь горкома по промышленности — папаша рыжей "бэ". Смирился бы секретарь, если жениться на дочери кого-нибудь выше самого, — на ней не простит. Так и засохнет Дима в прорабах. Может даже из прорабов попереть, ему не трудно. Еще она из пришлых. Дед, что ли, выслан, а в тридцать седьмом — напрочь.

И то спросить: чего присох? Не потому ли он присох, что первый? Чистая физиология. Разовая. Пусть катится к тому шоферу.

С такими мыслями Дима шагал к дому от угла, где отпустил

газик. Шагов с десяток не доходя видел, как высунулась ее рука, захлопнула форточку. Не уехала, значит, в самосвале. Дома.

Дома, а не отзывается. Ясно уже — не откроет. И тут взошло в голову, что женишок этот никудышный, и что тянула, и что теперь не открывает, — ему ловушка. Измором завлекает в ЗАГС. С обиды загремел по раме кулаком, не подумал, что сбегутся соседи. Ничего ей не осталось, кроме как выйти к нему. “Сейчас”, — крикнула и надела пальто, чтоб говорить не в доме.

Нет, не дал он выйти. Только откинула щеколду, грудью вдавил обратно, облапил, рванул пальто, посыпались пуговицы. Подхватил и понес на кровать, без внимания, что колотит ногами-руками по чем попало. В этот раз чувствовал настоящее сопротивление, но решил во что бы то ни стало получить сполна. Как сейчас получится, так всегда будет, даже если взаправду выйдет за того шоферюгу.

Забарахтались на постели — пусть барахтается. Он свое знает. Одну руку прижал боком, другую захватил из-за спины, ногой ноги держит. Добрался до застежек и орудовал свободной рукой, пока не услышал знакомое “подожди”. Это значит, сама доразденется, нужно отвернуться. Так-то лучше. Мужской напор свое возьмет, природой заложено.

Отпустил и отвернулся. Скрипнули пружины — села снимать, что он не успел. Но вместо обычного при том позвякивания, услышал сказанное непреклонно:

— Не уйдешь — заявлю. Богом клянусь, честное комсомольское.

Его как ошарашило. Опешил от этих слов и понял по-своему. Мол, не женится, так донесет.

— Женишь на себе, — через месяц разведусь. Кто помешает?

Не сразу и она поняла, что за женитьба с разводом. Поняла — усмехнулась.

— Считай, что развелись до свадьбы.

С порога Дима глянул назад — как кошка с горящими глазами. Сидит на кровати, глазами сверкает. Такой засела в памяти, вдвое желанная, потому что нельзя. Но “нельзя” Дима уважает. Должна быть у человека цель выше бабы. Баб много — Дима один. Заявит — использование служебного положения. А то и попытка насилия. Планам конец. Нет, будущим из-за бабы он не рискнет, пусть даже снится по ночам. Мало ли кому что снится. И в ЗАГС его не затянут, хотя бы выл от желания. Женитьба — ключ к будущему. Правда, если на той рыжей “бэ”, — недешевый ключ. Так не

сошелся на ней белый свет, Дима может и в Москву жениться, если повезет. Какие откроются горизонты! А что до желаний — клин клином.

И попробовал Дима для трезвого взгляда восстановить одну связь. Та мужняя жена когда-то влекла жадностью до любовных утех. В ее возрасте каждая встреча — прощальная радость, а в радостях знала толк. И была другая приятность тоже: муж ее имел право выговаривать Диме по работе и любил поучать. Все это легче переносить со своим тайным правом неуважения. Мол, мели, мели... у себя в доме навел бы порядок.

Мужняя жена сама звонила, когда выходило улизнуть от семьи. Последнее время Дима отнекивался, а тут он позвонил. Ну, она и забегала, как-то устроилась со временем и с местом. Место — комната в квартире с двумя соседями. Одна соседка куда-то умотала, а другая будто назло торчала на кухне, через кухню вход. Дима нервничал, ждал условного знака в окне.

В общем, нагородили, а получился конфуз. Что раньше в мужней жене привлекало, показалось липучей развязностью, красота — уловкой старой кокетки, вдобавок не пьянил коньяк. Сидел он на кровати под злобные шуточки растревоженной мегеры, перебороть себя не мог. И уйти не мог, соседка вертелась на кухне. Тянулось это сколько выдержал, стало невыносимо, вышел напропалую под мужицкий мат из бабьих уст. Пусть. Бабы как-нибудь распутаются, им тоже нужно.

Вот такое дело. И понял Дима: та, что выставила, будет ему мешать в любой связи с бабами, аж пока он не переберется. Убрать бы с глаз. Опасно. Пойдет треп: мол, ублажал, пока жила с ним, потом выставил. Да и зачем? Пусть выходит замуж. Это же какая прелесть, станет таиться больше него. А что от такого мужа он ее обратно получит, почти без сомнения. Вот тогда и сочтутся.

* * *

Страшное ее озарило. Когда расставляют охрану рабочей зоны? Когда их под ворота подводят. Как выведут — сторожиха. Сидит себе на проходной, вяжет. И шастают мимо всякие техники, вольные учетчики, всякие, кому еще пропуск не выписали. Так почему она не может войти? Может. В подготовленное место до их прихода войдет — целый день вместе. Вот так открытие! Как

это до нее никто не догадался? Он, умница, как не догадался? Дождалась утра, помчалась проверять. Точно. Сторожихи и вовсе не было. Спала где-то или домой умотала. Тут же ему письмо: так, мол, и так, явлюсь, если позаботишься приготовить место. Он с письмом к Мишке — вот до чего дошло: письма дает читать. Мишка прочел, говорит:

— Пожалеть бы ее надо.

— Ну, ты, — отвечает, — это не поймешь. Задубел в этом долбанном лагере. Хочу судьбу с ней связать, рядом и порознь — не выносимо.

Помирились на том, что опишет, с чем связано, сама пусть решает. Вот он честно описал и про зечек-уголовниц, и что случается — вылавливают, и черт его знает, что тогда будет. Только ответ знал заранее — такой и пришел. “Согласна я на все, лишь бы вместе. А чтоб посадили — не те времена. Остальное не страшно”. Насчет времен бабушка надвое гадала. Может, не такие они еще хорошие. Но он честно предупредил и сам себя заверил, что связь их серьезна. В общем, за пару часов сложили с Мишкой из блоков стену в подвале недостроенного заводоуправления. Красавчик подавал, Мишка клал. Обтерли руки по концу, оглядели работу: не хуже других стен, хотя и не лучше, такие же мастера кладут.

Наутро он возжег свечу. Горела свеча в отгороженном той стеной тупике подвального прохода, капля пламени застыла, как рисованная. Рядом со свечой — щит, устланный бушлатами, от туда — шепот двумя голосами: мужским да женским. Можно подслушать, да нет интереса — только расстраиваться. Мишка снаружи крутится, на стреме*. Если кто в эту сторону — “Широка страна моя” высвистывает, такая работа для друга. Закинул было словечко, вроде так, как бы в шутку, про какую-нибудь подругу — разве тем до этого? И если без обиды разобраться, — разве о таком хотя бы и лучшей подружке скажешь? В общем, горит у тех свеча и благополучно догорела. Благополучно, — так и другой раз возжег, пошло-поехало. Скоро иссякли правдоподобные отговорки-оправдания ее отсутствия на работе. Врач-старичок в поликлинике, глядя в молящие глаза, выписал бюллетень еще на неделю и сказал: “Больше не в моей власти”. В ту неделю через день горела свеча, а в понедельник не пришла в контору без

* *Стоять на стреме — наблюдать с целью предупреждения об опасности.*

оправдания. Дима в окончательность разлада не верил, — выручил: сказал, будто отправил на стройку. Сам перед тем все поглядывал на ее стол — ясно всем: врет. Маялся Дима полный день, по концу припустил в поселок Четвертый ВОХР. Ждал там недолго, вскоре показалась. Показалась, шла расслабленной походкой и веяло от нее таким особенным покоем, какой бывает, когда у женщины все хорошо складывается, а он ревностью мучается. Ревность Дима подавил, протянул руку к плечу — плечо она отвела, повисла рука в воздухе. Но твердо решил, что будет по-хорошему. И было бы, если б не засос на шее. Прямо-таки настоящий засос. Сразу представилось, как другие губы слюнявили принадлежащую ему по праву первого. Пусть догадывался, что пришла не с посиделок, — догадка одно, явный знак другое. Однако кулак не сжал, кулак у него еще от рабочего, крепкий. Под суд угодить недолго. А у нее только глаза засверкали. Засверкали глаза и сказала: “Теперь полностью в расчете. Навсегда”.

Навсегда ли — у Димы под сомнением. За битую двух небитых дают. И пусть знает: от своего просто не отказывается.

* * *

Закон жизни надзирателя Лукашева Ивана, — не высовываться. Закон этот усвоил прочно — держится золотой середины. Бьют передних да задних — когда еще до середины доберутся? Потому что не высовывался, особенно не усердствовал при жизни Папашки, за десяток лет надзирательства по службе продвинулся мало. Зато в теперешнее паскудное время не очень опасается. Не то, что бывший напарник-надзиратель, ныне начальник из молодых да ранних, лейтенант Воскобойников. Тому еще неизвестно, как обернется, хотя бы за переломанный хребет зека. Собственноручно подвешивал зека в смирительной рубашке. За характер и кличка у Воскобойникова “Кабысдох”, а Лукашев просто “Рябой”. Рябой он и есть, в детстве болел черной оспой. Теперь Лукашев, по крайности, вспомнит молодость, подастся в каменщики. Не сахар, но не тюрьма — нечего Лукашеву на тюрьму припомнить, как далеко ни шарахнутся вправо-влево. В общем, вел себя надзиратель Лукашев разумно, не как сосунок неклеваный Воскобойников. Лукашев еще помнит, как в семнадцатом городских гоняли, даром, что был малолеткой. Правда, тогда прихватили и их околоточного, только потому, что около-

точный — зла тоже не причинял, но можно надеяться, до того не дойдет. Власть сменилась спокойно, кое-кого пришили, а кто остался — из тех же сталинских соколов. До самосуда дойти не должно — перед судом чист — на многое закрывал глаза. Сколько, бывало, перед ним шапку вовремя не сдергивали, и ухом не вел. Когда лепилу-врача посадили в карцер, в свое дежурство разрешил печку топить. Пусть лепила ему экзему лечил, он, Лукашев, рисковал, не велело начальство. Много чего можно припомнить. Что побег вскрыл, так куда ж ему было деваться? Если б не вскрыл, еще тогда мог на каменщицкие работы топать. Или похуже. Начальник тогда был суровый, не чета нынешнему. И сказал ему тот начальник: “Хитрозадый ты, Лукашев, но к награде представляю — заслужил”.

Пусть хитрозадый — лучше чем телок. Конечно, не телок. К примеру, отчего один зек своему прорабу больным сказывается, а в жилой зоне не остается? Готовит побег? Вроде сейчас ни к чему, без того ждут освобождения. Так отчего? Дознается Лукашев, до времени не вспугнет. Постарается, хотя своих забот по горло.

Воистину, своих забот по горло. Год этот, пятьдесят четвертый, выпал с отклонениями. Вроде пришла ранняя весна, а настоящего тепла нет и в июне. Бесперывные дожди вымыли с полей, что успели посадить, — жди голода. Страна, правда, необъятная, по сибирскому куску обо всем судить не приходится. Так ведь картошку из других мест вряд ли привезут, акромья спекулянтов на базар. На базаре простому человеку не по карману — кусается. Картошка с выделенного клокa земли — основной продукт, и выходит, напрасно жена с дочерьми грязь месили. И сам Лукашев все воскресенья на огороде ползал напрасно.

Все воскресенья, да не все. Одно не пожалел, пришел в рабочую зону, потому что выследил подвал, куда надолго сигает один зек, а дружок его поблизости отирается. Видно — на стреме. Так что проверить выходило так, чтоб не вспугнуть. И нашел-таки Лукашев заначку. Деревянный щит с бушлатами, ящик из-под облицовочной плитки со свечным огарком — больше ничего. Следов подкопа нету и место для побега не подходящее. Далеко до ограждения. Молельня у них тут, что ли? В молельне незачем весь день пропадать. Под щит заглядывал, бушлаты попереворачивал, обнюхал. Ба-а-тюшки! Лагерная одежка духами воняет. Ежели

сюда какая стерва, бывшая зечка, пуляется, так разве она духами надушена?

И не только воскресенье не пожалел Лукашев, нерабочий вечер тоже, выследил, кто вышел из заначки. Вот-те уголовница! Прораба Дмитрия Сергеевича техник-студентка и, кажись, его невеста, полюбовница наверняка. Вот это дела!

Не показался ей Лукашев, шума не поднял. Докажи потом, что не вошла после съема по работе. Брать нужно тепленькую, в заначке.

А то, может, и вовсе закрыть глаза? Их всех не сегодня-завтра поосвобождают — на кой Лукашеву враги? Неизвестно, как сам Дмитрий Сергеевич на это посмотрит. Закрыть глаза — только и делов. Но как их закроешь, когда не закрываются? Это же, как гончую остановить, когда заяц перед носом. Потому в очередное исчезновение этого зека Лукашев места себе не находит, мечется по зоне. Пометался и надумал: пуцай молодой да ранний врагов наживает. Ему, Лукашеву, в нынешнее время за бабу самое большое — благодарность. Ее, эту благодарность, на хлеб не намажешь, а ежели Воскобойникову тонко сказать, враз себе дело присвоит. Кинулся искать. Где ж ему быть? Конечно на проходной лясы точит.

— Товарищ лейтенант, мне к трем в поликлинику назначено. Всего два часа до съема останется. Так я побежал. Вот еще: надо бы посмотреть, что зеки в подвале заводоуправления делают. Поди от работы прячутся. Там у них в конце прохода заначка. Я бы сам, — да опаздываю.

Воскобойников слушал Лукашева в полуха: дежурный солдат трепался, как застал его муж в своей квартире в чем мать родила. Врал, конечно, но здорово. Кто на проходной был, за животы держались. Так что Лукашев ответа не дождался, махнул рукой и пошел за зону. Шагов с десятков отошел — вернулся. — Я говорю, товарищ лейтенант, зеки в подвале заводоуправления гужуются. Заначка у них там, — опять нет ответа. Этому неклеванному никакого интереса до обыкновенной работы, ему подавай с перчиком. Не дождетя. И еще он подумал: "И чего это я привязался? Лекарство мне доставал. Ну и что лекарство? Пусть малость хлебнет интеллигенция. Вся нация не сеет, не пашет и дожди нипочем". С тем развеял свои сомнения.

А Воскобойников уже отсмеялся, протер глаза, что от смеха слезились, и удостоил:

— Иди, иди. Проверим.

Скоро Мишке пришлось высвистывать тревогу.

— Че здесь околачиваешься? — это Воскобойников — Мишке.

— Обижаете, начальник. Послали проверить. Вот чистых полов нет, штукатурки, побелки. Видите запись?

— Проверяешь. Темно, как у негра в заднице.

— Это со света, начальник. А мне видно.

Чиркнул Воскобойников спичку, чахлое пламя осветило под ногами мусор. Спичку держал, пока опалила пальцы, матерно выругался и пошел бы себе, если б не слышал про заначку. Зажег еще одну — где она, заначка? Наверно Лукашев имел в виду весь проход. Этот проверщик, конечно, на стреме. Заметил Воскобойникова, подал сигнал — зеки разбежались. Нормально. На то Воскобойников начальник, чтоб перед ним зеки бегали.

И уже поворотился лицом к выходу, спиной к стене кое-как сложенной. Не одна она кое-как сложена. Еще Маркс учил: подневольный труд никуда не годен. Как сложена, не Воскобойникова забота, не ему дом кладут. Осторожно шагнул к выходу, чтоб не споткнуться о всякую дрянь, но собачье чутье, что-то не так, остановило и еще спичку зажег, вернулся к той стене, пнул обломки досок с бревнами, что не валялись, как везде, а были аккуратно к ней прислонены. Посыпались бревнышки с досками, за ними дыра лаза. Надо же, гады какие — не поленились стенку сложить, лишь бы не работать.

— А ну выходи без последнего! — это Воскобойников орет перед дырой. Голову не сует, голова у него не казенная. Долго ли — кирпичом, потом скажут сам свалился — ищи виновного. Пусть найдут, голове не легче. Потому Воскобойников орет, головы не всосывая: — Кому говорю, выходи!

— Да нет там никого, гражданин начальник. Должна быть уборная, каменщики забыли оставить проем.

— Я-те оставлю проем. Ну-ка скажи на вахту, пусть Белибеев с Коготько сюда идут. Одна нога здесь — другая там, через минуту не будут — кандей обеспечен.

Так тебе сразу и побежал. Мелькнула мысль: доигрались, мол. Только мысль, а поступать надо честь по чести. Спрятался за домом, Воскобойников в проходе мечется.

Притаились в заначке — безвыходно уже. И он подумал: не выйти ли одному? Чем поможет, сам не знает, ведь главное — она. На нее все свалится, потому что он и так сидит. Нет, не вый-

ти, а выскочить. Выскочить, закрыть лицо шапкой, и бежать. Хочет знать, кто — погонится, она выскользнет, Мишка перепрычет. Но показалось лучше в суматохе съема. Съем через час.

А Мишка не ждал бы. Оно, конечно, знал бы прикуп — выигрыш наверняка. Но не ждал бы Мишка. Дождешься короля пик к бубновому тузу, когда не прет. Обернулся король надзирателем Коготько. Сам по себе Коготько приблизился, а Воскобойников выглянул из двери. Выглянул и подивился: исполнил стремщик его приказ. Исполнил, так исполнил, без внимания на лепет Коготько, тот искал его зачем-то, втащил в подвал: "Молебен, видно, у них. Чуешь, задутыми свечками воняет? С места не сходи, я за Белибеевым".

А Белибеева уже след простыл. Где-то Белибеев уже на подходе к дому. Воскобойников вернулся с фонарем вместо Белибеева, и тут съем. И ринулся человек из заначки с лицом, прикрытым шапкой, прямо в объятия Коготько. Коготько навалился, обхватил, так держал, пока не обозлил начальника. Чего держать, уже известно кто, и дальше зоны никуда не денется? Сует Воскобойников Коготько фонарь, чтоб в заначку лез, а он зека держит.

Нет, и Коготько не лапоть. Приставил фонарь к лазу, осмотрел сколько видно снаружи.

— Пусто, товарищ лейтенант.

Вот счастье! Вот привалило!

Конечно, еще не спасение. Вряд ли удовлетворится начальник нерадивым делом подчиненного. Только обругать его не успел. Ахнуть не успел. И никто не видел ее в лазе скрюченной. Ахнуть не успели, уже стояла во весь рост. Как сквозь стену просочилась, обвела всех глазами, улыбнулась, а кому-то послышалось "здрасьте".

Вот тебе раз. Кто же это так делает! Сиди до конца, если терять нечего. Ей, видите ли, показалось, что милый затеял драку с надзирателями на новый срок. Как бы там ни было — вот она, русые волосы по плечам рассыпаны.

У Кабысдоха, конечно, челюсть отвалилась, смотрит, помаргивает. И соображение: "Студентка. Дима, прораб, живет с ней, сам хвастал". Тут неодолимо захотелось бежать к телефону, обрадовать этого заносчивого Диму. Пусть сам увидит свои рога. Да какие! "Постой, постой... а чего она в зоне, если живет с Димой и студентка? Так это же контра! Листовки наверно. Нет, он Диму не вспугнет, к нему нагрянут кому положено". Взошло это в го-

лову, тут же скомандовал: "Следовать за мной! Шаг вправо, шаг влево — побег...", — хотел закончить как полагается: "оружие применяю без предупреждения", — но осекся. Оружия у него нет, запрещено в зоне. Отнимут — беды не оберешься.

А она шла, глаза не прятала, потому что не прятала — укреплялась надежда Воскобойникова на непростое дело. А со всех сторон провожали ее взгляды зеков: с завистью к счастливчику, с жалостью к ней, с восхищением, — у кого какая душа.

На вахте Воскобойников растолкал пристающих с расспросами солдат, схватил телефонную трубку. Через двадцать минут за ней прибыл воронок*. Виновника чепе** он же лично от ворот лагеря повел в карцер, передал дежурному и понесся докладывать начальнику.

Против ожиданий майор-начальник слушал его вяло. Оживился только, когда задал посторонний вопрос о наружности задержанной. Хороша ли собой. После доклада что-то бурчал себе под нос, Воскобойникову сказал:

— Ты... это... того, вроде грамотный. В юридическом учишься, а момента... того... не сечешь. В моем столе распоряжение готовится к освобождению осужденных Особым совещанием***, уже отправлены поименные списки, этот в них последний, потому что фамилия на "я". Сечешь? Видно, не конец, ждем московскую комиссию. Должно быть всех контриков распустят. Или ты за своей учебой не видишь, что творится?

— Да, да, товарищ майор. Что творится?! Взять эту самую... студентку. Пусть не контра — все равно преступление.

— А давай-ка посмотрим не нашими, их глазами, — тут майор закатил глаза в потолок, указывая на высочайшие инстанции. — Освобождают его подчистую ввиду отсутствия состава преступления. Значит, сидел зря и есть вольный человек. Спать может с кем хочет. Короче говоря, по инструкции я должен извиниться перед ним, чтоб на советскую власть зла не таил. Прикажешь извиняться еще и за то, что ты в карцер усадил? Выпусти немедленно.

Не сразу пошел Воскобойников исполнять распоряжение. Смятение в душе: похоже конь, что в гору вез, падет, и куда подаваться?

* Автомашина оборудованная для перевозки арестованных.

** Чрезвычайное происшествие.

*** Особая комиссия, осуждавшая без суда. Упразднена после смерти Сталина.

— Что же это будет, товарищ майор? — исторг вопрос. — Как же они могут столько людей обездолить? Получается, прежний секретарь обкома может вернуться, если лагеря пережил, — теперешнего куда? Директора шинного, авиазавода? Нас сколько? И кто же достроит все, что начато?

— Ну, брат, молодой, а паникер. Я и то не паникую в свои годы. Где-то поставят точку. Ему, — опять глаза в потолок, — ему нужно место гения расчистить. Если кто был гением — не гений, то гений тот, кто это доказал. А государственный путь один, так что не дрейфь, пока от октября не отказались. Отказаться не под силу, да и не хочет. Как-никак рядом на трибуне стоял.

Тут бы сказать майору кто и с кем стоял рядом, но что с языка слетит — назад не воротишь, а слетело и без того много. Потому разговор закончил наскоро: "В общем, заболтались, иди выпусти".

И потопал виновник переполоха из карцера, но невесел, душа болит по той, что в их лапах осталась. Воронок не такси, известно куда возит. И было отчего болеть душе — привезли ее в Серый дом. В Москве того же назначения дом зовется "Лубянской", в Ленинграде — "Большим домом", здесь он — "дом Серый". О столичных домах здешние наслышаны, свой, Серый дом, — вот он, стоит, что уют среди старых построек. И нет такого, кто не затрепещет, глядя на двери его, кованые бронзовыми завитушками. Так и кажется: открываются только на вход без выхода.

В Сером доме она простояла, где поставили ждать, до полуночи, проходящие на ее вопросы даже не оборачивались. Только один, должно быть начальник, на ходу покачал головой. "Такая красивая — жалко, жалко". Что-то еще сказал, не разобрать — подался. Когда, совсем обессилев, села на пол, над ухом гаркнуло: "Следуйте вперед!" Потом то "вправо", то "влево", и она представила себе, что приведут в камеру. Здесь же, говорят, и подземелья. Но у боковой, с улицы неприметной, двери конвоир протянул часовому бумажку — свобода. И не было особой радости, и удивления не было, что продержана без толку. Вроде обычной неувязки, перепутали времена. Радость пришла, когда успела на последний автобус.

Парой дней позже на Диму обрушился ужасный удар. Вызвал его начальник и терзал битый час упреками с поминанием собственной, начальника, пронизательности и Диминого легкомыслия.

Мол, говорил тебе, нельзя баб в зону — не послушался, вот что получилось: промышляла там к зарплате. Нудел, так нудел, что приговорка о порядке в его доме не помогала. Ну да придет время, Дима сочтется с обидчиками, сейчас стерпит. Пока тот закончил нудьгу такими словами: “Выгнать, уже ее выгнал, а комнату ты выпросил этой простигосподи, ты и освобождай”.

С какой стороны Дима к делу не подходит, про деньги выходит — бред. Ему лучше знать, что она себе позволит, а что нет. Может заехала со своим шоферюгой, а солдат-растяпа забыл пропуск спросить. У этих солдат при виде юбки со всех сторон слюни. И кто проститутка, Дима знает. Если не проститутка, так это самое... старая блядь. Однако какая по счету уже неприятность от его блажи? И конца неприятностям не видать. Из-за этой черной думы сидит Дима за столом мрачный...

* * *

В шесть утра она уже у дороги утоптанной ногами зеков. Дорога эта вьется пустырями, не близко огибая населенные места. Каждому ясно: кратчайшее соединение пунктов А и Б дороге не главное, главное — сокрыть, кого по ней гонят.

Над дорогой ветер с юга, из казахских степей. Там он обвеял колонны зеков Карагандинских шахт, отсюда понесется к колоннам таежных лесоповалов, потом пронесется над тундрой, над колоннами Воркутинских и Норильских шахт, и вот она, свобода Ледовитого океана. А если повернуть ветров на восток или запад, то носиться ему, пока не иссякнет — на восток и запад даже урагану не достичь лагерных границ.

Колонну за колонной прогоняют мимо нее, впереди надзиратели, по бокам конвоиры, сзади собаководы с овчарками. Все оборачиваются, русые волосы вьются на ветру. Зачем стоит у ненужной свободным дороги, кого высматривает? Надзиратели орут, чтоб уходила, собаководы уськают псов, а собаковод колонны, где он, подпустил овчарку совсем близко. Вздыбилась оскаленная пасть перед лицом.

Но и на другое утро стояла. И на третье...

Утренние эти представления возбудили лагерь, пошли неслыханные времена — только пугают. И стала русоволосая у дороги признаком грядущих перемен. Издалека вертели головами, высматривали, а вот и нет ее. Где же?

Конвоиры вздохнули с облегчением, наконец, должно быть, упекли. А ты не стой на горе крутой. Не стой, где не положено. Власть — она власть, пусть кажется доброй.

Надзиратель Лукашев радость дружков не разделил.

— Не померла же, — сказал Воскобойникову. — Не здесь, так в другом месте. Может, опять в зоне.

— Для того нужно умом тронуться, — буркнул тот в ответ. — В эмгембе таскали, с работы выгнали. Теперь остается посадить.

— Кто по нынешним временам посадит? То-то и оно.

Когда по концу рабочего дня зеки стали в колонну по пять для счета, Лукашев сквозь них протолкался к Воскобойникову.

— Слышь, товарищ лейтенант, задержись-ка малость. Чтой-то интересное покажу.

Отмахнулся бы Воскобойников — завтра день будет. У Воскобойникова тоже личное есть, нерабочее время дорого. Только подмигнул Лукашев, мол, знай наших, и увязалось подмигивание с утренним разговором. Так что пошел он за надзирателем пустой зоной в компрессорную.

— Ну, товарищ лейтенант, проявляй чекистскую сметку. Где значка?

Воскобойников заглянул за щиты для приборов, потопал ногами по бетонному полу.

— Ладно, не тяни. Показывай.

Лукашев вставил припасенную отвертку в незаметный паз меж двух стальных панелей, нажал и открыл одну, как дверцу. Повертел для убедительности на петлях.

— Там она?

— Не. Нету. Он целый день на рабочем месте. Вот вчера отлучался на два часа перед обедом да на час после. Похитрел, не целый день с ней. Однако вона, как сделали. Изнутри на засовы замкнуты, с собаками не найдешь, — с тем убрал отвертку в карман и, гордый сыщицким мастерством, без оглядки потопал на выход. А Воскобойников ушел не сразу, раздумывал. Ну, выведет еще раз себя на посмешище. Он — из зоны, она обратно. Накостылять? Кто его знает, как обернется. И тут осенило, аж заулыбался. Знает, кто ей накостыляет, если, конечно, не баба в штанах. Хорошо, что Диме загодя не сказал — пусть явится на горячее.

...Из-за черных своих дум какой день сидит Дима за столом мрачный. Сослуживцы видят его хмурь, не пристают по работе. Работа в лес не убежит, а на грубость нарваться можно. Только бесчувственный телефон то и дело названивает. Там раствора нет, там кирпича, там все есть — механизаторы вольные запили, была накануне получка. Среди всех этих звонков, — от них отделялся: “знаю”, “приму меры”, “утрясу”, — раздался один требовательный, будто звонят из самого Кремля. Унял раздражение, почтил но ответил: “Слушаю”, — и тут же пуще прорвалось, на другом конце с трубкой балабол Воскобойников.

— Чего трезвонишь? У меня по горло работы, не до шуточек.

— Дима, не шуточки — настоящий цирк. Приезжай — увидишь. Ты такого в жизни не видал. Жду на вахте. Быстро.

Тут Дима понял, какой там цирк. Помедлил с ответом, но послышался в трубке такой с издевочкой смешок. Показалось, что и сослуживцы усмехнулись, вроде в руках не телефонная трубка — громкоговоритель.

— Еду.

От ворот зашагали с Воскобойниковым к компрессорной. Лукашев отстал, но двигался туда же, хотел посмотреть, что будет.

— Вот видишь, Дима, чернявенький стоит? Это Завадский. Был там — теперь на стреме. А с ней один из сантехнического участка. Да не смотри туда так, спугнешь раньше времени.

— Где?

— Что где?

— Заначка где?

— Так вот же. Под бугорком выкопана. Свежая земля от бугорка — проход из заначки в компрессорную. Будем выводить?

— Погоди.

Как только страшное дело вошло Диме в голову, злоба испарилась, остался холод решимости. Сейчас он от всего избавится. От всего!

— Почему до сих пор здесь не спланировано, — заорал, будто перед ним не надзирательский начальник, а собственный десятник. Воскобойников широко открыл глаза.

— Мне откуда знать? Хоть бы спланировали, они другое хитрое место найдут.

— Где бульдозерист?

— Видел, спал до обеда в кабине. Теперь проспался. Слышишь, тарахтит у заводууправления?

Посмотрел Воскобойников в зловеще побелевшее Димино лицо и понял, зачем нужен бульдозер. С ума спятил! Остановить, что ли? А на кой? Он, Воскобойников, за работу не отвечает. Нет ему, Воскобойникову, до работы дела. И до остального. Он вообще уйдет на проходную.

— Куда пошел? Брюнета заведи отсюда.

— Эй, Завадский! Ну-ка пойдем на вахту. Объяснишь, почему здесь околачиваешься, не работаешь. Пошли, пошли, — ухватил за локоть, повел. Лукашеву велел позвать бульдозериста. Тот предстал перед Димой чумазый, с похмелья осоловелые глаза.

— Я тебе, твою мать, с утра где велел спланировать?

— Не видал вас с утра, Дмитрий Сергеевич.

— Глаза залил, потому не видал. А еще член партии. Гони сюда бульдозер. Начнешь от стены и чтоб выровнял, как для танцев.

— Только и знаете гонять с места на место. Вы сюда, десятник туда. Здесь еще траншея теплоцентрали не копана. Двойная работа.

— Много знаешь. Еще утром говорил, на теплоцентраль труб не будет до конца квартала, а комиссия насчет порядка нагрянет не сегодня-завтра.

— Комиссия... Нам что? Нам, как татарам. Что подтаскивать, что оттаскивать — абы платили.

— Хватит болтать! Пока не кончишь, не уходи, не то на партийном собрании поговорим, как пьянствуешь, другим пример подаешь.

Бульдозер прибыл на полном газу. С задраным вверх ножом он вывернул из-за угла, круто развернулся. Тупо ухнул нож о землю, вгрызся. Крошили гусеницы хлам.

* * *

Прораб строительного управления Горышев Д. С., одна тысяча девятьсот двадцать пятого года рождения, из крестьян, не судим, член капэзсэс, — согласно письменному объяснению следственным органам, — лично руководил бульдозеристом, опасаясь, что ввиду неполной трезвости тот заденет стену здания. Помахивал ему руками на себя. Когда миновала опасность, ушел с места происшествия.

* * *

Гусеницы нырнули вниз, и Лукашев в душе перекрестился. Перекрестился Лукашев в душе, засеменял на вахту. А Дима смотрел, пока полностью завалило, проутюжило, сравняло место, где была полоса свеженасыпанной земли — выход из заначки. “Птички в клетке”, — стучала в голове глупая фраза, он отогнал ее нелепым жестом, как муху. Прочь ушел, не оглядываясь.

Бульдозер натужно тарыхтел. Кто прислушивался, знает, когда замолк. Тут же вбежал на вахту бульдозерист с криком: “Люди там! Там люди!”

Добиться толком, кто и где, не было возможности. Бульдозериста стошнило, толптался в собственной блевотине, размазывал сопли со слезами по грязному в копоты лицу.

Тогда припустили к бульдозеру.

* * *

В лагере говорили, будто тела не смогли разделить, потому их похоронили вместе на лагерном кладбище. Говорили, будто родители добивались сведений о месте захоронения, но расположение лагерных кладбищ — еще неотменный секрет, и самое высокое начальство затруднялось ответить.

Через несколько дней после того страшного случая выпустили на свободу осужденных Особым Совещанием, знаменитой тройкой. Освобождаемых построили в ряд перед вахтой жилой зоны, начальник в проникновенной речи призвал не таить зла на советскую власть. Затем стал выкликать фамилии по формулярам. Когда дошел до буквы “я”, последний формуляр отложил в сторону.

Начальник Воскобойникова оказался прав — все со временем утряслось. Если кто, не дай Бог, попадет в Серый дом через пятнадцать лет после убийства Елены Шатиловой и Льва Янкина, тот сможет увидеть Воскобойникова в подполковничьих погонах.

Меньше повезло Лукашеву. После расформирования этого лагеря он работал до пенсии каменщиком под началом бывшего своего зека, потом прораба. Но Лукашев на него не жалуется. Бывший зек зла не держал, отличал его за старательность.

Дима — теперь его неудобно называть Димой — Дмитрий Сергеевич удачно женился в Москву. В браке счастлив и достиг вер-

шин в своем министерстве. Покровительствует тем, с кем когда-то работал, по традиции высшего начальства многих из них перетащил в столицу. Любит приводить примеры подчиненным из собственной практики строительства химкомбината.

Однажды, на многолюдном совещании, Михаил Завадский видел его восходящим на трибуну. Перед началом речи Дмитрий Сергеевич окинул зал взглядом. Скользнул взглядом и по Завадскому, но, конечно, не узнал.

Речь была деловой.

Ришон ле-Цион
1987

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

НИНА ВОРОНЕЛЬ. КАСИР ВЕЧНОСТИ *(пьесы и эссе)*

350 стр.

19 долл.

...Талантливый композитор вынужден приписать свои творения вымышленному "народному гению", но вот "гений" является за славой собственной персоной...

...Кухарка, тронутая палочкой Феи, становится распорядительницей культурного ведомства, а Фея, ставшая кухаркой, оказывается лицом к лицу с похотливым кухаркиным мужем...

...Забредший на волжский дебаркадер Христос предстает перед хмельным скопищем человеческих уродцев, и они готовы распять подозрительного чужака...

И рядом с этими жуткими в своей правдивости, лишь оттененной фантастичностью, сценами советского быта — праздничная процессия Каннского фестиваля; закулисные тайны бродвейских театров; иронические портреты западных феминисток — иной мир, иные проблемы...

Эта книга — двуликий Янус, обращенный как к тем, кто ищет в литературе напряженного сюжетного драматизма, так и к тем, кто хочет с ее помощью понять окружающую новую жизнь.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

— Не надо было ехать.

Илья справился с упорно сопротивлявшейся дверью входа, вытащил из кармана измятый прямоугольник единого билета и, протянув его, не глядя, куда-то влево, бросился вниз по эскалатору. Спешка, впрочем, оказалась излишней: поезд только что ушел. Линия была из сравнительно новых, и здесь даже внизу, на платформе, стоял вполне уличный холод отвратительного московского ноября. Надо было бы ходить, греться, но он как прислонился к первой попавшейся колонне, так и застыл недвижимо на все то время, пока не послышалось из туннеля неторопливое громоухание. Потом — неожиданно пронзительный скрежет тормозов, наплыв яркого света, и можно, наконец, вдавиться в сиденье, закрыть глаза, передохнуть. По крайней мере в ближайšie двадцать минут — до пересадки — ничего не надо предпринимать.

Разумеется, глупо тащиться в такую даль, предчувствуя заранее, что ничего не выйдет, не может выйти. Чистый мазохизм. Или не было никакого предчувствия? Сейчас уж и не вспомнить. Который там час? Ого, почти ночь! Вот тебе, с другой стороны, некоторая польза: по крайней мере время убито, еще немного — и все

Сергей Рузер

ПО КОЛЬЦУ

ворота закроются. Может, хотя бы этот, искусственно созданный цейтнот встряхнет его, заставит на что-нибудь решиться.

Сколько он уже тянет? Звонок раздался где-то около полудня. Его как раз пытались уговорить пойти обедать в близлежащую диетическую столовую — в конторе не было даже буфета, — и он произносил, на ходу ее оттачивая, запутанную фразу, которая должна была, по возможности не оскорбляя сослуживцев, выразить несколько оскорбительную все же мысль о том, что Илья не желает сидеть с ними за неопрятными орвелловскими столами совместного ланча. Фраза все никак не кончалась, колеблясь между чем-то вроде “аз недостойный” и плохо замаскированным “эх вы, сволочи полуинтеллигентные”. Тоскливое равновесие обреталось, утрачивалось, шаталось, пока крик Наташеньки не прекратил пытку: Илью Марковича звали к телефону.

Илью Марковича. В другой раз он не преминул бы мысленно приласкать это непонятно почему будоражащее обращение, попытался бы обнаружить тут скрытую эротическую струнку, звенящую в чуть-чуть нарочитом растягивании (удовольствие?) его сначала имени, а потом и отчества. А то и примерил бы Наташеньку в воображении к себе... Илье-Элику-Илюше недавно исполнилось сорок, и мечтания его, несколько одряхлев, странным образом стали от этого только пронзительнее. Увы, сейчас тягмотина прерванного разговора про столовку настолько его измочалила, что сил на уютные раздумья не осталось. Раздраженный, влетел он в конференц-зал, где — на равном, так сказать, удалении от всех сотрудников — находился городской телефон, и, не глядя по сторонам, взял трубку.

Звонил Теплицкий и драматической скороговоркой настаивал, что им непременно надо увидеться — через полчаса он подойдет к воротам. Хагер с неприязнью подумал, что вовсе незачем так пошло подражать литературному Иннокентию (Илья Маркович не терпел безвкусицы), взволнованность и таинственность выглядят нынче в лучшем случае анахронизмом и вообще... Впрочем, как раз в этот момент взгляд его остановился на готовящейся к своим вечным заочным экзаменам миловидной секретарше, и он на какое-то время перестал гадать о том, что же случилось. Трубку на рычаг опустил почти с легким сердцем.

— Наташенька, я смотрю, вы даже и эстетику изучаете.

— Почему вас это так удивляет? Вы считаете меня неспособной к эстетике, то есть я хотела сказать ... нечувствительной?

Получилось как-то коряво, что она сразу и поняла, продемонстрировав таким образом и способность, и чувствительность, и тут же на что-то самой не вполне ясное рассердилась, покраснев. Надо было срочно заглаживать, ибо, как знал Илья врожденным инстинктом, с этими девицами из среднего технического персонала очень трудно удержаться на дружеской ноте: если не подкормить вовремя прозвучавшую (или почудившуюся) в удачную минуту ласковость, не закрепить ее, то все тут же скатится в мстительную враждебность. Так что он лихорадочно бросился заглаживать, постарался, добился улыбки. Заодно и себя вернул в то теплое состояние, когда приятно обнаруживать в поле зрения Наташенькины то ноги, то аккуратную кофточку. Этакое возможное убежище в дни грядущих преследований. Мужа ее можно как раз на время преследований отослать, скажем, в Монголию. Хагер — человек впечатлительный — сохранил от эпохи еврейского возрождения представление о том, что неаппетитное слово “прелюбодеяние” связано именно с замужними женщинами. Но, во-первых, Наташенька состояла в браке с каким-то сотрудником райкома, что делало неприменимыми обычные установки. А во-вторых — и это извиняло Илью бесповоротно и печально — ничего, собственно, между ними пока так и не было.

Про мужа и убежище это мы сейчас помыслили за Хагера. То есть соображения-то доподлинно его и не раз к тому же им опробованные, но заимствованные из других, не столь неудачных, как этот, дней. Сегодня же он просто улыбнулся еще раз, завершающе так сказать, притворил за собой дверь и в оцепенении уселся в коридоре в кресло, да так и просидел совершенно бездумно, разве что поглядывая время от времени на часы. Словно не терпелось ему дожидаться окончания отпущенных на передышку тридцати минут. Словно ждал, когда, наконец, надо будет одеваться и идти на улицу слушать — наверняка про неприятное. Курить Хагер, разумеется, не курил.

* * *

Арон Теплицкий уже топтался в воротах, настолько погруженный во что-то свое, неотступное, что и не поглядывал даже в глубину ведущей к лабораторному корпусу аллеи, откуда должен был появиться Хагер. Подходя, Илья ощутил привычную смесь довольно, впрочем, вялых от частого употребления эмоций. Ос-

новной из них — “официальной”, что ли? — было сострадание к такой явной, чуть ли не непристойной незащищенности приятеля. К этим поднятым плечам, тяжелому бесформенному портфелю в руках, подразумеваемой не очень здоровой русской жене дома и двум мальчикам в музыкальной школе. Но сострадание здесь так тесно переплеталось с раздражением... В общем, задайся Илья вопросом о действительной природе того неумного зуда, который охватывал его всякий раз при столкновении с Теплицким, он вынужден был бы признать, что Арон прямо-таки ненавистен ему и не иначе как потому, что демонстрирует его собственную, Ильи, беспомощность перед лицом враждебного мира. Или что-нибудь в этом роде. Хагер не чужд был любительскому самоанализу — наверняка нашел бы объяснение. Впрочем, что значит: нашел бы? Разумеется, объяснено было и уже не раз, но все равно не помогало. Он продолжал позорно злиться на приятеля, примечая, как вот сейчас, аденоидно приоткрытый рот с полными, всегда влажными губами, обтертые на коленях мешковатые брюки, стеганую подростковую куртку ... впрочем, здесь Илье, о гардеробе которого трогательно заботилась вот уже лет десять живущая с родителями на Западе сестра, удалось усилием воли прервать поток неприличных этих душевных конвульсий и подойти к воротам с вполне человеческим выражением лица.

— Что стряслось, милый?

Именно так: милый! И — похлопать по плечу. Разговор с добрым, излучающим специфическую благость православного еврея Теплицким всегда сдвигал самого Илью в противоположную, игривую сторону. Перестаравшись, он настолько усердно протонировал пустяковое свое приветствие, что оно приобрело уже какой-то двусмысленно-“голубоватый” оттенок. Впрочем, Арон, надежно встроенный в раз и навсегда установленные рамки “любовного отношения к ближнему”, ничего этого не заметил. Он поднял свои не то печалющиеся, не то тихо радующиеся чему-то глаза, улыбнулся ободряюще и ляпнул без предупреждения:

— У нас вчера был обыск.

Ага, вот оно что. Сколько длилось затишье-то? Не так уж и долго, но успели расслабиться. Хотя ждал, всегда ждал, пророчил. Не хотели слушать. А теперь — дожили, значит. Или ... “дал дожить”? Впору произнести соответствующее благословение. Впрочем, нет. Неуместно. Оно ведь — если память верно сохранила давние уроки — предназначается для тех случаев, когда что-то

не только внове, но и приятно. Или, может, ему преподали недостаточно элитарный вариант религиозности? Много лет назад Илья, во время случившегося с ним краткого приступа жизненной активности, несколько месяцев посещал один популярный тогда домашний семинар. Оттуда и сведения. Готовился стать настоящим евреем — у него оказалась русская бабка по материнской линии. Доверия особого к своим учителям, помнится, не испытывал, хотя честно старался, положительных намерений преисполнен.

Так или иначе, но, выходит, дожили. Только почему Теплицкий? Кому нужны все эти любители повторного фильма, очищающих душу всенощных и воспитания детей на принципах гуманизма — скучная и, надо сказать, втайне презируемая Хагером публика. Разве что готовят какую-то новую кампанию и хотят их использовать, нажать, получить показания. Но в таком случае — не приходит ли черед и самого Ильи? Он, правда, умудрился так куда и не вовлечься. По причине ли высокомерия или еще почему... Надо будет после это подробно обдумать. Но вовлекся-не вовлекся, а все-таки на свой лад успел намозолить глаза: родственники за границей, переписка, неявка на субботники и собрания, не говоря уж о всей этой истории с Джоанной и визитах в ее отгороженный от улицы каменной стеной и милицейской будкой дом. Сколько уж времени прошло с последнего прощания в Шереметьеве, а у него до сих пор отзывается сладкой болью внутри. Значит, — заключил Илья, по себе о других судя, — и ОНИ не могут не помнить.

Разумеется, это только теперь, по прошествии с лишком десяти часов, когда Хагера мотало в рвущемся к кольцевой пересадке вагоне, удалось ему так о случившемся почти систематически подумать. Постарался отыскать резоны, придать надвигающемуся хаосу некую форму — пусть и форму угрозы, объяснить, истолковать — и тем самым сделать его уже чуть ли не переносимым. Так что можно было и задремать даже. А тогда, у ворот, совестливый Ароша не дал Илье с расстановкой поразмышлять. Он собрался с духом и перешел сразу к тому, что более всего беспокоило странно устроенную его душу.

— Забрали несколько книг с твоим экслибрисом.

— С моим? А что там у тебя было?

— “Вехи”, бердяевское “Самопознание” и еще самиздатский перевод “Последнего из праведников”.

Набор выглядел настолько карикатурным, что Илья — не без

нервозности впрочем — рассмеялся. Даже забыл в тот момент поинтересоваться у Теплицкого, каким образом попали к нему эти книги. Придумать надо — такой анахронизм! Ведь это он, пусть и в некоторой невменяемости по случаю совершившегося, наконец, развода, но все же он, Илья, сначала заказывал знакомому пост-модернисту, а потом неумело наклеивал получившиеся в итоге весьма претенциозными ярлычки. О нет, не на все, конечно, но на немногие, наиболее дорогие сердцу тома. Пожалуй, что и тогда не мог совсем уж не отдавать себе отчета в странности предприятия, но подсознательно принял как лекарство, целительную терапию, вроде склеивания коробочек в психушке. Потом долго стыдился своего выбора — книги помечены были исключительно эпохальные. Попытался исправить дело, включив дополнительно в список (вычеркивать не поднималась трусливая рука) “Политу”, какой-то аксеновский экзерсис и томик психоделической поэзии. Но судя по лишь возросшему отвращению к самому себе, ничего не исправил. По прошествии некоторого времени стыд забылся, тем более что ему почти и не приходилось наткаться на отливающую позолотой змеиную вязь еврейских, латинских и русских букв, на разные лады складывающихся в его имя — часть книг осела у знакомых, а те, что оставались, больше не открывались. В последние годы Илья Маркович в силах был читать только по-английски и исключительно в мягких переплетках.

— Илюша, я поспешил предупредить тебя. Надо принять какие-то меры предосторожности. Очистить квартиру. К сожалению, в такой ситуации вряд ли разумно перевозить ко мне, ведь ... могут прийти еще раз, но ... если ты не найдешь никакого другого варианта, то...

Арон на секунду остановился, сам пораженный безумием сделанного предложения, улыбнулся беспомощно, развел руками и заключил:

— Мне, право, ужасно жаль, что так получилось.

Тут уж пришла очередь Хагера проявить себя, показать, что не только религиозным фанатикам дано в критические моменты сохранять спокойное достоинство. Он оперся левой рукой на ржавое железо ворот и устремил взгляд вверх головы Теплицкого в сторону улицы — туда, где выстраивалась очередь к только что подвезенным ящикам с апельсинами. У Ильи было такое ощущение, что и поза, и слова, которые он произносил, не глядя на

Арона, словно обращаясь к более широкой аудитории, не раз были им обдуманы и отрепетированы на протяжении последних серых лет. Когда он успел затвердить этот спич? Разыграть с самим собой, отточить интонации?

— Милый, ты должен беспокоиться в первую очередь о себе, ведь это ж тебя прошмонали. Надо выбрать линию поведения. Если хочешь, я могу свести тебя с последним, пожалуй, в городе адвокатом, который еще дает такого рода советы. Может быть, и сам окажусь полезным — ты ведь знаешь мои юридические увлечения. Что же до изъятых книг, то у тебя нет никаких совершенно оснований чувствовать себя виноватым. Поверь мне, это — бред. Да и помимо всего прочего ... я не делаю особого секрета из того, что читал ... а уж тем более "Самопознание".

Илья счел уместным снисходительно усмехнуться.

— Ну, забрали и забрали. Напишу заявление, чтоб вернули.

Теплицкий смотрел на Илью снизу вверх, и так внимательно, словно надежду какую в том видя, слушал, что на секунду показалось, будто он даже шевелит губами, неслышно вторя речи своего собеседника, и одновременно покачивает головой в знак не то согласия, не то какого-то чуть ли не восторга. Словом, Хагер имел все основания быть довольным премьерой, да вот только стало ему зябко и неудобно, будто именно после всего сказанного обнажился он перед НИМИ и по собственной инициативе выдвинулся вперед, заменив Теплицкого на месте преследуемого.

Адвоката Арон, разумеется, не хотел. Он все повторял, прощаясь, "будет, как Бог захочет" и смотрел на Илью ... да кто его разберет. То казалось с любовью и восхищением, то вроде с состраданием, будто тот болен смертельно или приговорен. И только расстались, еще и не успел Хагер подняться к себе на второй этаж в спасительную стабильность офиса, как всерьез навалился на него страх.

* * *

Сидеть дальше на работе было невыносимо, и он отпросился уйти. Можно было, конечно, исчезнуть и не говоря ни слова — к его выходкам привыкли и уже устали бороться. Но будучи в истерическом к тому времени состоянии, Илья готов был схватиться за любую возможность пережить — пусть и по самому пустяковому поводу — ощущение улаженности, благополучного исхода.

Так что предпочел постучаться в кабинет начальника. Тот Илью Марковича несколько даже побаивался, особенно не любя оставаться с ним наедине. Так что с готовностью пошел навстречу, проглотив нахально-лапидарное "к сожалению, мне необходимо уйти" — единственное, чем Хагер счел нужным его побаловать.

Дорога была кошмарной. Несколько раз, паникуя на остановке, он бросался сигналить проезжавшим такси, потом все же дождался автобуса, втиснулся и мучился минут пятнадцать, никак не в состоянии примирить приступы отчаяния с неторопливым движением по грязным переулкам, остановками у бессмысленных светофоров и несвежим дыханием все уплотняющейся и уплотняющейся человеческой массы, пытающейся приплюснуть его к грязному заднему стеклу.

Успокоился он только дома, когда по третьему разу перебрал немногие имеющиеся книги, сваленные по большей части в тумбе раскошшегося письменного стола, да на этажерке, втиснутой когда-то Хагером в стенной шкаф вечно темного коридорчика. То есть вначале, вбежав в квартиру, начал Илья чуть ли не все подряд запихивать в подвернувшийся под руку рюкзак, но потом то ли вспомнил чей-то ободряющий пример, то ли свыше облегчение ему было, но только постепенно взял себя в руки и стал медленно получившуюся бумажную грудку сортировать, деля на две неравные стопки, жадничая, перекладывая, проверяя издание. Даже устроил себе перерыв и поел на кухне. Потом вернулся в комнату с чашкой щедро заваренного чая в руке и, сморенный сытой усталостью и потому почти хладнокровно, подвел итоги.

* * *

Около пяти часов вечера Илья уже выходил из подъезда, унося в сумке кроме первых двух томов знаменитого исследования еще и пузатую лабораторную посудину с давно припасенным спиртом: предстояло побывать в гостях. Все остальное решил он не трогать, пока не управится с этим легким, но срочным грузом. Тащить же с собой по максимуму было просто неразумно — Хагер пока что и понятия не имел, кого, собственно, он собирается осчастливить. Неожиданно кстати оказалось полученное вчера приглашение зануды Клейна. За антиэротичным фасадом его настойчивого "приходи, посидим, встретим субботу" маячило в ка-

честве приманки "будет Инна". Это тоже, правда, не слишком грело, но по крайней мере могло при благоприятном раскладе избавить его от необходимости ночевать сегодня дома. Хотя ... почему вдруг такие надежды? Ведь кажется, прошло чуть не полгода с последнего раза. Весьма неприятного к тому же. Инна непонятно почему решила, как она выразилась, "высказать ему все". Хагер до сих пор вздрагивал, вспоминая интонации ее голоса. Само-то увещание было малоинтересным, несмотря на весь заряд содержащейся в нем стержности, и Илью не задело. Даже услышав про "использование ее в качестве механического вибратора", он не загорелся, поленился восстановить справедливость, отметить, что если кого из них двоих и использовали в этом качестве, то это именно его. Но вот интонации... Их хватило надолго, и Хагер, несмотря на свойственную ему привязчивость и беспокоящие картинки уютного примирения, время от времени возникавшие перед мысленным взором, больше не звонил.

Сейчас, конечно, было бы очень удобно скрыться на несколько дней в ее однокомнатную квартиру, расположенную к тому же весьма ободряющим образом почти в центре — не то что его задворки, где и без обыска на горизонте каждые сумерки переживаются как конец. Если это она попросила Клейна позвонить, то позволительно увидеть здесь нечто провиденциальное и — грех не воспользоваться. А уж потом, когда все поутихнет немного, то как-нибудь от нее вывернуться. Если бы только не надо было ничего рассказывать! Просто — поставить сумку в коридоре и в постель. Но так вроде бы негоже, придется предупредить. И значит, наблюдать за тем, как Инночка морщит лобик, качает головой, изображает сочувствие и понимание. Наверняка, точь-в-точь как в своей редакции с товаркой Ангелиной (интеллигентнейшая семья, муж — еврей, сын раввина), с которой они удаляются ближе к концу дня "выкурить по сигаретке". Словом, будто нарочно все сделает для того, чтобы отбить у него желание с ней спать.

Вот если бы... В эту секунду — Хагер стоял уже на остановке автобуса — ясно представился ему идеальный вариант. Утром был ведь провидческий намек. Наташенька, а еще лучше — она же, но только лет на двадцать старше, муж по-прежнему в Монголии, сын в армии, сама работает в промышленном министерстве, откуда раз в неделю приносит продуктовые заказы. Его считает поэтом-переводчиком, кормящимся договорами, никаких вопросов, испытывает с ним то, чего никогда... Тут пришел

автобус, и сладостное построение пришлось оставить незавершенным. Надо было втискиваться, уворачиваться — пятничные часы пик.

А вдруг этот недоумок Клейн решил их свести по собственной инициативе? Ну, в конце концов, в таком раздраге будучи, все равно надо хвататься за любой шанс. Главное — провести вечер вне дома. Он, разумеется, никаких активных шагов предпринимать не будет, но кто знает? Там и помимо Инночки может оказаться кто-нибудь неожиданный из знакомых — глядишь, и пристроятся книги хоть на первое время.

* * *

Так, туманными возможностями себя подбадривая, удалялся Илья от дома, а удаляясь, веселел и возбуждался, предвкушая вкусную еду, приятное тепло выпивки и не менее приятное чувство превосходства, безотказно предоставляемое ему клейновской бескрылой компанией, где даже субботние песнопения выглядели добропорядочной попыткой ассимиляции. У метро было столпотворение, но настроение его, как ни странно, от этого вовсе не пострадало, и, продвигаясь вместе с напирющими со всех сторон телами в проем входа, Хагер решил, что наверняка такой неожиданный душевный подъем является знаком, предвещающим благополучный исход дела. Но внизу, в подземке, его от этих ободряющих мыслей что-то отвлекло, а потом улеглось и само возбуждение. Потускнело, забылось, не поймешь, и было ли.

Приехал одним из первых. Уже стемнело, но гости — все люди служащие — добирались с работы, так что начать, благословясь, собирались не раньше семи. Лина, жена Клейна, встречала его обычно в соответствии с собственными представлениями об игривости: Илья был свободен, а вокруг нее вились многочисленные требующие устройства приятельницы, так что Хагера, несмотря на нескрываемый его снобизм и вообще гнусный нрав, следовало на всякий случай обласкивать. Когда Илья сошелся с Инной, бывшей из подруг дома, Лина взяла по отношению к нему покровительственный тон, что уж не лезло ни в какие ворота. С тех пор Хагер использовал каждую из их — слава Богу нечастых — встреч для упражнения собственной выдержки. Обычно он выбирал в качестве прикрытия бесконечную улыбку, надеясь, что либо Лина заткнется с течением времени, либо он перестанет

течение это замечать. Однако сегодня она целиком была занята приготовлениями и вниманием Илью вовсе не обременяла. Что неожиданно оказалось даже неприятно. Хагер, к которому тут же вернулось истерическое беспокойство, воспринял это как дурной знак: не иначе как почуяла сваха, что он уже не жених, — значит, и вправду заберут. Пометался из комнаты в комнату, борясь с подступившим к горлу нервным комом и везде натываясь на незнакомую ему пару, тоже не знающую куда себя девать. Потом уселся на диван и попытался сосредоточиться на том, что втолковывал ему хозяин про необходимость воспитания детей в еврейском духе. Илью тут держали за легкомысленного космополита, и с ним полагалось полемизировать.

Позвонили в дверь. Клейн отправился в прихожую встречать очередных гостей, а из кухни, обгоняя его, с криком “Тетя Инна, тетя Инна!” уже неслись младшие члены семьи. “Интересно, где они были, когда пришел я”, — неприязненно подумал Илья, который, видно, обречен был сегодня с упорством неудачника отмечать все проявления невнимательности. В коридоре началась толчея, поцелуи, явно Инночкин смех, снятие сапог. Ему оставалось лишь сидеть там, где сидел, да перелистывать подсунутый хозяином американский фотоальбом с названием что-то вроде “Седер у дедушки”. Краем глаза он следил за дверным проемом, готовясь наблюдать появление. Будучи человеком сомнений, Хагер распространял общую эту неуверенность и на оценку внешности случавшихся ему женщин. Довольно быстро забывал первое впечатление, послужившее когда-то толчком к знакомству, и все пытался искусственно возобновить его, чтобы понять, чем же он в действительности обладает. Не раз, ожидая приятельницу где-нибудь на перроне метро, Илья заставлял себя — грохоту вопреки — сосредоточиться, изгнать обрывки посторонних мыслей, дабы не пропустить, в прозрачной ясности пережить момент ее прихода. Еще раз проверить, убедиться. Вот и сейчас, хоть и слыша явственно из коридора мило звучащий голос Инны, но голосу одному не доверяя, Хагер терпеливо ждал. И так захвачен оказался привычной игрой, что на минуту и забыл вовсе о неприятном происшествии, вынудившем его приехать к Клейнам, которое одно, собственно, ну или почти так, и было причиной столь живого интереса и т. д.

Некая неожиданность, однако, нарушила сосредоточенный его настрой, помешав понять, кто же перед ним: почти красави-

ца или ... застигнутый врасплох, Илья не успел даже и огорчиться неудаче эксперимента. Ему сразу стало не интересно, неважно и свело живот от вернувшегося страха. Инна направлялась к нему, а рядом шел неведомый Хагеру пристойного вида молодой человек, за все время вынужденного лавирования между шкафами и буквой "Г" стоящим обеденным столом так ни разу и не отпустивший ее локтя. Вот оно, оказывается, как. С первого взгляда, правда, трудно определить, так сказать, фазу — "еще не" или "только что", но это уже не меняет дела. Приехал зря: здесь не переждешь. Да и про книги не попросишь — унижение получится. Главное, и смыться сейчас совершенно невозможно — эти идиоты решат, естественно, что он бежал, не выдержав присутствия счастливого соперника.

Ловушка захлопнулась, и надо было идти мыть руки. Обреченно уселся со всеми за стол, чувствуя себя здесь одиноким, загнанным в угол, да к тому же и немолодым — этакий визитер в чужой экологической нише. Остальные-то все помладше его лет на десять будут. Когда дошли до "Благословен Ты, освятивший субботу", стало и совсем уже плохо. Хагер дисциплинированно помогал шепотом торжественно-упоенному хозяину, плохо отдавая себе отчет в значении произносимых слов, стараясь просто заглушить, забубнить ими рвущийся изнутри жалкий стон, грозящий не только нарушить благость минуты, но и намекнуть на некие, пока еще сдерживаемые рыдания, что уж... В общем, только не здесь.

* * *

После первых двух рюмок Илья немного отошел, во всяком случае уже в силах был следить за начавшимся общим разговором. Никто, собственно, не знал в точности, о чем надлежит беседовать на субботних высотах и потому, выдержав неловкую паузу, с облегчением перешли на "Новости культуры". Стулья поставлены были довольно тесно вокруг ножки буквы "Г", перекладина которой служила горкой-буфетом для ожидающих своей очереди блюд. Вполне уютно, дети ведут себя пока что тихо, да и сами гости — так уговаривал себя Хагер — достаточно пристойны. Доброжелательный взгляд уловил бы в них даже некоторые достоинства. Корцы, например, что Катя, что Фима — завсегдатаи музыкальных четвергов; Рахлевский трогательно опекает пожи-

люю свою маму; неизвестная пара пусть неизвестна, но зато и застенчиво-молчалива. Даже девушка Ира, которую он уже второй раз здесь встречает, хоть и лишена собственных качеств, но по крайней мере пребывает в искреннем восторге от интеллигентного общества. И, наконец, Инна. Инна хорошо (он уже забыл, удалось-таки убедиться в этом или нет) выглядит и главное – пристроена, как бишь звать-то ее аккуратного спутника? А не об этом ли он, Хагер, в свое время мечтал? Так что расслабиться, расслабиться, все равно слишком скоро отсюда не выбраться.

Говорили сейчас о новой постановке в одном из самых запущенных и безнадежных театров, расположенном в районе скопления автозаводов, куда от ближайшей станции метро вел последний, кажется, сохранившийся в городе трамвайный маршрут. Еще несколько лет назад в этом, характерной пятидесятых годов постройки, здании с арочным входом, охваченным поверху полукругом окон-иллюминаторов, размещался кинотеатр. А теперь, после капитального ремонта, тут обосновался сын знаменитого О. Проскочила парочка неприметных пьес, и вдруг он – к восторгу давно лишенной каких бы то ни было скандалов публики – не то преодолев сопротивление, не то, наоборот, откликаясь на некий таинственный заказ, поставил драму Натана Файбисовича. Далеко не знаменитость, Натан этот всю жизнь тихо сочинял баллады и сонеты на идише, но незадолго до того, как сгнуться вместе с более маститыми братьями по перу, вдруг появился в редакции одного из московских толстых журналов с пьесой, написанной по-русски. Было это уже тогда, когда обреченность его была более или менее очевидна, и поэтому беседовавший с ним сотрудник, желая лишь одного: от неудобного посетителя побыстрее избавиться – слушал взволнованные объяснения Файбисовича вполуха, легкомысленно пообещав прочесть рукопись к концу недели.

Потом, когда покончено было с поэтом, но, как ни странно, до того даже, как почило небезызвестное усатое лицо, слухи о хранившемся в редакционном сейфе тексте просочились в литературные круги. (Здесь какая-то неясность: почему не изъяли? Почему не снесли сами? Легенда?) Ну и конечно, особенно часто вспоминали о пьесе в конце пятидесятых. Говорили даже, что вот-вот напечатают. Собственно, шедевром она ни в каком смысле не являлась. Неизвестно даже, относился ли сам автор всерьез к вышедшей из-под его пера псевдохронике из жизни небольшо-

го городка на Украине, где в конце двадцатых годов отпрыски традиционных еврейских семей ведут бесконечные разговоры о новой жизни, строят грандиозные планы, торопя и подталкивая конец старого и безнадежно устаревшего в их глазах уклада.

Цимес пьесы или, лучше сказать, — следуя примеру Файбисовича, недаром ведь перешедшего именно на этом этапе своего творчества на русский язык — ее **ш т у к а** была столь явной, что, не раз забавляя читателя в лучшие моменты, в худшие, увы, отдавала навязчивой безвкусицей. В общем, основные персонажи, не то повинуюсь иронии автора, не то являя его влюбленную зависимость от Чехова, как бы разыгрывают здесь извращенную, переодетую в мужское версию “Трех сестер”, где Москва мечтаний дробится, оборачиваясь то промышленным Харьковом, где надеется стать инженером станкостроения один отпрыск, то молодым Тель-Авивом, куда рвется другой, вполне прогрессивный сионист, то, собственно, бывшей первопрестольной, где видится судьба писателя третьему. Роль уходящего из города полка играет агитбригада-соблазнительница, заскочившая на неделю, но задержавшаяся для полного развития коллизии на полтора месяца: ради этого пришлось напустить на пришельцев реалистический, но, к счастью, не смертельный грипп, скашивавший их по очереди и вынуждавший вновь и вновь связываться с культурными властями в центре, прося о продлении командировки.

С актрисами у аборигенов, разумеется, завязывались романы, причем любовное соприкосновение с внешним миром проходило для местечковых героев негладко, будучи сопряжено с преодолением глубоко укоренившихся, ну как бы их назвать, предрассудков, что ли. Линия эта оказалась, пожалуй, наиболее трудной и для самого автора; она ему менее всего удалась. Место дуэли занял ... впрочем довольно. Отметим напоследок, что у одного из обдумывающих житье хлопцев была сестра, вышедшая замуж за шустрого не то Петра, не то Ивана, который поначалу терпел интеллигентские завывания всей компании, но довольно скоро проявил свое хамство, высказавшись по поводу “неискоренимо жидовского”.

На памяти Ильи “Накануне” — именно так! — всплыло еще раз уже в середине семидесятых. Новые почитатели разглядели в пьесе замаскированный памфлет, доказывающий тщетность ассимиляционных надежд и даже указывающий — неявно, разумеется, что вы хотите от страшных сороковых — на единственно правиль-

ный путь. Тут была, конечно, известная натяжка: в роковой час рожденная драма Файбисовича ни на что не указывала и никуда звать не могла: она и завершалась-то не точкой, а таким растерянным многоточием. Никто с места так и не сдвигался, если не считать отбывающую в конце концов агитбригаду, любезно подарившую перед отъездом вовлеченным юношам эротический катарсис. Был ли некий паралич воли, охвативший героев, просто реакцией на первую в жизни ночь любви или действительно многозначительной паузой перед развилкой дорог, оставалось туманным. Ну и, конечно, сама туманность эта напрашивалась истолковаться, перетянуться на чью-нибудь устойчивую сторону, особенно тогда, в семидесятые, когда все вокруг что-то обсуждали, доказывали, выбирали. Теперь про это как-то даже и неловко было вспоминать.

Сейчас все слушали Роберта — имя нового Инночкиного друга все выпадало у Хагера из памяти, но на сей раз, кажется, врезалось окончательно. Илья не столько вникал в описываемые тем хитрости и передержки, на которые пустился молодой О., дабы сварганить для пьесы приемлемую мораль, сколько старался уловить главное: чему, собственно, сам-то этот Роберт так возбужденно радуется, чему кивают с дальнего угла стола Корцы, что впитывает, собираясь пересказать по возвращении домой жене и маме, Костя Рахлевский?

— Итак, Сашку-сиониста они сделали чахоточным. Хрупкий такой поэт-мечтатель, причем мечта его явно болезненная: по ходу дела ему раза три меряют температуру. Он буквально горит, и ясно, что после окончания спектакля долго не протянет. Но заметьте, — рассказчик обвел сидящих за столом торжествующим взглядом, будто тут была его заслуга, — именно это безошибочно вызывает к бедолаге симпатию зала. А сцена с актеркой Галей — она тебе и родина-мать, и сестра-возлюбленная, она же и градусник при случае поставит — прямо слезу вышибает.

— А смотрят, наверное, одни евреи?

Это влезла Ирочка — от неискренности. Она сравнительно недавно стала "интересоваться своими корнями", так что иногда пока попадала впросак, не зная точно, чему радоваться.

— Совсе нет. Да дело и не в зрителях. Главное, что постановка является явным сигналом: Сашка болен, он не враг, не чудовище, он просто бредит. А мы с вами, как люди здоровые и не потеря-

вшие связь с реальностью, давайте сосредоточимся на двух оставшихся вариантах.

— А его — в псих-изолятор, пусть подлечится, — доброжелательно поддакнул Илья.

— Помилуйте, — Роберт даже не обиделся, а снисходительно и притом только взглядом посетовал на непонимание, — я вовсе не хочу сказать, что здесь есть что-то действительно позитивное в отношении эмиграции или что режиссер хоть в каком-то смысле наш человек. Конечно, нет. От них и нельзя ждать ничего подобного. Но все же... Когда много лет людей держат в неведении относительно того, что их ждет. Я имею в виду даже не тех, кто когда-то просил о выезде — в конце концов они сами выбрали судьбу, а тех, кто по разным причинам и не собирался...

— Например, участие в культурном процессе или привязанность к родителям вполне могут просто обязать человека остаться!

Это влезла Инна с вызовом, обращенным явно к Хагеру: по ее причудливой логике он, не поехавший в свое время с родными в Штаты и никогда не предлагавший ей выйти за него замуж, был все равно каким-то образом виновен в той возможной разлуке с папой и мамой, на которую она была бы обречена, если бы все-таки стала его женой и вынуждена была бы покинуть страну.

Участник культурного процесса приласкал милую взглядом. Илья в первый раз остро ему позавидовал — тот, по всей видимости, обладал гениальной способностью совершенно на Инну не раздражаться. Ему вроде даже нравились выпаливаемые ею непристойности. Сам-то Хагер до конца не обрел соответствующего спокойствия даже теперь, когда эта умница уже не имела к нему непосредственного отношения.

— Так вот, — Роберт пригубил из фужера ягодный напиток, гордость хозяйки, — власти явно сигналият: прошло достаточно времени, раны подзатянулись, надо взглянуть реальности в глаза. А реальность такова: свободной эмиграции не ждите, но зато мы — они то есть, — нуждаемся в каждом способном человеке, так как развал и прочее. Есть благодарное поле для приложения сил. Наш редакционный кагэбэшник, между прочим, циничный и весьма неглупый мужик, прямо сказал мне...

Тут Илья перестал слушать, и на издерганную душу его снизошло спокойствие. Все стало на свои места, вернулась уверенность в себе заодно со здоровым — сверху вниз — отношением ко всей

этой клейновской публике. Во главе с Инночкиным приятелем (журналист что ли?). Можно было теперь с садистским удовольствием следить вполуха за тем, как тот журчит, не понимая, что каждой следующей фразой роняет себя в глазах строгого Хагера все безнадежнее. Надо заметить, что Илья Маркович, хоть и не собирался никуда уезжать, но культивировал в себе элитарное презрение к соплеменникам, с такой готовностью перестраиваемым на новый, свыше спущенный лад. Не пустой звук субботняя благодать, каждому так или иначе дается, — вот и ему за участие, видно, в общей молитве послан был этот застольный разговор. Дабы испытал он гордое облегчение, открылись глаза, сподобился понять очевидное: не от этих же н и ч т о ж н ы х ожидать помощи. Эх, благодать! Усмехнувшись одному ему внятному внутреннему ерничанью, Илья потянулся за графином и щедро плеснул себе остатки спирта — так, чтобы хватило на потом и не пришлось переходить на сомнительное домашнее вино, подававшееся в трехлитровой банке.

Только теперь почувствовал он нормальный вечерний голод и набросился на еду. Лина готовила фантастически, настолько отличаясь в этом смысле от бывшей хагеровской жены, что невольно начинал он подозревать наличие за маловыразительным ее фасадом еще каких-то загадочных прелестей, ему, Хагеру, никогда в жизни не попадававшихся. Оказалось, что пока он тут страдал, давно перешли к горячему, так что надо было наверстывать, защищаясь обволакивающей сытой теплотой от поджидającego за окном мрака, на время простив за гастрономию все остальное.

* * *

Вовремя притормозил, пропустил очередное "лэхайм". Чтобы не размякнуть окончательно — предстояло ведь еще уладить "дело". Хагер украдкой взглянул на часы, было начало одиннадцатого. Самое время потихоньку закругляться. Но и без его понуканий вечер близился к концу. Уже разносили чай, отсылали детей спать в соседнюю комнату. Стали разговаривать на полтона ниже, и неожиданно вернулась и повисла в воздухе усталость прошедшей недели. Чуткий хозяин поспешил потянуться за вновь понадобившимся молитвенником, краем глаза наблюдая за гостями в ожидании той паузы, которую можно будет истолковать как пол-

ное насыщение и тогда вклиниться в нее с застенчивым призывом сосредоточиться и внимать.

Всякий раз благодарственная молитва словно обновляла закадычную связь между Ильей и Клейном. Вообще-то совершенно чужие друг другу, в эти минуты они словно заново обнаруживали общее прошлое, давнее воспоминание, наподобие когдатощнего детского футбола во дворе: так получилось, что из всей более или менее постоянной субботней компании, собирающейся у Клейнов, только они с хозяином учили в свое время иврит. И теперь, когда дело доходило до традиционного завершения трапезы, Хагер — человек от религии далекий — преисполнялся чувства собственной значимости. Этаким профессионал, без которого в ключевые моменты не обойтись. Действительно, кто еще мелодично закончит вам ваш домашний ужин, придав свершившейся банальности подобие смысла? Ему было немного стыдно подобных мыслей, но поделаться он ничего не мог: помимо воли происходило мгновенное переключение, и голос, дыхание, а может и само существо Ильи начинали жить в торжественном и немного даже грозном ритме. Он священнодействовал, выпевал, чуть ли не раскачивался. И надо же: стыдился, а дорожил моментами-то. Как-то даже всерьез обиделся на ближайшего друга, процедившего в его сторону: “В детстве в солдатики не наигрался”. Хотя обижаться, в общем, было нечего — Хагер и сам про себя все понимал.

Ну, та стычка произошла — много лет назад, друг вскоре и уехал, пронизательных по близости не осталось — так что вполне можно себе позволить маленькие дионисийские радости под благочестивым флером. Он поймал на себе заговорщический взгляд Клейна, встряхнулся и принялся подпевать. Остальные терпеливо внимали, пытаясь найти компромисс между смутным представлением о святости момента и поисками удобного положения для утомленного сидением тела — молитва и впрямь была длинноватой. Еще дотягивая последние слоги, Илья начал привставать из-за стола. Несмотря на певческий угар он понимал, что терять больше нельзя ни минуты. Оставался самое большее час для того, чтобы найти место для книг. Инна метнула в его сторону быстрый взгляд, зашептала что-то на ухо хозяину. На лице у того изобразилось вначале радостное удивление, сменившееся затем каким-то более сложным чувством, и теперь он тоже не спускал глаз с Хагера, пытающегося отодвинуть в сторону стул. Тут Клейн

протянул вперед правую руку, словно пытаюсь удержать, и, с видимым смущением, пробормотал:

— Пожалуйста, подожди минуту.

— Боря, прости, но мне непременно надо сегодня успеть еще в одно место, так что вынужден убежать...

Илья ощущал теплоту недавнего совместного моления, поэтому был растроган и почти нежен, хотя в нормальном состоянии он не терпел этих бессмысленных призывов остаться “ну хоть на полчасика”. Поза хозяина выглядела столь картинно, все эти драматические махания рукой вместо обычного неторопливого поглаживания бородки... Похоже, что на сей раз дело не в заурядном идиотизме затягивающегося гостеприимства. Видно, предстоит некое экстренное сообщение. Заколебался. Поняв, что Хагер завяз и не пытается больше ускользнуть, Инна вернулась на место и сидела теперь со своей любимой гримаской на лице, которую она изволила называть “полуулыбкой”. Явно ожидая заранее ей известного развития событий.

— Друзья!

Клейн сделал паузу, потом потянулся за наполовину полной еще банкой и налил себе в фужер вина.

— Я предлагаю всем сделать то же самое, у нас есть неожиданный приятный повод.

“Неожиданный” — это для Ильи. Клейн снова посмотрел на него: смущение во взгляде, дескать, прости, старина, понятия не имел, моего здесь умысла нет. Он явно старался в эти последние мгновения перед чем-то неудобным Хагеру потрафить, что-то пока еще неведомое заглядеть. Вот и это его душевное “друзья” ... не иначе как задабривает. А ведь сколько раз пытался Илья убедить Клейна отказаться от неискоренимого “товарищи”, но тот упрямо держался за лексику приютившего его ВЦ, призывал на помощь жену, твердил, что, мол, и в Израиле тоже так, в общем был безнадежен. А тут вдруг, видите ли, сдался и хоть не отважился на карнавальных “господ”, но нашел способ выкрутиться. Хагер, который и сам был упрямым чрезвычайно, не мог не оценить стараний, решив в качестве ответного жеста еще немного потерпеть. Он даже налил себе вредной для чувствительного желудка браги и изобразил на лице заинтересованное ожидание.

— По просьбе наших дорогих Инны и Роберта, — приступил к делу Клейн, — я хочу объявить, что сегодня они подали заявление

в ЗАГС, так что у нас получается что-то вроде помолвки. Давайте выпьем за них!

Корцы заплодировали (эти, похоже, знали заранее), Роберту — человеку тут сравнительно, видимо, новому — пожимали руки, а Инну так даже целовали. Под шумок Хагер счел возможным не допивать бурду до конца и, чтобы не испытывать потом чувства вины за излишнюю сухость, тоже потянулся невестушку обнять. Что прошло вполне гладко, если не считать ее торжествующего взгляда. Ну, это можно и вытерпеть, если учесть, что она, бедняжка, видно ради этой минуты и подбивала Клейнов пригласить его сегодня. Планировала, таилась, может, волновалась даже. Трогательно. Илье хотелось как-то поощрить ее усилия, подыграть, печаль, скажем, изобразить, но времени действительно оставалось в обрез, и самое большее, что можно было себе позволить — это пробормотать, улыбаясь: “Бросающая вызов женщина, я — поле твоего сраженья” — и, улыбки с лица не убирая, начинать пятиться из комнаты.

* * *

Он-таки переел, и теперь непременно надо было — предстоящих неопределенной длительности ночных скитаний ввиду — побывать в туалете. Располагался тот в самой бойкой точке тесного коридорчика: между вешалкой и никогда не закрывавшейся дверью в крохотную кухню. Снаружи, за фанерной его стенкой, непременно кто-нибудь будет одеваться, прощаться или курить. Хагер проклинал их толстокожесть, а заодно и свои нервы, уже заранее не надеясь достичь того опустошенного и легкого состояния, в котором одном только и можно одиноко уходить в темень. Потом, когда он старательно мыл руки в ванной, его неожиданно посетила шаловливая мысль: обрученным уместно делать подарки, так не преподнести ли им без лишних объяснений те два томика. Люди как-никак интеллигентные, вынуждены будут принять, да еще и с благодарностью, пусть вымученной. Ему нравилось убеждающее, законченное остроумие ситуации, мгновенно придающее осмысленность не только приезду сюда, но и жалким потугам Инны его, Хагера, уязвить. Она сразу превращалась из заурядной дамочки в участника — пусть и бессознательного — разворачивающейся драмы. Тогда и томление по ней, мимолетно

испытанное Ильей сегодня, было бы реакцией на надвигающееся это превращение, а не просто вялым продуктом длительного воздержания.

Он позволил неотразимой стройности рассуждения убаюкать себя, попытался даже обнаружить здесь ясное указание свыше, но что-то мешало. Пожалуй, слишком уж лукаво получалось. Наверное, можно было бы этаким ход себе позволить, но только с равными, а этих он ведь только терпел, так что получилось бы вроде как воспользоваться доступностью умственно неполноценной. Правда, он совсем недавно планировал Инной воспользоваться, но там совершенно не было никакого "остроумия", а просто слабость и поиски теплого укрытия. Ну ладно, вытереть руки и забыть про это.

Хагер вышел из ванной и, увидев стоящих неподалеку Лину с Инной, — звук спускаемой воды их притягивает, что ли? — двинулся к ним. Он очень "по-мужски" — как ему представлялось — взял хозяйку за локоть и со всей возможной ласковостью обратился к ее собеседнице:

— Инночка, я убегаю, разреши на секундочку вас разлучить.

Та не обнаружила в его интонации никакой зазубрины, чтобы зацепиться, и потому оставалось ей лишь ласково улыбнуться в ответ и ретироваться. Илья же повлек Лину в кухню, и у той первые несколько секунд теплилась сладкая надежда, что он хочет-таки о чем-то важном с ней поговорить. Но вредный Хагер, все с той же своей псевдоинтимной улыбочкой, всего-навсего попросил собрать ему в целлофановый пакет еды из оставшегося, так как он "очень любит продлевать приятные субботние ощущения, а ничто так этому не способствует, как ее потрясающие кушанья и т. д.". Она ничего не имела против его несколько издевательской манеры изъясняться и даже любила непрменный этот ритуал упаковки пайка — у них в семье он назывался "завтрак для Хагера", но сейчас рассердилась. Совсем Илюшенька превратился в старого холостяка, ни о чем, кроме вкусной еды на утро, не может думать. Потерял прекрасную бабу, а волнуется о том, как бы пораньше домой попасть, да еще и радость такую незамутненную изображает, что прямо хоть поручай ему постель для молодых постелить.

Все время внутреннего Линино монолога, пока она хлопала дверцей холодильника и шуршала фольгой, Илья стоял, повернувшись к ней спиной, уставившись в окно и деликатно стараясь

не смотреть, что ему там заворачивают. Но пауза затягивалась, обретала ложную значимость, и, не желая гостеприимную хозяйку совсем уж разочаровывать, да и беспокоясь немного, как бы не лишиться в связи с разочарованием какого-нибудь лакомого куска, он оторвался от вида на характерный окраинный пустырь, вдоль правого края которого двигался в сторону метро освещенный изнутри автобус — хорошо бы успеть на следующий, — и, снова улыбаясь, молчание разрядил:

— Ты уж, милая, собери мне с любовью, чтобы легче было оправиться от удара, нанесенного коварной Ин. Чтобы хоть немного сгладить одиночество выходного дня. Так бы метался по комнате, а тут буду разворачивать сверточки, стараясь угадать что там, буду замирать сердцем и отвлекусь от переживаний.

— Ладно, ладно, не волнуйся, в беде не оставляю. Обрати внимание: я тебя в свое время познакомила с Инной, я же тебя и подкормлю в тяжелый момент разлуки. Кто твой благодетель, а?

— Разумеется, ты, Линочка. И если именно ты подыскала нашей подруге этого умного Роберта, то благодарность моя возрастает просто неимоверно. Теперь девушка счастлива, моя измученная совесть наконец-то спокойна, и я могу без помех предаться сладким страданиям.

— У, мазохист гадский, — сказала она без следа недавнего раздражения: как-никак он все-таки поговорил с ней "об этом". Еда теперь была в руках у Хагера, он запикивал ее в сумку — не замаслить бы книги! Сапоги, шарф, куртка, заглянуть в комнату, бодрое "приятного уик-энда", обращенное всем понемногу, назад в коридор, где еще стоит, прислонившись к стене, Лина. Успел выскочить Клейн с коронным "подожди минутку, сейчас все идут", последнее рукопожатие и — прочь, прочь.

Он добежал одновременно с автобусом, пристроился на любимом месте — поближе к задней площадке, лицом против хода — и только тогда смог отделаться от прочно застывшей на лице улыбки. Еще через десять минут он уже входил в метро.

* * *

В вагоне было пусто. Лишь двое солдат напряженно вглядывались в схему, водили по ней пальцами в нитяных перчатках — видно, обсуждали какие-то хитроумные возможности пересадок. Да сидела напротив молодая пара, оба уже в теле, с невыразительными лицами и дремлющей между ними девочкой лет шести.

Входили и еще, но по-прежнему не на ком было задержать взгляда, ничто не вырывало из той неглубокой дремы, в которую Илья погрузился. С детства верил в полезность короткого освежающего сна. Поездка по этой линии, особенно в такой час, и вправду отдавала нереальностью сновидения. Нет, так, вроде, все походило на настоящее. Но эти блеклые окраинные люди... Нельзя же их было всерьез отнести к жизни Хагера! Разве что они должны были предвещать ее перелом, переход в иное, совсем уж мертвенное, состояние. Вот уж чужое так чужое. Даже названия станций, построенных, а значит, и поименованных лет десять уже тому назад, все никак не укладывались у него в памяти, заставляя пережить при объявлении каждой следующей шок неожиданности вместо уютного ощущения узнавания, подобающего местному уроженцу. Иногда задним числом, после очередного из нечастых сюда наездов, пытался Илья восстановить, расставить по порядку все эти дулевско-фарфорозаводские, но не выходило. Подстегивал себя собственной же всегдашней злостью на женщин и стариков, не могущих упомянуть более или менее удаленных пунктов подземки без предварительного идиотского "ну эта, как ее?" Безрезультатно. Расползшаяся действительность становилась ему уже не под силу.

Итак, Хагер отдыхал. Поезд если и не мчался — в темноте тесного туннеля трудно было определить его действительную скорость, — то во всяком случае скрежетал как при взаправдашней спешке. Естественное желание добраться скорее до Кольца, где хоть какое-то подобие жизни: другое выражение лиц, что ли, теплее в вагонах, одним словом — город. Глядишь, войдет хорошо одетая женщина или шумная семья кавказцев, перебирающихся с вокзала на вокзал, а то и заметный какой господин с седеющими бакенбардами, в распахнутом дорогом пальто. Светская жизнь, раут, гамма чувств. Там уже не закроешь вот так глаза, не откинешь неудобно голову на жесткую спинку сиденья, не вытянешь ноги до середины прохода, позволив безнадежной усталости гулять свободно по лицу в качестве естественной его гримасы. Там придется подобраться, сосредоточиться и попытаться, наконец, пристроить сверток — сумка-то по-прежнему набита. Минус бутылка со спиртом плюс пироги — вон как некрасиво, по-продуктовому, пузатится. Так что отдыхай, Илюшенька, расслабься. Прими серость оставшихся двух остановок — пяти минут — как подарок, как предусмотрительно задернутые перед рассветом

шторы. Не пытайся угадать в этих невзрачных персонажах скрытую жизнь, оставь их в состоянии “недо” и не надо будет презирать, ненавидеть, сочувствовать. Ну их. Хоть и печальный, а все же отдых. А почему все-таки печальный? Потому небось, что страшно всерьез в него погружаться — а вдруг не вынырнешь, не оживешь? Или просто знаешь, что не успеешь, обгоняешь мыслью громахающую электричку, понимая, что — вот уже все, конец, приехали...

Хагер чуть ли не бегом бросился на пересадку и даже — по наигранной инерции — сделал несколько торопливых шагов в помощь и так весьма исправно движущимся ступенькам эскалатора. Ни дать ни взять — энергичный, знающий свое назначение человек. Впереди выходные дни, а он все равно не замедляет шаг, торопясь не упустить автобус, утреннюю пробежку в парке, субботнее свидание с сыном (музыкальный театр? зоопарк?). Впрочем, Хагер довольно скоро притормозил. Хорошо бы, конечно, шевелением рук-ног да волевым выпячиванием подбородка разогнать застывшую кровь, помочь вялой душе, но взаправду бежать ради этого вверх было, пожалуй, слишком. Можно набрать скорость потом: рвануть по лестнице к первой попавшейся электричке все равно на какую платформу, проскочить меж задвигающихся дверей, а уж потом, отдышавшись, определить направление кружения — простите, вы не скажете, какая следующая остановка — и решить, куда он, собственно, едет.

Хитро — и без подбрасывания монетки можно обойтись, но так не получилось. Когда Илья подбежал к спуску на Кольцевую, снизу не доносилось никаких предвещающих прибытие поезда звуков. Немногочисленная публика застыла, лениво переговариваясь и находясь, по всей видимости, в самом начале долгого ожидания. Придется прибегнуть к помощи светящегося указателя.

Немедленно выяснилось, что выбор — любимое, кстати, хагеровское словечко — на данном этапе ни при чем. Двигаться имело смысл только против часовой стрелки, без вариантов. Ибо все мыслимые возможности, все эти сомнительные убежища-укрыища, нити давних связей, слабеющие привязанности — все они сгрудились справа, тогда как левая платформа звала к местам, хоть и хорошо знакомым, но давно уже ампутированным, утратившим для Ильи всякую... Впрочем, может именно благодаря этому там когда-нибудь и образуется свежий душевный нарост. Но во всяком случае сегодня проку от них не было никакого.

Итак, что же у него имелось в запасе? В общем, не так уж много. Или не так уж мало — как посмотреть. Ближе всего, через одну остановку, можно сменить линию и отправиться в дальний юго-восточный угол к Юле, бывшей жене то есть. Немного позже будет пересадка к Лео Раскину, а если выйти в самой северной точке Кольца, то попадешь к Сержу — он единственный, к кому не надо тащиться потом по радиальной в конец схемы, а достаточно просто выскочить на минуту на холод и тут же нырнуть в ближайшую подворотню. Ну и, разумеется, между аристократически-трущобными задворками Сержа и раскинской веткой вклинилась еще одна настойчиво зовущая строка: выход к его, Ильи Марковича, автобусу. Этого пока никак нельзя.

Илья в очередной раз прошелся взглядом по аккуратному столбцу названий. Он был сейчас вполне спокоен и к “делу” своему чуть ли не равнодушен. Встреча с Теплицким отодвинулась в прошлое; с тех пор минуло почти полсутки, а ничего страшного не происходило — неудивительно, что ощущение близкой опасности несколько притупилось. Ну, пометался, потерял время, потащился зачем-то к Клейнам, но теперь-то он, наконец, здесь. И еще прекрасно можно повсюду успеть. В крайнем случае возьмет такси — ради такого случая пожертвует пятерку.

Осталось лишь выбрать. Некстати лезло в голову любимое при словье вечно бодрящегося шефа: “Отличное — враг хорошего”. Ежедневное хождение на службу не проходило даром — внутри у Хагера то и дело отдавалось чем-нибудь хамским. И если речь свою он усилием воли контролировал, то уж додумать почти ничего до конца не мог без того, чтобы не споткнуться о какую-нибудь словесную мерзость. От этого не было спасения.

Отличное, значит, являлось заклятым врагом хорошего. То есть, все три адреса вполне были приемлемы, люди там жили приличные, знающие, какие на свете бывают обстоятельства, да и сами когда-то не то подписывавшие что-то, не то вообще “имевшие неприятности”. Один достойней другого. Возьми любого, звони в звонок, сделай мрачное лицо, пройди на кухню, объясни вполголоса — дети по позднему часу наверняка спят, улыбнись появившимся в дверях встревоженным взрослым домочадцам, испытай легкий стыд от того, что перекладываешь, затрудняешь, увеличь, раздуй в себе этот стыд, почувствуй себя совсем подонком, пообещай в самое ближайшее время подыскать другое место, но все-таки оставь сверток, распрощайся, вздохни с облегче-

нием и — домой спать. Не так уж сложно — на одном дыхании можно повернуть. Увы, претендентов трое, тут и загвоздка. Значит кто-то должен не подходить. Илья заранее уже начал раздражаться на этих не подходящих, но тут как раз зашевелились на платформе: показался поезд. Жаль, что манящие точки не разбросаны равномерно по всему Кольцу — можно было бы кружить, не торопясь взвешивать за и против, идти на следующий заход... А тут так все плотно спрессовано, что и минуты нет на размышление. Впрочем, одно по крайней мере как-то сразу прояснилось: входя в вагон, Илья уже знал, что к Юле не поедет.

Они поженились как раз тогда, когда родители Хагера надумали эмигрировать. На него возлагались определенные надежды. И хотя жил он уже давно отдельно, но при обсуждении семейных планов почему-то упорно возникала картина общего дружного преуспевания в одном из университетских городков Среднего Запада, куда отец Ильи, тогда еще сравнительно молодой профессор, имел приглашение преподавать. На этом этапе и появилась Юля, вернее появилась-то она раньше, а тут вдруг выяснилось, что беременна. У нее, разумеется, тоже был отец — “по крайней мере честный и хороший человек”, как она выражалась, — лауреат госпремии. В то время он должен был получить очередное научное звание, мать Юли была не совсем здорова, единственная дочь, еще что-то в этом роде, словом, прямо тогда подавать на выезд она никак не могла. Разыгрывались драматические сцены, прощания, но кончилось все тем, что они поженились, а родители и сестра уехали без Ильи, но зато с взаимными уверениями, что расстанутся ненадолго. Люди они были положительные, о том, чтобы покинуть в положении находящуюся возлюбленную, стеснялись даже и заикнуться; и Хагер — при всеобщем сочувствии — остался выкручиваться. Считалось, что он приносит себя в жертву. Юля версию эту благородно поддерживала, во всяком случае поначалу, но сам-то Илья прекрасно знал, что тут есть преувеличение. Вовсе не только, да, пожалуй, и не столько ожидающееся появление на свет сына задержало его в России. Уж скорее радужные отцовские планы совместного освоения американского материка так напугали беднягу, что ухватился он за случай, думая переждать непосредственную опасность, а потом, с течением времени; в неопределенном, но ни на минуту не вызывающем сомнения будущем прервать и вынужденный брачный эксперимент.

Несмотря на всю гениальность плана и возможность наслаждаться

ся его утонченностью в одиночку — никого, разумеется, в детали тогда не посвящал, да и как скажешь о таком — его все-таки нет-нет да охватывал страх: что я делаю? А ну как последнюю возможность упускаю? Но на следующий день после проводов родителей в Шереметьеве Юля попала в больницу, лежала на сохранении, нуждалась в его поддержке и даже — чтобы ему совсем уж не на что было пожаловаться — попридержала на время беременную капризность. Так что Хагер получил необходимое доказательство правильности принятого решения, успокоился и погрузился в хлопоты.

Левушка — слава Богу — родился вполне здоровым. Мальчик был не хуже других детей и, по правде говоря, иногда приходилось сдерживать себя, чтобы не испытывать контрабандной гордости. Юля с сыном одно время перебрались к Хагеру в квартиру — у нее был краткий период борьбы за освобождение от влияния домашних. Теперь уже она начала поговаривать об отъезде, в какой-то момент Илья обнаружил, что с ним снова обсуждают аппетитные американские планы. Потом все стало на свои места. Юля переехала назад — у Хагера действительно было существенное неудобство: отсутствие телефона. Последовало охлаждение и довольно скорый развод. В Штатах считалось, что он очень привязан к сыну и пытается уговорить Юлю отпустить мальчика с ним. Или что пытается вернуть жену.

Илья не опровергал, в письмах избрал стиль сдержанный, позволяющий не распространяться — раны болят! — и оставляющий простор для домыслов. Возникшие заблуждения были ему выгодны, так как давали возможность все тянуть и тянуть с подачей. Постепенно к этому как бы привыкли. А Хагер с тайным облегчением поплыл по раз и навсегда избранному течению, тем более что с Юлей все устроилось чудесно. Она снова уже была замужем, на сей раз — за молчаливым бородатым красавцем, большую часть времени сосредоточенно курившим неприменный “Беломор” и являвшимся не только завзятым байдарочником, но и — по крайней мере так шепталось — мистиком.

Последний пункт, кстати, стал с некоторых пор причиной определенных осложнений. Мистик по каким-то ему одному ведомым признакам распознал злокачественные искажения в окружающей Илью Марковича ауре, после чего последнему под всякими благовидными предлогами перестали выдавать Левушку для субботних встреч. Вот и назавтра в очередной раз было отказано. В силу за-

коренелого стремления к одиночеству, да и из-за отвращения к гулким местам детских развлечений, куда он почему-то упорно считал нужным сына водить, Илья мог бы, кажется, радоваться. Но увы, — при всем своем игривом скептицизме — не в состоянии был спокойно перенести подозрений в духовной порче. С тех пор как бывшая жена по секрету поведала ему, вроде как извиняясь, о мистических сих опасениях — она была сама заботливая, обеспокоенно заглядывала в глаза и даже руку на плечо положила, — Хагер все время искал подтверждения тому, что он “в порядке”. Написал длинное душевное письмо сестре, пошел на ежегодную встречу университетской компании, вот и к Клейнам — пусть со страху — потащился на субботу, словом, проявлял всяческое нормальное, “человеческое”. Бросался из одной крайности в другую; то клял Юлиного мужа, напускающего на него порчу своими дурацкими прозрениями, то начинал с ужасом думать, что тот прав, казался себе совершенно бездушным, монстром...

Ехать туда сейчас? Тащить за собой неглубоко запрятанный страх, несуществующую, но все равно предательскую ауру, видеть эти внимательные глаза, слышать глубокие вздохи... Сострадания? Сожаления о безнадежно погибшем? И под вздохи эти вытаскивать из сумки книги, становящиеся от одного соприкосновения с его, хагеровскими пальцами гнусными и тоже вдруг источающими холод и порчу? Илью передернуло. В порядке самообороны, чтобы не поддаться совсем уж внушению, он обиделся сначала за книги, за их чистую злость, а потом и за себя, Илью Марковича, который вынужден идти на поклон к каким-то глубокомысленным хмырям. Нет, не треба, обойдемся без самодельных докторов!

Последнюю фразу он почти выкрикнул — так разгневался — и даже головой потрянул для пущего усиления, но мгновенно опомнился. Открыл глаза, огляделся по сторонам и снова их прикрыл, и где-то в промежутке успела расположиться на сиденье напротив некая молодая особа. Она тут же отвернулась, но все же с секундной задержкой, которую при достаточно разогретом воображении можно было принять за проявление интереса. Хагеру не вполне пока что было ясно, насколько разогрето его воображение. Мешало и то, что подъезжали к станции, где надо переходить к Лео. Он еще раз осторожно взглянул перед собой и обнаружил, что теперь его визави сидит, закрыв глаза. Это было трогательно и просто призывало как следует ее рассмотреть.

В этот момент поезд заскрипел, дернулся и, словно предла-

гая посильную помощь, остановился в туннеле. В другой раз Илья непременно пережил бы легкое смятение, а через полминуты томительного ожидания на горизонте появился бы и призрак удушья. Не любил туннелей. Но сегодня, видно, место, отведенное в душе его страхам, было уже занято, так что мог подвернувшейся паузой воспользоваться исключительно для приятного. Отбросим уловки, все эти любования украдкой, и вот прямо так остановим усталый взгляд на ее лице. О нет, здесь нет и следа наглости, просто грозящая опасность освобождает от условностей. Вы согласны?

Ей было под тридцать, причем под какие-то специфические, кампусные тридцать, будто провела она последние десять из них не в конторе, а кочуя с места на место и изучая в различных университетах то историю искусств, то фольклор примитивных народов, а то и политологию. И хотя Хагер прекрасно знал, что университетов таких нет в природе, но ничего не мог с собой поделать — литературщина эта была здесь очень к месту. Все никак не мог отделаться от ощущения, что ему знакома и чуть ли даже не родственна ее усмешка, эта небрежная миловидность без красоты, эта свободная повадка с набегавшим по временам — о т к р ы л а г л а з а — облачком смущения, словно прощения просит за... Илья затруднялся определить, за что именно, может быть за явную приподнятость настроения, еле сдерживаемую веселость, так не вяжущуюся с состоянием самого Хагера, его многозначительной мрачностью, да и вообще со всем этим гнусным московским вечером, когда приходится ехать и ехать в нерешительности, беспрестанно перекладывая с места на место сумку, которая из-за своей неравномерной вздутости все никак не обретет устойчивого положения.

У нее же отчасти лежал на коленях, а отчасти сползал на сиденье замечательный потертой кожи саквояж с аппетитными накладными карманами и темной пластмассы крупными молниями. Предметы такого рода всегда Илью буквально завораживали, ему казалось, что их обладатели достигли той степени совершенства, когда не потеешь под слишком теплой одеждой, не страдаешь от пронзительного ветра на улице и не испытываешь тяжести в низу живота от слишком плотного ужина. И уж, конечно, хозяйка саквояжа не нуждается сейчас истерически в ком-нибудь, чтобы спрятаться, прильнуть, найти утешение.

Отчетливо представил себе, что произойдет в ближайшие не-

сколько минут. Как только поезд тронется (и никто, разумеется, не задохнется), он поднимется и пересечет разделяющее их полутораметровое пространство. Не снимая устало-печальной маски, опустится на скамью рядом с незнакомкой и скажет тоном мрачной претензии:

— Простите, но поскольку я все равно не могу отвести от вас глаз и это становится уже невежливо, то лучше уж сяду рядом, ибо это единственная возможность смотреть в противоположную сторону.

И она ответит ему с явным акцентом — он разгадал, разумеется, секрет ее родственной чужести — и со все той же своей, никогда полностью не исчезающей улыбкой. Впрочем, сам ответ не так уж был и важен — Хагеру нравилось заготовленное им начало и он не волновался за успех предприятия.

Раздался скрежет, вагон дернулся и медленно сдвинулся. Илья с сожалением расстался с сочным видением. Недалеко от его дома находилось своеобразное гетто для посольских иностранцев. В самом начале, когда оно только было построено, там попадались даже американцы, но постепенно население четырех этих, квадратом расположенных, домов явно латинизировалось, сами здания обветшали, а их обитателей не всегда уже можно было отличить от аборигенов. Правда, до сих пор попадались еще иногда яркие осколки Третьего мира или какой-нибудь европейской сравнительной глухоты, так что в принципе возникшая картина обладала некоторыми признаками реальности: почему бы и нет? Тем более что было же когда-то нечто подобное, во времена другой, с обысками не связанной, но от этого не менее острой тоски, когда чудесным образом появилась Джоанна. Увы, несмотря на все достоинства подобной развязки — и ведь какая цепочка могла бы получиться: знакомство — надежная пристройка книг — продолжение знакомства — никто на сей раз не позаботился подбросить Хагеру такой случай. Сиденье напротив пустовало.

— Халоймес, типичные халоймес! — пробормотал Илья, который с некоторой наивностью употреблял подхваченные в период нацвозрождения еврейские словечки, полагая почему-то, что они "исключительно адекватны" определенным жизненным ситуациям. В данном случае это должно было, по-видимому, означать призыв оставить пустые мечтания и ехать, не выпендриваясь, к Лео — таким испуганным городским евреем, стучащимся к сочувствующему соплеменнику.

Лева Раскин, известный как — не сам ли Хагер, любивший все “европейское”, и был автором прозвища? — Лео, несмотря на свою довольно позднюю женитьбу, являлся уже отцом многочисленного и все расширяющегося семейства. Детишек к настоящему времени было трое, но не исключено, что как раз сейчас, после некоторого перерыва, жена его снова забеременела. Впрочем, откуда у Ильи было такое впечатление, он точно не знал — объявлено пока что не было. Когда-то Раскин хипповал (никто не помнил что сие означает, но Хагер упорно употреблял именно это слово), они вместе, ровесниками будучи, обдумывали житье, совершали многочасовые прогулки по бульварам, в общем являлись что называется старыми друзьями. В эту категорию, пожалуй, Илье практически некого больше — после волны отъездов — было зачислить. Пишущий эти строки не присутствовал при упомянутых прогулках, да и от самого Хагера слышал лишь беглые о них упоминания, но может себе представить, что говорили, видимо, о высоком и, хоть не во всем соглашаясь, друг друга “понимали”. Понимание, разумеется, давно было утеряно — Лео сделал крутой поворот, оставил беспризорные игры, держал умеренно кошерный дом и направлял тот сдержанный жар, который вроде бы наблюдался у него во времена общей юности, на реализацию запутанной системы воспитания, базирующейся на “хороших детских книжках” и либеральном иудаизме. Он пытался и Илью пристроить к своему домотворчеству, предлагал ему преподавать детям английский. Не то и вправду не понимал, не то хотел окрутить, употребить в дело, чтобы не так Хагер лез в глаза со своей бессмысленной жизнью. Одним словом, рвался помочь. А Илья, надо сказать, хоть и раздражался, но терпел, не устраивал скандалов, не порывал. Видно, из все того же стремления к “нормальности”: должен же у человека (не монстра!) быть хотя бы один друг. Если уж очень начинал Лео досаждать ему своими глупостями, то приходилось прибегнуть к крайнему средству: приводил к ним какую-нибудь очередную даму. Тогда после визита его некоторое время уважительно не трогали, шепчась, что “у Элика роман”, и питая доброжелательно-злорадные надежды.

Ну, да что там говорить, теперь, когда швейцарка-бразильянка обманула надежды, так и не материализовавшись, раз все равно не получается вывернуться элегантно — надо ехать к своим в запах горшков. Последнее, пожалуй, было превеличением — детишки раскинские давно подросли, так что нечего кривить носом

и заранее себя жалеть. Давай, представь в последний раз, как могло бы все красиво получиться, и выходи.

* * *

Хагер понукал, понукал себя, но с места не двигался. Не то от все еще маячившего на горизонте видения никак не мог окончательно оторваться, не то занудство свое обычное проявлял, но только пересадку к Лео с каким-то даже победоносным чувством проскочил. Дескать, уходите все. Некстати вспомнил тут Илья, как много лет назад на сцене клуба строителей, куда его занесло с шефской лекцией, да пришлось остаться на концерт, самодеятельный Годунов надрывно просил уйти с глаз долой убиенного, но продолжавшего появляться царевича. “Димитрий в кровавой митре” — всплыла придуманная тогда же рифма — и он рассмеялся от вновь испытанного удовольствия. Хагер трепетно относился к своим однострочным шедеврам... Вот и вы все уходите — это относилось уже к готовящимся в разных концах города отойти ко сну друзьям. Я вас не хочу! Илья не в первый раз за сегодняшний вечер разгорячился от внутреннего монолога. Никакого царевича он не убивал, поэтому и в голосе его слышалась не мольба, как у Бориса-Горемыки, а торжество. Все, хватит, надоело! Покончим наконец-то с этим некрасивым суетливым делом.

Впрочем, может мы зря пытаемся натянуть какую-никакую логику на единственно достоверно известный нам факт, а именно: что Хагер внезапно отказался от намерения пристраивать злосчастные томики. Не исключено, что просто устал или все та же пресловутая тяжесть внизу живота повлияла — у него ведь, как выражалась Инна в период их нежной дружбы, нервный желудок. Так что вполне мог вдруг плюнуть на все ради возможности поскорее оказаться в успокаивающей обстановке собственной квартиры. Кто его знает. Во всяком случае, Илья забыл даже об оставшемся напоследок Серже — и, в общем, напрасно. По идее, Хагера в нем ничто не должно было раздражать. Происхождение Серж имел по нынешним временам чуть ли не аристократическое — из хорошей, хоть и второразрядной русской семьи, то есть был почти на уровне иностранца. Причем, чужестр свою окружающему разными неопасными способами подчеркивал. Добровольческая шинель сообщала его длинной худой фигуре прямо-таки умопо-

мрачительную стройность, и он даже когда-то ездил в само собой разумеющийся Париж к родственникам.

Жил легкомысленный потомок полузнати переводами, на службу не ходил, пользовался небрежной своей свободой, особенно не задумываясь, как естественным достоянием. Одним словом, выглядел безукоризненно. Так что зря чувствительный к стилевым тонкостям Илья Маркович отбросил его в сердцах вместе с остальными — тут не пришлось бы переживать неприятных минут. Серж наверняка усадил бы в кресло, обогрел чаем, рассказал к случаю тут же сочиненный анекдотец (“Как-то поздним вечером, под субботу, возвращается жид навеселе домой...”) и, выслушав вполуха объяснения, заранее соглашаясь войти в положение и отмахиваясь от слов благодарности — ну, полно, полно, какие пустяки, тем более, что мы с автором вроде как свойственники — поставил бы освобожденные от обертки книги прямо на полку.

Вот так или чуть иначе... А может и нет, может лишь на безопасном расстоянии представляется нам таким последний из хагеровских претендентов, а стоит только подъехать поближе, сразу зазвучит какая-нибудь непереносимая нота и все равно оттолкнет и без того брезгливо скривившего губы Илью. Увы, проверить это теперь не удастся, потому что объявляют станцию Хагера, он решительно выскакивает из вагона, поднимается по эскалатору вверх и уже через минуту оказывается — редкая, между прочим, удача — в сразу подошедшем автобусе.

* * *

Задержались на углу у светофора — слева, через дорогу, темнел разрушенный недавним взрывом газа дом — и свернули с тускло освещенной магистрали в квартал вовсе темных переулков, у которых и названий-то не было — одни номера. Возбуждение решимости, пережитое в метро, быстро прошло. Остались теперь усталость и печаль. Впрочем, Илья ни на секунду не пожалел о своем преждевременном возвращении домой. Наоборот, он чувствовал, что все правильно и радовался освобождению от необходимости кружить по холодному городу, но автоматически еще пытался найти опору в суетливо-разумном: дескать, можно не торопиться, не приходят же ОНИ по выходным дням, есть время все обдумать как следует.

Проезжали мимо единственного здесь не мучающего глаз дома —

свежепокрашенного особняка, стоящего в глубине небольшого сада. До капитального ремонта в нем размещался районный вендиспансер. Илью, когда он только что переехал и стал жить отдельно от родителей, мучали соответствующие страхи. Почти уверен был, что заразился дурной болезнью и по двадцать раз на дню обмирал поочередно то отчаянием, то надеждой. Словно этого недостаточно, он должен был еще испытывать дополнительные страдания, наталкиваясь взглядом на недвусмысленное это архитектурное напоминание по дороге на работу и обратно. Двигаясь к метро, никак не избежать было проехать мимо диспансера. Как раз в ту пору и составила сама собой короткая молитва, которую начинал, закрыв глаза, шептать всякий раз при приближении неприятного отрезка пути. Потом уже, немного образовавшись, Хагер с удивлением обнаружил, что самодеятельный текст его почти в точности повторяет стандартные молитвенные обороты.

Сейчас он мог позволить себе улыбнуться тем, юношеским страхам — болезнь в конце концов оказалась всего лишь плодом расстроенного воображения. Прикрыв — как прежде — глаза, Илья попытался вспомнить — не слова, конечно, они-то не забывались, а — то состояние... Странно, теперь ему казалось, что и тогда было не смятение, а только усталость вроде сегодняшней. Хагер повторил несколько раз последнюю строку, не стараясь особенно вдумываться в смысл, а просто отдыхая в ее ритме. Где-то в глубине души надеялся все же быть услышанным.

В подъезде пришлось привычно задержать дыхание: вонь здесь стояла даже в холодное время года. Быстро открыть почтовый ящик и вынуть оттуда письмо из Штатов. Илья сунул его в карман, заранее предвкушая, как потом, после ванны и чая, ляжет в чистую постель и, настроив приемник на чистую полосу английской речи, не торопясь прочитает насмешливый отчет сестры о тамошней жизни, летней поездке, приставаниях родителей по поводу необходимости выйти замуж и в конце — непременно описание очередной посылочки, которую она как раз вчера отослала любимому братцу. На ощупь письмо было толстое — полчаса чтения, не меньше. Утром никому не надо звонить, а значит — не надо и выходить: ближайший автомат находился через дорогу, у булочной. За Левушкой завтра тоже не ехать, а то Юля имела обыкновение просить забрать ребенка пораньше, чуть ли не в десять утра, чтобы успеть вернуться к обеду. Там был режим. Ну что ж, выходит,

можно расслабиться. Завтрак в постель, да еще и с Лениными пирогами. Суббота, и он заслужил отдых.

Взбодренный спокойной этой перспективой, Хагер не стал дожидаться лифта, а потратил остаток сил на то, чтобы взбежать пешком по лестнице. Света в подъезде как всегда не было. На площадке между третьим и четвертым этажом, ну и, конечно, для верности у дверей самой квартиры его ждали.

Май 1986 г.

НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

Вышел в свет первый номер литературного альманаха "САЛАМАНДРА".
Участники: И. Бокштейн, И. Бурихин, А. Волохонский, М. Генделев, М. Каганская и другие.

Переводы: Ж. Лафорг (проза), К. Г. Юнг (проза).

Цена экземпляра при заказе — 15 долл.,

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

НИНА ВОРОНЕЛЬ. "ШЕСТЬЮ ВОСЕМЬ — СОРОК ВОСЕМЬ"

(сборник фантастических пьес)

Один из критиков назвал эти остроумные, веселые и торжествующе-добрые пьесы "поучительным чтением для взрослых мизантропов". Но это прежде всего — увлекательное чтение для всех, кто любит юмор и игру, независимо от возраста.

Цена — 14 долл.

При предварительном заказе в издательстве цена 11 долл. Заказы и чеки принимаются по адресу: "Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В эти дни в общине московских отказников царят робкая надежда и осторожный оптимизм. Все ждут телефонного звонка из ОВиРа, — звонка, который означает разрешение на выезд. Впрочем, такие всплески надежды бывали уже и прежде; вслед за ними неизбежно приходили разочарования; и поэтому большинство отказников сегодня ничего не принимает на веру.

Тем не менее в этой общине сложилось мнение, что сейчас, в дни встречи в верхах и переговоров о разоружении, кремлевской перестройки и отчаянного стремления Москвы заполучить западную технологию и капиталовложения, собственные интересы советских руководителей должны продиктовать им освобождение евреев.

Следует, однако, помнить, что в вопросе о правах человека Советский Союз никогда не отличался особой готовностью видеть свои интересы в том же свете, в каком их видит Запад. И хотя некоторые отказники действительно получают сегодня разрешения, говорить о каких-либо фундаментальных изменениях в таких аспектах советской политики, как вопрос о свободе эмиграции или праве на свободное религиозное и культурное самовыражение, не приходится.

Иси Либлер

**БУДУЩЕЕ ЕВРЕЙСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В СССР**

Этот факт чрезвычайно важно понять, ибо что бы ни представляла собой пресловутая гласность, она не представляет собой процесса, который поведет к возникновению общества западного демократического типа. И хотя в отношении отказников-ветеранов действительно есть основания для оптимизма, шансы на скорое изменение советской политики в вопросе о свободной эмиграции и национальной репатриации, скорее, ничтожны.

Если обстановка гласности и повела к возрождению еврейской активности во многих сферах, а также к умеренному смягчению бюрократического вмешательства и полицейских репрессий, эту умеренность не следует принимать за официальное признание права евреев на такую активность. КГБ всего лишь дремлет, но не спит.

Еврейская активность, действительно, принимает сегодня разнообразные формы. Встречи — в основном, на квартирах, но порой и открытые — происходят сегодня без такого вмешательства КГБ и властей, какое имело место в прошлом. Еврейские группы пытаются нащупать реальные пределы гласности, добиваясь разрешения своих ассоциаций, занятых изучением иврита, идиша, еврейской истории и культуры. Сегодня в советских тюрьмах нет ни одного известного нам узника Сиона. Заметно и существенное смягчение самых грубых форм официально поощряемого антисемитизма в средствах массовой информации. Уменьшилась дискриминация евреев на работе и в университетах. Политика Горбачева направлена на то, чтобы убедить евреев, что в Советском Союзе перед ними открываются блестящие перспективы и им следует забыть об эмиграции.

Однако массовый антисемитизм "снизу" сегодня, напротив, куда более агрессивен и откровенен, чем в прошлом. Возникновение "Памяти", этой шовинистической, националистической организации, которая под видом охраны старины пропагандирует самый яростный антисемитизм, является тому самым ярким примером. Такова оборотная сторона расширившейся свободы слова. Поэтому, говоря о настроениях и обстановке в СССР, следует помнить о наличии самых противоречивых тенденций.

Но повторю: когда речь идет о существовании дела, в частности — о праве на эмиграцию, никаких реальных изменений заметить невозможно. Власти по-прежнему действуют по собственному произволу. И то же своеволие сохраняется в вопросе об изучении иврита. Хотя его ограниченное изучение происходит сейчас без

таких репрессий, которые обрушивались на ульпаны всего лишь два года назад, иврит все еще не легитимизирован как признанный язык, как непризнанными остаются и все другие религиозные и культурные права евреев. Вся нынешняя “либерализация” может кончиться в одну прекрасную ночь.

Есть, однако, одна сфера, где произошли реальные изменения. Это — готовность советских чиновников открыто обсуждать вопросы, связанные с правами человека и еврейской эмиграцией.

Смысл того, что я услышал в таких обсуждениях во время моих встреч с Юрием Решетовым, архитектором советской политики в области прав человека, Рудольфом Кузнецовым, руководителем ОВиРа, и другими советскими чиновниками, сводился к следующему: руководство намерено продолжать либерализацию, и освобождение отказников с наиболее долгим сроком отказа — практически решенное дело. К сожалению, как бы обнадеживающе они ни говорили об отказниках, они не сообщили ничего существенного в отношении более широкой проблемы свободной эмиграции.

В какой же ситуации мы в таком случае находимся? Давайте начнем с благоприятного для советских евреев варианта: Горбачев, решив устранить все препятствия на пути переговоров в верхах, разрешает еврейским “смутьянам” выехать из СССР. Ветераны-отказники, основатели сионистского возрождения, репатрируются в Израиль. Что тогда? Что происходит с сионизмом и еврейской жизнью в СССР?

В результате моего недавнего визита в Москву я пришел к ответу, который меня тревожит. Я убежден, что он встревожит, а возможно и шокирует многих, ибо в наших кругах широко распространено непонимание тех драматических изменений, которые произошли в еврейском движении в СССР за последние годы.

Коротко говоря, сионизм и еврейская жизнь в СССР находят сейчас на распутье. Если Израиль и мировое еврейство не предпримут немедленные действия, то возрождение советского еврейства, свидетелями которого мы были в последние двадцать лет, окажется весьма кратковременным явлением.

Колесо истории не стоит на месте. Та община отказников, которую я видел в Москве в 1980 году, состояла в основном из секулярных сионистов-идеалистов. Многие из этих людей все еще там, но теперь их теснит новое поколение — поколение религи-

озных активистов, и облик грядущего проступает уже вполне зримо.

Этот термин — “религиозные” — я употребляю в том полном объеме, в каком его понимают ортодоксальные евреи. Однако тех, кого может встревожить перспектива нового пополнения ультраортодоксального лагеря, я спешу заверить, что громадное большинство тех религиозных активистов, о которых я говорю, — это замечательные молодые люди, отнюдь не экстремисты, напротив, идеалисты в точном смысле этого слова.

На Западе очень трудно понять, что означает быть религиозным евреем в СССР. Жертвы и самоотверженность, необходимые для того, чтобы соблюдать субботу, и влияние, оказываемое таким соблюдением на работу и учебу детей, невероятны. Соблюдение кашрута, преподавание детям основ иудаизма, проведение еврейских праздников — все это наталкивается на такие препятствия, что само их преодоление воспитывает в людях столь глубокую веру, которую поистине не с чем сравнить. Уровень еврейского образования — а точнее, самообразования — этих людей необычайно высок даже по западным меркам.

В еврейском плане это возвращение к Торе отражает вакуум целей, возникший в результате резкого падения уровня эмиграции в последнее десятилетие и неспособности секулярных сионистов заполнить этот вакуум. В более широком, общесоветском контексте он параллелен изменениям, происходящим в нееврейских диссидентских группах, многие из которых тоже начали поворачиваться к религии.

Одно очевидно: если оставить в стороне ветеранов-отказников и их семьи, то приходится признать, что в возникающем сегодня движении еврейской молодежи, особенно в больших городах, тон задают именно эти религиозные активисты. В одной Москве насчитывается свыше пятисот религиозных семей. Фактически все они представляют собой “хозрим бе-тшува”, пришедших к религии за последние пять или менее лет.

Каждая отдельная история возвращения к вере трогательна и человечна. Иосиф Бегун рассказал мне, что его еврейская вера помогла ему выдержать ужасные годы пребывания в тюрьме и лагере. Другой бывший узник Сиона, Александр Холмянский, не уставал вспоминать, как он твердил молитвы и священные тексты все пять месяцев, которые провел в одиночном заключении.

Если ветераны-отказники действительно покинут страну, эти религиозные активисты останутся, по всей видимости, единственными претендентами на роль будущей советской еврейской элиты.

К сожалению, эта вдохновляющая в других отношениях перспектива имеет и оборотную сторону. Это немногочисленное меньшинство религиозных активистов сегодня находится в полудобровольном отчуждении от главного потока всемирной еврейской жизни. Оно почти исключительно занято своими религиозными проблемами и обрядами. И эта изоляционистская тенденция может набрать силу.

Я широко обсуждал эту проблему с представительной группой ветеранов-отказников в доме профессора Лернера. Они согласились, что было бы трагическим, если бы религиозное движение стало несионистским или даже антиссионистским. И хотя почти все мои собеседники были секулярными сионистами, они не уставали подчеркивать, что это опасное отчуждение значительной части религиозного лагеря вызвано, в немалой степени, тем пренебрежением, которое проявили по отношению к нему многие активисты борьбы за советское еврейство в Израиле и на Западе.

До сих пор религиозными активистами занимались, в основном, такие организации, как Хабад, Агуда и другие несионистские, а порой и антиссионистские группы. Растущее равнодушие этих активистов к сионизму было неизбежным результатом этой избирательной помощи.

Не приходится удивляться тому, что секулярные сионисты в советском еврействе проявили известное равнодушие к религиозным группам. Но верующим евреям из израильской партии Мафдал и других умеренных групп мирового еврейства нет извинения. На них лежит львиная доля ответственности за то, что мы до сих пор не сумели наладить регулярные визиты в СССР достаточно авторитетных раввинов и ученых, вдохновленных идеалами религиозного сионизма. Те молодые верующие, которые по собственному почину посещают СССР, никак не могут заменить подлинно авторитетных гостей, которые обладали бы знаниями, способными вызвать уважение этой необычайной поросли религиозных идеалистов.

Я спрашиваю: почему религиозные сионисты нисколько не заботятся о том, какая — сионистская или несионистская — тен-

денция возобладает в этой группе ортодоксальных советских евреев? Ведь от этого зависит судьба всего советского еврейства.

Мы должны руководствоваться разумным эгоизмом. А разумный эгоизм подсказывает, что при благоприятных обстоятельствах эти высококвалифицированные профессионалы и интеллектуалы могли бы стать весьма желательным сегодня пополнением умеренного религиозного лагеря в Израиле. Они могли бы сыграть решающую роль в сопротивлении тому обскурантизму, который сейчас захватывает правое крыло израильского религиозного движения.

Но еще более существенно следующее. Одна лишь реакция на антисемитизм не может обеспечить подлинное содержание еврейской жизни в СССР. В прошлом идеалы, направление, содержание этой жизни задавали секулярные активисты, поднявшиеся на волне событий 67-го года. В будущем ее основой могут быть, на мой взгляд, только культурные и культурно-религиозные идеалы — или никакие. Если мы не начнем действовать немедленно, мы рискуем утратить шанс на то, что религиозное возрождение, увлекающее сейчас молодых советских евреев, приведет к более широкому — культурному — возрождению советского еврейства в целом, а без этого для двух миллионов советских евреев практически не остается никакой надежды.

Таким образом, в движении за советское еврейство настал час мучительной переоценки ценностей. Мы стоим перед тремя фундаментальными проблемами, которые требуют неконвенционального решения: как продолжать борьбу за право на свободную эмиграцию и освобождение всех отказников? как быть с проблемой прямиков и прямых рейсов? и — возможно самое важное из всего перечня — как обеспечить базу для сохранения религиозной и культурной жизни евреев, остающихся в Советском Союзе?

В ближайшей перспективе моя оценка шансов на свободную эмиграцию пессимистична. Ни один советский чиновник не дал мне соответствующих заверений. Поэтому лучше не питать никаких иллюзий на этот счет. Хотя мы по-прежнему обязаны бороться за право всех евреев выехать в Израиль, мы должны сознавать, что нам предстоит тяжелая борьба, которая, вероятно, растянется на долгие годы.

В результате моих разговоров в Москве, я изменил свои взгляды на проблему прямиков. Эта проблема в глазах советских вла-

стей явно утратила какое-либо идеологическое значение. Напротив, они в известной мере даже легитимизировали прямиков, внося в свои новые правила эмиграции пункт, позволяющий воссоединение семей по прямым вызовам из любой западной страны. Усиленная антиссионистская риторика и осуждение тех, кто хочет выехать в Израиль, не идут ни в какое сравнение с довольно умеренной критикой в адрес тех, кто эмигрирует в западные страны.

Когда в разговоре с заместителем директора Аэрофлота и другими чиновниками я поднял вопрос о прямых рейсах, мне ответили, что в случае возобновления отношений с Израилем организация таких рейсов не составит никаких трудностей. Но тут же, со скрытой иронией, добавили, что с нашей стороны было бы нарушением "прав человека" понуждать эмигрантов ехать именно в Израиль. Впрочем, заключили мои собеседники, они не хотят вмешиваться во внутриеврейские споры. Все это означает, что проблема прямиков, вне зависимости от других ее, сионистских и израильских, аспектов, с точки зрения наших переговоров с Советским Союзом сегодня перестала быть существенной.

Это ставит перед нами принципиальный и беспокоящий многих вопрос: какое число советских евреев действительно хочет сегодня покинуть СССР и какое их число хочет выехать именно в Израиль? Ответить на эти вопросы невозможно. Если измерять желание выехать количеством людей, готовых числиться в глазах советских властей потенциальными эмигрантами, то упорно повторяемая цифра 400 000 окажется абсолютно абсурдной. За исключением отказников, сегодня почти нет евреев, подающих заявления на выезд. И тому есть резонные причины. Частично они связаны с новыми правилами, которые ограничивают право на выезд наличием первой степени родства. Многих пугает также судьба долгосрочных отказников. Советские власти, со своей стороны, предпринимают самые серьезные усилия, чтобы побудить евреев остаться, уменьшая дискриминацию при поступлении на работу и на учебу. Наконец, многих евреев привлекают перспективы перестройки, и многие находятся под впечатлением новых правил, разрешающих поехать в гости к родственникам за границу.

Тем не менее, если бы эмиграционные правила были всерьез либерализованы и отпали бы проблемы, связанные с отказом, сотни тысяч советских евреев, возможно даже — куда больше, чем 400 000, несомненно подали бы заявления на выезд. Однако

большинство из них сделало бы это по чисто экономическим причинам, и в результате возникшее эмиграционное движение не имело бы особо еврейского характера. Очень мало людей захотели бы поехать в Израиль. Еще меньше осознали бы какую-либо связь с еврейством. Сегодня, если не считать ветеранов-отказников, только религиозные евреи, будь то сионисты или несионисты, направляются в Израиль. Но они, разумеется, составляют ничтожное меньшинство.

Поэтому поддержание очагов еврейской жизни в СССР становится фундаментальной задачей. Хотя борьба за право на свободную эмиграцию в Израиль должна по-прежнему оставаться нашим первоочередным делом и нас не должно успокаивать освобождение нескольких знаменитых отказников, нам нужно быть реалистами и отдавать себе отчет, что в этом направлении мы не так скоро достигнем своей цели. Нам необходимо настроиться на длительную борьбу. И эта "перестройка" включает признание того факта, что без поддержки еврейской религиозно-культурной жизни в СССР, мы не можем рассчитывать на развитие там сколько-нибудь серьезного еврейского движения за выезд.

Поэтому борьба за свободу изучения иврита является вопросом чрезвычайной важности. В этой борьбе мы еще далеки от победы. И если мы поймем, что религиозные евреи сегодня составляют большинство среди активистов, мы обязаны также требовать права на изучение иудаизма хотя бы в небольших группах, хотя бы на дому, включая возможность подготовки детей к бармицве. Если советская конституция допускает существование "Памяти", она обязана допустить, чтобы родители имели возможность знакомить своих детей с иудаизмом. Мы должны бороться за право ввозить религиозные книги, распространять Библию, молитвенники и грамматику иврита. Короче, мы должны уделить максимальное внимание и вложить большие ресурсы в поощрение советского еврейского религиозного движения — с тем, чтобы повернуть его в сторону сионизма, позитивного активизма и связи с главным потоком еврейской жизни. Мы обязаны оказать еврейским религиозным активистам в СССР по меньшей мере такую же помощь, какую в свое время оказали поколению секулярных сионистов. Если мы не сумеем обеспечить этой нынешней еврейской элите в СССР возможность свободной религиозной или культурной жизни, это будет означать, что еврейский вопрос там решится сам собой и решение это будет, с нашей точки зрения,

трагическим. Если там не будет еврейского религиозного или просто национального самосознания, не будет и алии, а стало быть, в конечном счете, — не будет и евреев.

Мы должны осознать факт фундаментального значения: сегодня мы находимся на завершающих этапах одной из величайших глав еврейской истории. Если и когда ветераны-отказники выедут из СССР, там начнется новая эра. Мы должны осознать, что четкие водоразделы прошлого сегодня выглядят совершенно иначе. Проблемы стали сложнее, и мы имеем дело с усложнившимися препятствиями. Наши будущие усилия требуют нового подхода и готовности расстаться со многими прежними убеждениями. Перед нами — долговременный вызов, и наш успех в ответе на него будет измеряться впредь, скорее, накоплением мелких побед, чем одним драматическим прорывом.

Налицо важные изменения: легитимация советскими властями прямиков; вполне возможное исчезновение сионистских идеалистов в СССР в результате выезда отказников-ветеранов; и появление нового поколения религиозных активистов. Все эти изменения требуют от нас пересмотра своих долгосрочных и краткосрочных приоритетов. Необходимо признать, что если мы не добьемся от советских властей необходимых культурных и религиозных уступок, нам попросту не на чем будет строить борьбу за освобождение советского еврейства, которое является нашей конечной целью.

В этой борьбе следует отказаться от всяких иллюзий. Разумеется, для советских евреев, если они хотят остаться евреями, единственным долгосрочным решением является алия. Разумеется, когда мы говорим о религиозном возрождении или о возможной еврейской культурной жизни в СССР, мы говорим об элитарном меньшинстве. Более широкая, поистине массовая еврейская жизнь в СССР никогда не сможет стать реальностью. Но создав возможности еврейской жизни для этого меньшинства, мы обеспечим непрерывность еврейского существования в Советском Союзе.

Поэтому нам настоятельно необходимо создать группы стратегического планирования, которые занялись бы выработкой новых — и если нужно, радикально новых — предложений. Если мы будем цепляться за прежние лозунги и устаревшую политику, мы можем упустить исторический шанс увенчать борьбу за советское еврейство его окончательным освобождением.

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Мне кажется, что появление статьи И. Либлера чрезвычайно своевременно. Я совершенно согласен с автором, что еврейское движение в СССР находится в критической переломной точке, что мы должны осознать и продумать возникающую новую ситуацию и выработать адекватную линию политического поведения.

Однако некоторые утверждения автора, являющиеся основными для предлагаемого им анализа ситуации, мне кажутся довольно сомнительными. Это прежде всего утверждение, что в настоящее время уменьшается дискриминация евреев при приеме на работу и в университеты, и, затем, утверждение, что многих евреев привлекает перспектива перестройки.

Первое скорее отражает официально прокламируемые изменения, а не сегодняшнюю реальность, а второе — западную реакцию на перестройку. В Советском же Союзе среди громадного большинства населения вообще, и среди евреев в особенности, возможность перестройки вызывает скорее скептицизм. Поэтому все усилия властей убедить евреев “что перед ними открываются блестящие перспективы и им следует забыть об эмиграции” вряд ли будут успешными среди более или менее значительной части еврейского населения. Тем более, если мы примем во внимание деятельность так называемых самодеятельных (а на самом деле тесно связанных с влиятельными в СССР кругами) групп, как “Память”, клубы “Родина”, обществ охраны памятников старины и даже антиалкогольных обществ с активной антисемитской программой. Мне кажется, что влияние, а тем более потенциальное влияние, этих черносотенных групп на положение евреев в СССР еще не оценено в достаточной степени. А оно сейчас таково, что даже если советское руководство действительно захочет открыть перед евреями блестящие перспективы, ему будет нелегко превратить это желание в реальность.

Таким образом имеются серьезные основания ожидать роста эмиграционных настроений в новых условиях и вовсе не только по экономическим причинам. Выезд значительного количества долгосрочных отказников способствовал этому, тем более что целый ряд ограничений на эмиграцию, введенных в 1987 году,

уже в том же году выполнялся весьма непоследовательно (требование наличия ближайших родственников за рубежом) .

Сейчас в СССР создается довольно нестабильная и противоречивая ситуация и всякие прогнозы в этих условиях представляются весьма сомнительными. Поэтому, утверждение автора что маловероятно ожидать еврейскую эмиграцию в больших масштабах не следует воспринимать слишком трагически. Это именно та мысль, которую беседовавшие с ним советские чиновники пытались ему внушить. Автор мимоходом замечает, что секулярные сионисты оказались неспособными заполнить вакуум идей. Между тем, он, к сожалению, игнорирует существование еврейских самиздатских журналов, научных, исторических и культурных семинаров, лекций на еврейские темы, массовых культурных выездов на природу и т. д. и т. п., в 70-х годах, которые были жестоко пресечены в начале 80-х, иногда с помощью арестов, тюрем и ссылок (о чем автор этой заметки может лично свидетельствовать) и которые в середине 80-х годов стали воссоздаваться вновь. А ведь эти секулярные или смешанные образования как раз и заполняли вакуум идей. Я не говорю уже о постоянной деятельности по изучению языка иврит. И сейчас, как отмечает автор, "еврейская активность принимает различные формы. "Еврейские группы пытаются нащупать реальные пределы гласности, добиваясь разрешения своих ассоциаций, занятых изучением языка иврит, идиш, еврейской истории и культуры".

Если мы заметим что эти группы носят в основном секулярный характер (хотя в их деятельности участвуют и религиозные люди), то утверждение автора что "если ветераны-отказники действительно покинут страну, то религиозные активисты останутся по всей видимости единственными претендентами на роль будущей еврейской элиты" представится противоречащим не только реальности, но и тексту его собственной статьи.

Мне представляется чрезвычайно важным сохранить плюралистический характер независимой еврейской жизни в СССР. Все еврейские независимые группы — секулярные и религиозные, научные и культурные, языковые и музыкальные заслуживают поддержки и внимания. Мы не можем сейчас сказать, какая тенденция будет превалировать, но мы должны стараться, чтобы каждый еврей, обращающийся к этим группам, смог найти там свое место и возможности реализации своего духовного порыва.

СУДЬБЫ ИДЕЙ

История требует платы за реализацию любой идеи. Зачастую мы платим неполнотой реализации, которая упирается в непредвиденные проблемы, возникающие в ее ходе; еще чаще эта плата состоит в том, что идея реализуется не в том виде, в каком была задумана; а еще бывает, что наша плата оборачивается столкновением с возродившимся противоречием, изначально заложенным в самой идее.

Тот религиозно-секулярный конфликт, который многие вдумчивые наблюдатели сегодняшней израильской общественной жизни считают самым глубоким и самым определяющим для будущего страны, является нашей платой за сионизм.

Плата эта по приведенной выше классификации — третьего рода. Зерно будущего конфликта уже таилось в глубинах еврейской истории. Когда сионизм — в духе породивших его европейских националистических движений XIX века — призвал к созданию национального "государства евреев", он не мог не прийти в противоречие с изначально заложенной в еврейском религиозном сознании идеей "еврейского государства".

"...И когда вы войдете в ту землю, что Господь Бог

Михаил Вартбург

ПЛАТА ЗА СИОНИЗМ:

ваш дал вам в наследие, и овладеете той землей, и поселитесь в ней...”

Так начинается одна из недельных глав Второзакония. Что же должно последовать за этим “когда”? Тора недвусмысленно предписывает, что “войдя” в Землю Обетованную, народ должен устроить свою жизнь там по законам теократии. Иными словами, его общественным и гражданским законом должны быть заповеди Моисеева Закона.

Так, уже в самый момент возникновения еврейской религиозной идеи, возникает та проблема, которой суждено сопровождать еврейский народ на протяжении всей его истории: проблема отношений между гражданским и религиозным законами, или проще: между религией и государством.

Христианство, по сути своей обращенное к индивидууму, вообще уходит от вопроса о принципах жизни коллектива (во всяком случае — гражданского коллектива, то есть общества). Но еврейский монотеизм не приемлет никаких промежуточных решений. Государство должно стать “царством священников” и народ — “народом святых”. Единственный и всеобъемлющий закон человеческой жизни — Закон Бога, преподанный на горе Синай и скрепленный Заветом с Народом Израиля.

Исходное предписание было недвусмысленным. Но практика оказалась иной. Войдя, наконец, в Землю Обетованную, евреи создали здесь не теократию, предписанную Торой, а вполне земное царство — и даже целых два. Тщетны были возражения пророка Самуила — народ принудил его провозгласить Саула царем. Священники стали не “царством”, а прислужниками царской власти. Расхождение между идеалом и реальностью было очевидным. Оно не могло не породить — и породило — первую в еврейской истории оппозицию государственной власти — движение великих пророков. Но даже этим преемникам Самуила не удалось изменить ход истории.

В пятом-четвертом веках до нашей эры, во времена возвращения из Вавилонского плена, когда, казалось, можно “все начать сначала”, была предпринята еще одна попытка согласовать идеал с действительностью — известная попытка Эзры и Нехемии. Реформы Эзры были, по существу и в духе пророков, направлены на создание еврейского теократического государства. Именно тогда впервые зародилась Галаха, как совокупность законов такого государства, являющихся прямым развитием Божественно-

го Откровения, некогда полученного в пустыне. Однако и на сей раз небесный закон был, в конце концов, подменен земным. Израиль снова стал "государством, как все"; впрочем, с одним, но фундаментальным отличием, какого не знает ни одно другое государство: идея, составлявшая "резон д'этр" его существования; оставалась в непримиримом противоречии с самим этим существованием.

Сохранившееся противоречие снова породило оппозицию — на этот раз в виде движения фарисеев. Однако в отличие от пророков фарисеи нашли компромисс. Не видя возможности сделать Закон основой государства, они согласились ограничиться тем, что сделали его основой жизни каждого индивидуума. Возможно, их "обходная тактика" увенчалась бы, в итоге, успехом и им удалось бы ввести Закон "с черного хода"; нам не дано этого узнать. Их усилия были прерваны ходом истории: разрушение Храма и подавление еврейских восстаний привели к окончательному рассеянию народа.

С 70-го по 1948-й год нашей эры иудаизм оставался религией народа, лишенного своей земли, а стало быть — своего государства. Поэтому все споры о форме этого государства были, тем самым, беспредметными. Но принципиальная возможность конфликта сохранялась. Она стала реальностью, как только на сцену истории выступил сионизм.

Существует упрощенное представление, будто сионизм был изначально и как целое враждебен иудаизму, а религиозный лагерь был так же изначально и как целое враждебен сионизму. В действительности расстановка сил была куда более сложной и борьба — куда более запутанной. Несомненно, участникам этой борьбы казалось, что она может иметь только один из двух мыслимых исходов: либо государство евреев, либо еврейское государство. Либо государство секулярное, либо теократическое, третьего не дано. Но история зачастую выбирает как раз третье — то, что не существует поначалу и потому не может даже "помыслиться" современникам, но возникает постепенно, в противоречиях борьбы, в ее судьбоносных маневрах, как очередной итог самого исторического процесса. Нынешнее состояние религиозно-секулярного конфликта в Израиле, участниками которого на сей раз являемся мы, есть именно такое "третье", прежде непредвиденное никем. Понимание того, как возникло это состояние, требует возвращения в недалекое прошлое — к истории отношений сиони-

зма и Галахи. Отношения эти складывались и развивались (определяя собою будущее, ставшее нашим настоящим) преимущественно в Палестине.

Представление о том, будто досионистская Палестина была “пустынной страной”, неверно не только в “арабском”, но и прежде всего в “еврейском смысле”. Действительно, первый крестовый поход привел к почти полному уничтожению остатков еврейского населения Палестины. Тем не менее непрерывное еврейское присутствие в стране сохранялось во все века — благодаря религиозным связям народа с исторической родиной. Крохотная еврейская религиозная община сумела пережить и крах государства крестоносцев, и завоевание Палестины мамелюками, и вторжение в страну монгольских полчищ. Уже в 1211 году она получила первое пополнение — в лице трехсот раввинов, прибывших в страну из Франции; в последующие столетия еврейское население продолжало медленно, но неуклонно расти за счет небольшого, но устойчивого потока верующих из разных стран. Три важных центра еврейской религиозной жизни сложились в Иерусалиме, Тверии и Цфате; четвертый, в Хевроне, был воссоздан главой хасидов-хабдников Шнеуром Залманом из Ляд в 1820 году. В середине XIX века в Палестине насчитывалось 12 тысяч евреев; к концу века их было уже 25 тысяч. 60 процентов из этого числа составляли ашкеназы, остальное — сефарды. Взятые вместе, эти еврейские поселения в Стране Израиля назывались “ишувом”; позже, в отличие от новых поселений, возникших под влиянием сионистских идей, они стали именоваться “старым ишувом”.

Главной особенностью старого ишува был его специфический, нигде и никогда прежде невиданный образ жизни. Все десятки тысяч его членов посвятили себя целиком и исключительно изучению иудаизма. Во имя этого изучения, которое традиция провозглашала главной обязанностью всякого еврея-мужчины, начиная с раннего детства, палестинский ишув резко и категорически отвергал любую мысль о каких-либо иных занятиях — тех, которые дают всем прочим, обычным людям средства к существованию.

Как же тогда существовали эти люди? Они жили на “халуку”.

По сути своей халука была подаванием, которое собиралось в пользу евреев Палестины в еврейских общинах Европы. В самой идее такого подавания не было ничего предосудительного. Филантропия — давняя еврейская традиция, а помощь изучающим

Тору и Талмуд всегда считалась обязанностью любой еврейской общины. В христианстве тоже можно встретить соответствующую, хотя иначе обосновываемую идею: поскольку монахи в монастырях “замаливают” грехи мирян (а точнее: своей “святой жизнью” вырабатывают “излишек благодати”, то есть больше необходимого на свое личное спасение), то миряне обязаны обеспечить им средства для этого душеспасительного занятия. Поэтому не в самом факте халуки состояла ее необычность. Необычность эта состояла в том, что подаяние рассматривалось как единственно допустимый способ существования целого человеческого коллектива и более того — как прообраз будущего облика жизни всего еврейского народа.

Справедливость требует отметить, что в этом отношении сефардская часть старого ишува не была столь ортодоксальной. Сефарды, давно осевшие в стране и знавшие арабский язык, были лучше интегрированы в местной экономике, занимались ремеслами и торговлей, и потому их часть халуки шла на помощь действительно нуждающимся.

Не то — ашкеназы. В их общине никто не мог, да и не хотел сам себя содержать. Более того — с гневом отвергались любые попытки создать возможности продуктивного труда и источники самостоятельного заработка. Когда “Альянс Исраэлит” создал в Палестине первую сельскохозяйственную школу, ее ученики подверглись жесточайшим преследованиям со стороны руководства палестинского ишува, несмотря на то, что в школе было предусмотрено выполнение всех религиозных предписаний. В 1878 году ашкеназийские раввины Палестины провозгласили “херем” (отлучение, дословно — бойкот) по отношению к тем родителям, которые посылали детей изучать иностранные языки. Лидеры ишува признавали только два вида образовательных учреждений (да и те лишь для мужчин): хедер и ешиву, причем в обоих изучался исключительно Талмуд — не преподавались ни Библия, ни еврейская литература, ни еврейская история, не говоря уже о математике или естествознании. Однако и уровень талмудического образования был невысок: известный еврейский историк Грец, посетивший Палестину в 1872 году, писал, что большинство учащихся практически не знает Талмуд, хотя в разговорах напыщенно именуется “раввинами” и “мудрецами”; впрочем, добавлял он, это и немудрено — ведь учатся в действительности немногие, большинство предпочитает слоняться по улицам, бездельничать,

сплетничать и злословить. Рабби Пинес, побывавший в Палестине вскоре после Грецца, с ужасом отмечал, что всюду видны признаки крайней нищеты и откровенного голода.

Но даже и в этой ситуации лидеры старого ишува категорически отвергали любые попытки создать в стране хотя бы зачатки еврейского производительного труда и сурово обрушивались на всех, кто смел критиковать систему халуки. Когда Грецьц после посещения Палестины написал, что эта система способствует обскурантизму, нищете и вырождению палестинского еврейства, он был немедленно предан херему. Пятью годами позже аналогичная судьба и по тем же причинам постигла издателя одной из первых палестинских газет Фрумкина. Известный еврейский филантроп Мозес Монтефиоре под угрозой херема был вынужден отказаться от мысли создать школу для девочек в Иерусалиме. Та же угроза заставила позднее рабби Пинеса снять свое предложение создать там ремесленное училище для мальчиков. Создатель современного иврита Элиезер бен Иегуда за свою критику системы халуки был предан херему дважды; ему было отказано в возможности похоронить умершую жену на ашкеназийском кладбище в Иерусалиме; а позднее лидеры ишува спровадили его в турецкую тюрьму, донеся властям, что он — опасный “политический подстрекатель”, и сфальсифицировав “для доказательности” перевод его статьи о Маккавеях.

Причина, по которой лидеры старого ишува так цепко держались за халуку, состояла в их религиозных убеждениях. Именно халука позволяла реализовать на практике тот галахический идеал жизни еврейского коллектива, который был заповедан им Торой. Реализация эта требовала принуждения, и система халуки давала в руки лидеров ишува мощное орудие такого принуждения: контролируя распределение средств к жизни, они тем самым контролировали и самую жизнь. В сущности, старый ишув с его системой халуки и основанной на ней безраздельной властью раввинов был максимальным приближением к теократии, когда-либо достигнутым еврейской общиной в новые времена. Понятно, однако, что эта теократия могла существовать только потому, что была, так сказать, дважды защищена от реальности: с финансовой стороны — средствами, текущими из еврейских общин диаспоры, а со стороны политической — наличием турецкой власти. Не трудно было понять, что рано или поздно реальность постучится в дверь этой теократической утопии. И так же не трудно было понять, что ста-

рый ишув, в лице его религиозных лидеров, окажет этой реальности яростное сопротивление.

Такой реальностью стали для старого ишува поселения первой алии, которые начали появляться в Палестине после русских погромов 80-х годов. В отличие от старого ишува "новый ишув" вдохновлялся идеей создания на исторической родине независимого производительного общества, основанного, прежде всего, на земледельческом труде. И хотя при этом новые поселенцы не отвергали религию предков, лидеры старого ишува встретили их в штыки. Возникновение первых поселений, в 1882 году, немедленно повлекло за собой специальное постановление ашкеназийских раввинов Палестины, которое осуждало еврейское земледелие, называя его "занятием, совершенно ненужным в Стране Израиля". Семь лет спустя, в 1889 году, раввины попытались уничтожить это "занятие", что называется, на корню, потребовав от поселенцев выполнения древнего обряда "шмиты", который предусматривал прекращение обработки земли каждый седьмой год. Для поселенцев это означало катастрофу, и они обратились за помощью к европейским раввинам. Русские и западные религиозные авторитеты предложили сторонам компромисс, но лидеры старого ишува отказались от каких бы то ни было уступок, заявив, что коль скоро поселения находятся под опекой барона Ротшильда, барон и должен содержать их весь седьмой год на свои средства. В конце концов, большинство поселенцев отказалось подчиниться раввинатскому запрету. Так было положено начало открытой — и неизбежной — борьбе между старым и новым ишувами. Спустя две тысячи лет извечный конфликт между требованиями реальности и предписаниями Закона вновь возродился на палестинской земле.

Следующий раунд этой борьбы развернулся вскоре после этого, в 90-е годы. Разрастающиеся поселения пришли к необходимости разработать формальные уставы, управляющие жизнью и трудом их членов. Лидеры старого ишува предприняли самые решительные попытки включить в эти уставы пункт, гласивший, что все вопросы жизни каждого нового поселения должны решаться его раввином на основе Галахи и утверждаться религиозным руководством ишува. Однако подавляющее большинство поселений выбрало в качестве образца устав, впервые разработанный жителями Петах-Тиквы, согласно которому все проблемы, кроме глубоко религиозных, должны решаться специальным комитетом,

избранным на общем собрании. В этом, втором раунде борьбы за полноту власти в еврейской Палестине лидеры старого ишува вновь потерпели поражение; однако они по-прежнему сохраняли абсолютный контроль над религиозным большинством, составлявшим более 90 процентов палестинского еврейства. Следующий, третий раунд борьбы не заставил себя ждать: на авансцену истории уже выступал сионизм.

Сионизм возник не в вакууме: с самого момента зарождения ему пришлось лавировать между западным ассимилированным еврейством, ортодоксальными массами восточноевропейских евреев и руководством ультраортодоксального еврейства Палестины. Вдобавок к этому внутри самого сионизма отношение к религии было изначально неоднозначным. "Политическому сионизму" Герцля и его западных ассимилированных сторонников здесь противостоял "духовный сионизм" Ахад-Гаама, поддержанный русскими сионистами.

Сионизм Герцля был, в сущности, еврейским вариантом обычного европейского секулярного националистического движения. Это было чисто политическое движение, добивавшееся скорейшего создания государства евреев чисто политическими средствами. Государство это, по западному образцу, должно было быть светским, секулярным и демократическим; не так уж важно было, где именно оно будет создано. Напротив, Ахад-Гаам говорил о необходимости создания — и именно в Палестине — не столько государства, сколько некоего "духовного центра" еврейской жизни, который будет изливать свой "свет" на все мировое еврейство. Еврейский национализм, то есть стремление евреев к национальному существованию, Ахад-Гаам считал выражением сформированного еще в библейские времена, в основном — под влиянием учения пророков, "еврейского духа". В прошлом этот дух неизбежно мог воплощаться только в религиозных рамках; но в современных условиях религия является всего лишь одной из граней "еврейской цивилизации": еврейский дух должен и может найти и другие формы самовыражения. Полное его развитие, по Ахад-Гааму, должно привести к тому, что Палестина станет "духовным центром мирового еврейства, призванным создать новую духовную связь между рассеянными частями народа и стимулировать их возрождение к национальной жизни"; Палестина "должна стать центром науки и образования, языка и литературы, физического труда и духовного очищения, миниатюр-

ным воплощением того, каким должен быть весь еврейский народ”.

В концепции Ахад-Гаама возрожденная трудом поселенцев Палестина мыслилась не столько как “государство евреев” или “еврейское государство”, а прежде всего как элитарное духовное сообщество высочайшего уровня, воплощающее библейский пророческий идеал социальной справедливости и нравственной жизни. Это учение оказало огромное воздействие на всех выдающихся русских сионистов; его отчетливые следы можно опознать как в идеале “просвещенного ишува” Вейцмана, так и в идеологии Жаботинского и Бен-Гуриона с их романтическим увлечением библейским величием и подчеркиванием роли духовной элиты, призванной “преобразовать” народ. Отголоски этой концепции можно еще и сегодня уловить в теоретических высказываниях некоторых ведущих секулярных представителей нынешнего сионистского движения в СССР, воспринявших ее в виде эклектической смеси взглядов Жаботинского, Вейцмана и Бен-Гуриона.

Неудивительно, что эти теоретические расхождения довольно быстро выявились на практике. На первом сионистском конгрессе в Базеле Герцль провозгласил: “Должны ли мы стремиться к теократии? Разумеется, нет. Вера нас объединяет, знание — освобождает. Поэтому мы будем бороться с любыми теократическими тенденциями. Мы отведем нашим раввинам место в их храмах, точно так же, как армии — в ее бараках”. В этих словах, по сути, формулировался принятый в тогдашней Западной Европе принцип отделения религии от государства. Но то — принцип. На деле же интересы зарождавшегося, а потому — еще слабого движения диктовали Герцлю любой ценой стремиться к расширению его рядов и влияния, в значительной мере — за счет религиозных лидеров, сохранявших непререкаемый авторитет в массах восточноевропейского еврейства. Поэтому, отвергая вмешательство раввинов в политику теоретически, Герцль на практике предпринимал все возможные усилия, чтобы вовлечь их в сионистское движение, и шел на самые широкие компромиссы, чтобы их там сохранить. По его настоянию второй сионистский конгресс принял резолюцию, провозглавшую, что “сионизм стремится не только к политическому и экономическому, но и к духовному возрождению еврейского народа и потому не намерен предпринимать ничего, что шло бы вразрез с заповедями еврейской религии”.

На этом пути Герцль добился определенных успехов. Религиозный лагерь раскололся в своем отношении к сионизму. Верно, ортодоксальный еврейский мессианизм не допускал попыток ускорить приход Мессии (а стало быть, и восстановить еврейское государство в Земле Израиля) с помощью чисто земных, человеческих усилий; такие попытки осуждались как лжемессианство и "сабатеянская ересь" (по имени знаменитого лжемессии XVII века Сабатая Цви, движение которого, увлекшее сотни тысяч людей, принесло трагические результаты еврейскому народу). Поэтому подавляющее большинство западных и восточных раввинов осудили сионизм, как попытку возрождения сабатеянства. Были, однако, и другие религиозные лидеры — вроде раввина Шмуэля Могилевера, — которые считали, что мессианские обетования не исключают, а напротив — предполагают "встречные" человеческие усилия по приуготовлению народа и страны к приходу Освободителя. Сторонники этой точки зрения приветствовали инициативу Герцля, и вскоре в рядах первых сионистов появилась довольно заметная религиозная прослойка.

Если секулярист Герцль был сторонником хотя бы временного компромисса с еврейским религиозным лагерем, то сторонники "духовного сионизма" Ахад-Гаама, — казалось бы, более близкие к "еврейской метафизике" (а может, именно потому, что более близкие, а значит — сражающиеся на той же "площадке") — выступили как страстные противники такого компромисса. На третьем сионистском конгрессе, в 1899 году, группа молодых ахад-гаамовцев во главе с Вейцманом, Бубером и Моцкиным, основала так называемую "Демократическую фракцию", которая потребовала, чтобы движение сформулировало собственную культурную программу, не отдавая духовные аспекты в ведение религиозных кругов. Герцль, стремившийся прежде всего сохранить единство сионистских рядов, сумел воспрепятствовать обсуждению этого требования на третьем и четвертом конгрессах, однако на пятом, в 1901 году, фракции удалось провести свою резолюцию, согласно которой сионизм "ставит своей принципиальной задачей подъем культурного уровня масс путем их воспитания в духе еврейского национализма", то есть в духе понимаемого по Ахад-Гааму "библейского идеала", а не в традициях еврейской религии. Верующие сионисты не могли не воспринять это как угрозу своим позициям в движении, а главное — своим религиозным идеалам, которые они надеялись, в конечном счете,

реализовать с помощью этого движения. Их ответные действия не замедлили последовать. Уже в следующем, 1902 году рав Исаак Райнес, признанный глава религиозной фракции в сионизме, созвал конференцию своих сторонников в Вильно. Эта конференция заложила организационные основы особой религиозной партии внутри сионистского движения, противостоящей усилиям секуляристов, — партии “Мизрахи”, которой со временем предстояло вырасти во всемирную организацию ортодоксальных евреев-сионистов. Программа партии исходила из Базельской сионистской программы, но включала одно, зато принципиальное дополнение: принимая сионистскую цель, она видоизменяла ее в религиозном духе: “Земля Израиля для Народа Израиля в соответствии с Торой Израиля”. Программа заявляла, что стремление еврейского народа на историческую родину не является следствием антисемитизма или бедственного положения еврейских масс; оно является в действительности следствием эмансипации, которая делает жизнь по Торе во всей ее полноте невозможной в рассеянии; именно для возвращения к жизни по Торе народ и должен вернуться в Сион.

К чести лидеров Мизрахи следует сказать, что несмотря на свою теоретическую бескомпромиссность они на практике проявили большую гибкость и готовность к сотрудничеству с основной частью сионистского движения. Это позволило им, в конечном счете, прочно утвердиться в нем, сначала в Европе, а затем и в Палестине. Но хотя они и провозглашали, что их цель — добиться, чтобы законы будущего еврейского государства в Стране Израиля были законами Торы, им не удалось привлечь к себе основную массу ортодоксального еврейства — ни в Европе, ни в Палестине.

Смерть Герцля и постепенное усиление его идеологических — и практических — оппонентов в движении привели к тому, что в 1911 году десятый сионистский конгресс принял новую резолюцию о культурной работе, призывавшую, в частности, к созданию секулярного Еврейского университета в Иерусалиме, как основы будущего палестинского “духовного центра”. Многие члены Мизрахи восприняли эту резолюцию как свидетельство полного перехода сионизма на секулярные рельсы. Они сочли дальнейшее сотрудничество с сионистами несовместимым со своими религиозными идеалами. В том же году, в ответ на резолюцию конгресса, ультраортодоксы создали в Катовицах организационную конференцию,

на которой заявили о своем выходе из Мизрахи и создании новой, антиссионистской партии — Агудат Исраэль. Поначалу руководство новой партии размещалось в Германии, где евреи-ультраортодоксы, подчеркнуто соблюдая все мельчайшие предписания еврейского Закона в своих домах, внешне еще старались как-то приспособиться к требованиям реальности в смысле языка, одежды и образования; однако после первой мировой войны центр Агуды переместился в Польшу, и партия, став подлинно массовой, одновременно круто повернула на путь полной самоизоляции от современности. Она отвергла всякое сотрудничество с сионистами и неортодоксами, объявила евреев не нацией, а исключительно и только религиозной группой, выступила против изучения иврита и провозгласила все усилия по колонизации Палестины “профанацией” Святой Земли. Было только естественно, что на этом пути Агуда очень быстро установила тесные идеологические и практические контакты с руководством старого палестинского ишува, которое вскоре стало рассматривать себя как отделение Агудат Исраэль в Стране Израиля.

Тем самым было положено начало возникновению общемирового еврейского ультраортодоксального лагеря, к которому впоследствии примкнули и другие антиссионистские группы в Европе и США. И столь же естественно было, что такое развитие событий еще более обострило религиозно-секулярный конфликт между сионизмом и Галахой вообще, между старым и новым палестинскими ишувами, в частности. Но обострение это имело свою причину и со стороны сионизма; она состояла в том характере, который приняло развитие нового ишува.

Вторая алия, хлынувшая в Палестину после подавления русской революции 1905–1907 годов и погромов начала века, решительно изменила облик нового ишува. Она положила начало росту крупных городов (в 1909 году был основан Тель-Авив), созданию современной школьной системы (в 1906 году была создана первая ивритская школа в Яффо, впоследствии превратившаяся в тель-авивскую гимназию “Герцлия”), изданию многочисленных газет и журналов; с ней в ишuve появились такие резкие противники ортодоксии как романист Хаим Бреннер и такие глашатаи новой “религии труда” как А. Д. Гордон. Под влиянием этой алии новый ишув все более приобретал черты современного секулярного общества. Однако численно он все еще уступал ишуву старому: накануне первой мировой войны новый ишув

насчитывал 25 тысяч членов, тогда как старый — около шестидесяти тысяч.

Главным “еврейским” результатом войны была декларация Бальфура, официально открывшая перспективу создания “еврейского национального очага”. Для реализации этой перспективы, по мнению сионистов, необходимо было объединение всех национальных усилий в стране. С этой целью было предложено создать общепалестинскую “Ассамблею”, которая представляла бы еврейское население страны перед мандатными властями. Именно это предложение сионистов и открыло третий раунд борьбы между религиозным и секулярным лагерями в стране. Руководство старого ишува потребовало, чтобы женщины были отстранены от участия в выборах Ассамблеи. Это не только совпадало с предписаниями Галахи, но и могло обеспечить ортодоксам численный перевес в новом учреждении. Сионисты, и по идеологическим, и по практическим соображениям, настаивали на всеобщем избирательном праве. Тогда лидеры старого ишува, не отказываясь в принципе от участия в выборах, создали собственные избирательные участки, где женщины так и не были допущены к голосованию. Ассамблее, собравшейся в октябре 1920 года, пришлось признать ортодоксальных делегатов, избранных на этих участках. Делегаты старого ишува немедленно потребовали самороспуска Ассамблеи и назначения выборов в новый представительный орган, который был бы основан “на еврейских религиозных принципах и древних еврейских традициях”. Это предложение было отвергнуто сионистским большинством. Тем не менее религиозные делегаты не покинули Ассамблею, — они хотели сохранить позиции в предстоявших впереди выборах главного раввина Палестины.

Замысел создания раввината принадлежал мандатным властям. Британская администрация всячески стремилась лишить еврейские национальные устремления юридической основы. С этой целью текст мандата подчеркивал, что евреи Палестины представляют собой не национальное сообщество, а религиозную общину, одинаковую с христианской, мусульманской и другими. Главному раввинату и отводилась роль высшего религиозного авторитета такой общины. Тем не менее лидеры нового ишува поддерживали идею создания раввината; они надеялись, что это позволит интегрировать старый ишув в общих рамках палестинского еврейства. Однако уже после нескольких первых заседаний лидеры старого ишува покинули организационную конференцию, отказа-

вшись признать право раввината рассматривать апелляции "их" верующих. Когда конференция — без их участия — все же создала главный раввинат Палестины и избрала двух (ашкеназийского и сефардского) главных раввинов, иерусалимские лидеры отказались подчиниться новым религиозным рамкам. Эти внутррелигиозные раздоры между ортодоксами и ультраортодоксами привели к тому, что в последующие годы роль и влияние главного раввината в жизни Палестины оказались весьма незначительными; очередные выборы главных раввинов не могли состояться целых двадцать лет. Тем не менее создание главного раввината сыграло свою судьбоносную роль: признав существующую в Палестине (то есть ортодоксальную) ветвь иудаизма в качестве "еврейской религии", как таковой, мандатные власти тем самым отождествили всю эту религию только с ее ортодоксальной ветвью и вручили ортодоксальным раввинам Палестины исключительное право толкования еврейского религиозного Закона. Именно отсюда протянулись нити к сегодняшней борьбе вокруг вопроса: "Кто еврей?" и другим болезненным проблемам отношений между различными направлениями современного иудаизма.

Однако причины бессилия новосозданного главного раввината были связаны не только с этими внутррелигиозными раздорами. Они в значительной мере коренились и в особенностях самого еврейского Закона, каким он стал к началу нашего века.

Все века своего существования Галаха была живым, развивающимся сводом законов, который сохранял тесную связь с практической жизнью верующих и ее постоянно изменяющимися потребностями. Поколения интерпретаторов Галахи не видели противоречия между своей деятельностью и тем фактом, что Галаха, по традиции, считается Божественным — а потому не подлежащим изменению — Откровением. Они рассматривали свои интерпретации и изменения как продолжение той "расшифровки" этого Откровения, которой занимались все предыдущие поколения талмудических мудрецов. Эта позиция нашла выражение в одном из мидрашей, где утверждалось: "Не только пророки получили свое пророчество на горе Синай, но и все мудрецы последующих поколений получили на Синае свою долю".

Французская революция и последовавшая за ней европейская эмансипация покончили с юридической изоляцией еврейских общин. Это совпало с европейской промышленной революцией, породившей невероятное множество новых форм жизни. Ситуация предъявляла радикальный вызов авторитету Галахи, и ответ на

этот вызов мог состоять лишь в столь же радикальном обновлении еврейского Закона. На сей раз, однако, галахические интерпретаторы оказались не на высоте; возможно, они ощущали, что столь быстрое и глубокое изменение Закона вообще угрожает его существованию; как бы то ни было, вместо того, чтобы принять вызов, они предпочли бороться с неизбежным и непобедимым; а потерпев поражение в этой борьбе, ушли в самоизоляцию, сосредоточившись почти исключительно на мельчайших деталях религиозного ритуала и семейного права. Галаха оказалась оторванной от реальной жизни, и ее развитие остановилось. К началу XX века она представляла собой — по крайней мере, в глазах неортодоксальной части еврейства — застывшее, мертвое, не отвечающее реальности учение. Возникновение реформистского и других ответвлений иудаизма было, в определенной мере, реакцией на этот процесс окаменения Галахи; возникновение Агудат Исраэль — другой реакцией, прямо противоположно толка.

Было бы упрощением думать, будто в рядах ортодоксии не было попыток изменить положение. Вступая на пост главного (ашкеназийского) раввина Палестины, рав Авраам Кук заявил, что сознает необходимость приспособить Галаху к новым условиям. “Еврейская юридическая система, — сказал он, — покоится на двух основах — законах и правилах. В законах мы не можем делать никаких изменений, но правила мы свободны изменять в интересах общественного блага и руководствуясь подлинно религиозными намерениями...” Но рав Кук был исключением — замечательным, но все-таки исключением из правил. Он был вообще экстраординарным явлением в ортодоксальных рядах, поскольку провозглашал, что еврейский секулярный национализм и еврейская религия не противоположны, а напротив — представляют собой две стороны “единого еврейского духа”. Поэтому, разъяснял он, даже секулярные сионисты в своей практической деятельности бессознательно воплощают “специфические ценности” этого духа и, вопреки, быть может, собственным намерениям, “утверждают то святое, что составляет сердцевину Народа Израиля”.

Несколько туманные слова рава Кука становятся более понятными, если вспомнить, что он был последовательным кабалистом. Согласно представлениям Кабалы “Божественные искры” рассеяны во всем мироздании; тем самым не существует, в принципе, такой, даже самой секулярной, сферы жизни, которая не имела

бы своего значения в общей религиозной задаче человека; задача эта — “поднимать” Божественные искры на их первоначальные места в плане Творения, чтобы восстановить исходную Божественную гармонию. Таким образом, даже самые секулярные действия оказываются “путями к исполнению Божественного замысла”. Как говорил рабби Пинхас из Кореца: “Когда Бог дал Тору, весь мир заполнился Торой, и нет ничего, что не содержало бы ее; поэтому тот, кто говорит, что Тора — это одно, а светское — это другое, тот еретик”.

Все годы своей деятельности на посту главного ашкеназийского раввина Палестины рав Кук пытался наладить контакты с сионистами и поддерживать диалог с ними. К верующим, с другой стороны, он обращался с проповедью умеренности, напоминая им, что “когда Храм был построен, в Святая Святых допускался только Первосвященник, да и то раз в год, на Йом-Кипур, и в соответствующем одеянии; но ведь во время строительства Храма туда мог войти любой рабочий, в любое время дня, в любой одежде...”.

Это была красивая и мудрая притча, но других палестинских раввинов она не убеждала. Пожалуй, единственным реальным результатом благородной деятельности рава Кука осталась созданная им (и донине существующая в Иерусалиме) знаменитая ешива, где было введено преподавание на иврите, а среди преподаваемых предметов была Библия. Традиции рава Кука до сих пор хранятся в этой ешиве, положившей начало участию верующих в Армии Оборона Израиля.

Далеко не вся вина за хронический конфликт между сионистами и ортодоксией в Палестине лежит, однако, на ортодоксии. Прибытие в страну третьей алии из России, во многом вдохновленной идеями Октябрьской революции, резко сдвинуло новый ишув в сторону воинственного атеизма. Немногочисленная по количеству, эта алия оказала едва ли не самое мощное духовное воздействие на весь ишув, принеся с собой радикально новые идеи переустройства общества и человека. Ее опорой было движение пионеров-“халуцим”, создавших в Палестине первые кибуцы, первые организации Хаганы, первые профсоюзы. И хотя эти пионеры руководствовались, в сущности, квазирелигиозной (при всей ее секулярности) идеологией, — а возможно, именно поэтому, то есть по закону отталкивания сходных зарядов, — они самым резким образом обострили извечный конфликт. С поистине религиозной страстью халуцим преобразовывали традиционные праздни-

ки в национальные фестивали, отменяли соблюдение субботы и кашрута в своих поселениях, отказывались от строительства синагог и от всяких контактов с раввином, вводили почти исключительный гражданский брак и светское образование; в сравнении с этим антирелигиозным пылом даже прежние времена борьбы первых поселенцев со старым ишувом могли показаться идиллическими. Понятно, что в этих условиях даже хорошо организованная и самоотверженная Мизрахи не могла тягаться с новым духом, подчинившим себе весь ишув, и постепенно ограничила свою деятельность, в основном, развитием системы современного религиозного образования; что же касается Агудат Исраэль и ее иерусалимского оплота, то они ушли в почти полную изоляцию, превратившись в малочисленное меньшинство, добровольно замкнувшееся в гетто среди своих собственных единоплеменников. Когда в 1926 году сионистскому палестинскому руководству в лице "Ваада Леуми" ("Национального комитета") удалось добиться от мандатных властей утверждения "квазиконституции" ишува, то несмотря на то, что она шла на значительные уступки требованиям ультраортодоксов, Агуда объявила день введения "Правил самоуправления" днем поста и траура. Самые крайние ее члены призвали официально выйти из ишува (что допускалось новыми "Правилами") и объявить себя отдельной общиной с собственным правом собирания налогов. Мандатная комиссия Лиги Наций, куда они обратились, отвергла их просьбу о выделении, но практически они на самом деле почти полностью отгородились от ишува, а быстрый рост иммиграции извне еще более уменьшил их долю в еврейском населении и, соответственно, роль в жизни страны. Это имело определенные положительные последствия: в ишуве прекратились споры из-за участия женщин в выборах и других общественных делах и улучшились отношения между Ваадам Леуми и руководством Всемирной Сионистской Организации и Еврейского Агентства (созданного для сотрудничества сионистов и несионистов в деле колонизации Палестины). Однако с четвертой алией (1932–1936 годы) религиозный лагерь в Палестине получил пополнение: в страну прибыли польские и галицийские хасиды, последователи цадиковских династий из Яблона и Коржениц, которые создали первые религиозные земледельческие поселения – Нахлат Яаков и Аводат Исраэль, а также деревню Кфар Хасидим вблизи Хайфы. В те же годы группа ортодоксальных евреев из Польши заложила земледельческое поселение к востоку от Тель-Авива, на месте древнего города Бней-Брак, ко-

торое вскоре превратилось в крупный городской религиозный центр. А в годы пятой алии (1933–1939) в Палестину иммигрировали многие ультраортодоксальные беженцы из Германии и Польши, влившиеся в ряды Агудат Исраэль.

Все это время Агуда продолжала свою яростную антиссионистскую деятельность. Ее контакты с арабскими лидерами и западными антиссионистскими (в основном, британскими) кругами привели к тому, что организатор этих контактов, адвокат и журналист Яков де Хаан, был, в конце концов, убит — как впоследствии выяснилось, членами Хаганы. Жестко антиссионистская позиция Агуды стала меняться лишь в 30-е годы, в связи с ростом нацистской угрозы и возникшей, с другой стороны, реальной перспективой раздела Палестины между арабами и евреями, предложенного комиссией Пиля. При обсуждении рекомендаций комиссии голоса в Совете мудрецов (высшем органе Агуды) разделились: раввины Прибалтики, Польши, Румынии, острее ощущавшие угрозу нацизма и необходимость спасения своих верующих, выступили за принятие рекомендаций, то есть создание хотя бы и крохотного еврейского государства; раввины Германии, Чехословакии, Венгрии и Англии были против; партия в целом, в конце концов, высказалась за создание государства, но решение это оказалось беспредметным (мандатные власти сами отказались от своей идеи), а в отношении европейских евреев — запоздалым. Если бы Агуда призвала своих сторонников в Палестину в предшествующие годы, ей, возможно, удалось бы спасти многие сотни тысяч верующих евреев от Катастрофы; теперь же ее антиссионистская политика привела к тому, что Катастрофа уничтожила основную ее базу в Европе.

Впрочем, справедливость требует сказать, что иммиграция ультраортодоксальных евреев в Палестину была не совсем простым делом. Мандатные власти выдавали лишь ограниченное количество сертификатов на въезд, которые распределялись Еврейским Агентством; понятно, что Агентство предпочитало выдавать сертификаты пионерам-халуцим, а не сторонникам Агудат-Исраэль; была, однако, одна категория лиц — так называемые “лица с самостоятельными средствами”, на допуске которых настаивали мандатные власти; именно на их долю сертификатов в страну и въезжали ультраортодоксальные евреи. С прибытием немецких ультраортодоксов был связан и организационный раскол, произошедший в Агуде в эти предвоенные годы. Когда в 1934 году делегация Центрального руководства Агуды прибыла в Иерусалим

и взяла в свои руки управление ее палестинским отделением, это вызвало возмущение многих местных членов. Группа наиболее недовольных в знак протеста вышла из Агудат Исраэль и создала свою собственную организацию, получившую название "Нетурей Карта" ("Стражи города").

Мизрахи, как одна из сионистских партий, представленная в руководстве Организации и Агентства, всегда получала свою долю сертификатов; после 1933 года она приобрела особенно много новых членов в Палестине за счет немецкой еврейской интеллигенции. Одновременно Мизрахи предпринимала попытки получить опору в быстро растущем еврейском рабочем классе Палестины. Идеи сочетания религии и производительного труда были впервые провозглашены одним из лидеров Мизрахи, рабби Иегудой бен Маймоном, еще в 1919 году; Шмуэль Ландау в 1921 году создал в Варшаве группу "Тора взавода" ("Тора и труд"); а в 1922 году в Палестине, на основе этой группы, было создано движение "А-Позль А-Мизрахи" ("Рабочий Мизрахи"), которое присоединилось к всеизраильской федерации профсоюзов, Гистадруту.

Одновременно с этим Мизрахи продолжала свои усилия по развитию собственной школьной системы, и в результате в стране накануне независимости возникли целых три системы образования: общая, рабочая и религиозная. Таким образом, когда в 1948 году было провозглашено создание государства Израиль, Ваад Леуми передал правительству нового государства налаженную систему школьного образования; но не только это. Ваад имел также политический департамент, занимавшийся отношениями с британской администрацией; департамент здравоохранения (во главе с Генриеттой Шольд), финансовый департамент и департамент местных советов. Иными словами, Ваад Леуми передал правительству новосозданного государства практически полностью подготовленную государственную структуру с прочной демократической традицией и многолетним опытом сотрудничества различных групп. Но вместе с тем он передал ему в наследство и палестинских религиозных евреев с их религиозными партиями, а также ставший уже хроническим конфликт между религиозным и сионистским государственными идеалами. Этому конфликту предстояло снова вспыхнуть в первые же месяцы существования государства Израиль, едва только на повестку дня встал неизбежный вопрос о конституции страны.

(окончание следует)

1. Итоги

Завершающая часть этого очерка не может быть опубликована без пространных разъяснений и оправданий. Ибо она является попросту последовательным, зачастую буквальным повторением части первой, разве что в ней более сжаты критические замечания и сделаны некоторые добавления касательно того, как и почему еврейский народ приобрел свой специфический характер. Я понимаю, что такой способ преподнесения материала столь же неэффективен, сколь и нехудожествен. Я искренне им доволен. Почему же я не избежал его? Ответ на этот вопрос найти не трудно, куда труднее признаться в нем. Я не сумел избавиться от следов того необычного пути, каким возникла эта книга.

По правде говоря, она была написана дважды. Первый раз — несколько лет назад, в Вене, когда я не верил в возможность ее опубликования. Я решил забросить ее, но она преследовала меня как призрак непогребенного человека, и я пошел на половинчатое решение, опубликовав две первые главы отдельно в журнале "Имаго". То были психологическое введение ко всей книге: "Моисей как египтянин" — и основанное на нем историческое эссе: "Если бы Моисей был египтянином". Все прочее, что могло бы задеть определенных людей и потому представлялось опасным, а именно — приложение теории к вопросу о происхождении монотеизма и мою трактовку религии — я отложил в сторону, полагая, что навсегда. Затем, в марте 1938 года, произошло нежиз-

Зигмунд Фрейд

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК МОИСЕЙ

(окончание,
начало с.м. №№ 54—55)

данное немецкое вторжение. Оно вынудило меня покинуть дом, но одновременно освободило от опасений, что публикация моей книги может вызвать запрещение психоанализа в той стране, где практиковать его еще было разрешено. Едва лишь я прибыл в Англию, как ощутил непреодолимый соблазн сделать свои выводы известными миру, и поэтому начал переписывать вторую часть очерка, чтобы опубликовать ее вслед за двумя первыми главами. Это естественно вынудило меня перегруппировать материал, хотя бы частично. Я однако не сумел вторично обработать всю книгу. С другой стороны, я никак не мог решиться и полностью отказаться от двух прежних публикаций и в результате пошел на компромисс, решив добавить первую часть в ее неизменном виде к переработанной второй — комбинация, которая чревата многочисленными повторениями.

Я мог бы, правда, утешить себя соображением, что поднятая мною проблема настолько нова и значительна, что — независимо даже от того, верно ли я ее излагаю, — будет не таким уж большим недостатком, если читателю придется читать о ней дважды. Некоторые вещи заслуживают повторения, да и тогда этого недостаточно. Однако, несравненно лучше все же предоставить свободной воле читателя — размышлять над проблемой или возвращаться к ней еще раз. Негоже подкреплять свои выводы, лукавым образом преподнося одну и ту же тему дважды. Идя на это, ты всего лишь обнаруживаешь свою писательскую неуклюжесть и вынужден нести за это вину. Но увы — творческий порыв не всегда следует благим намерениям автора. Бывает, что книга растет, как хочет, и порой встает перед автором как совершенно независимое и даже чуждое ему творение.

2. Народ Израиля

Коль скоро мы ясно понимаем, что предлагаемая нами процедура: извлечение из традиции только полезного и отбрасывание непригодного с тем, чтобы затем соединить отобранное в соответствии с психологической вероятностью — повторяю, коль скоро мы понимаем, что подобная процедура ни в малейшей степени не гарантирует приближения к истине, то вполне законно спросить, почему мы предпринимаем подобную попытку. В ответ я вынужден сослаться на результаты. Если мы существенно ослабим строгие ограничения, обычно накладываемые на исторические и психологические исследования, то этим можем открыть путь к уяснению проблем, и всегда-то казавшихся достойными внимания, а сейчас — в свете недавних событий — снова приковавшими его к себе. Известно, что из всех народов, населявших в древности средиземноморский бассейн, евреи, видимо, — единственные, все еще существующие под тем же именем и, вероятно, с теми же чертами. Они с беспримерной силой сопротивлялись

ударам судьбы и преследованиям, выработали специфические национальные особенности и попутно снискали себе искреннюю неприязнь всех прочих народов. Вполне естественно желание лучше понять, откуда у евреев такая сила сопротивления и как их характер связан с их судьбой.

Мы могли бы начать с одной специфической еврейской черты, которая определяет их отношение к другим людям. Нет сомнения, что евреи исключительно высокого мнения о самих себе и считают себя благороднее, выше окружающих людей, от которых они отделены, вдобавок, и многими своими обычаями. При этом они воодушевлены особой верой в жизнь, какую дает лишь тайное обладание неким бесценным даром; им присущ своего рода оптимизм. Религиозный человек назвал бы это, пожалуй, верой в Бога.

Нам известна причина такого их поведения и природа их бесценного сокровища. Они действительно считают себя избранным народом Бога; они уверены, что особенно близки к Нему, и это наполняет их гордостью и уверенностью. Вполне надежные источники говорят, что они и в эллинистические времена вели себя так же. Иными словами, еврейский характер уже тогда был таким, как сейчас, и греки, среди которых и рядом с которыми они жили, относились к этим еврейским особенностям так же, как современные их "хозяева" сегодня. Греки относились к ним так, что кажется, будто они тоже верили в ту предпочтительность, на которую претендовали сами израильтяне. Когда кто-то объявляет себя любимцем наводящего ужас отца, немудрено, что прочие братья и сестры его ревнуют. К чему ведет такая ревность, прелестно показано в еврейской легенде о Иосифе и его братьях. Но последующий ход мировой истории как будто бы оправдывает эти еврейские претензии, ибо когда позднее Бог согласился послать людям мессию и искупителя, он снова выбрал его из еврейской среды. Тут уж другие народы как будто вполне имели основания сказать: "Они действительно правы -- они избранный Богом народ". Вместо чего случилось так, что искупление через Иисуса Христа навлекло на евреев еще большую ненависть, а сами они не извлекли никакой пользы из этого вторичного доказательства своей избранности, поскольку не признали искупителя.

В силу моих предыдущих замечаний следует заключить, что именно Моисей наградил еврейский народ той особенностью, ко-

торая сыграла такую роль во всей его истории. Именно этот человек укрепил их самоуверенность, внушив им, что они избранный Богом народ; именно он объявил их святыми и наложил на них обязанность сторониться всех других. Не то, чтобы другим народам недоставало самоуверенности. Тогда, как и сейчас, каждый народ считал себя выше всех остальных. Однако благодаря Моисею самоуверенность евреев была укоренена в религии; она стала частью их религиозной веры. Благодаря особо близким отношениям со своим Богом они приобретали частицу его величия. А поскольку мы знаем, что за Богом, который избрал евреев и вывел их из Египта, стоял человек Моисей, то я отважусь сказать: именно он, этот человек Моисей, и сотворил евреев. Ему этот народ обязан своей жизненной цепкостью; но ему же он обязан той враждебностью, с которой он столкнулся и все еще сталкивается до сих пор.

3. Великий человек

Откуда же в одном-единственном человеке такая исключительная сила, что он способен создать из чуждых друг другу людей и семей е д н ы й народ, запечатлеть в нем специфический характер и определить его судьбу на грядущие тысячелетия? Не является ли такое предположение возвратом к тому образу мышления, который некогда породил мифы о сотворении мира и поклонение героям, возвратом к тем временам, когда исторические хроники ограничивались пересказом деяний и биографий немногих людей — повелителей и завоевателей? Ведь наши времена склонны, скорее, объяснять события человеческой истории более скрытыми, общими и безликими факторами — навязанными влиянием экономических обстоятельств, изменениями в пищевом рационе, прогрессом материалов и орудий, миграциями, вызванными ростом населения или переменой климата. В этих процессах отдельной личности нет иной роли, кроме как быть выразителем или представителем массовых тенденций, стремящихся к воплощению и находящих его — как бы по случаю — именно в этих личностях.

Это тоже вполне легитимный подход, хотя он и спотыкается о существенную разницу между структурой мира, которую мы пытаемся постичь, и нашим собственным образом мысли. Наша

настоятельная потребность в причинах и следствиях вполне удовлетворяется, когда каждому процессу отвечает одна единственная причина. В действительности однако внешний мир вряд ли устроен таким образом: каждое событие представляется обычно сверхобусловленным, то есть оказывается следствием нескольких налагающихся причин. Страшась бесчисленных усложнений, исследователи, как правило, выбирают какую-нибудь одну причинно-следственную цепь, отбрасывая другие, и рассуждают о противоречиях, которые не существуют в природе, а являются всего лишь следствием этого расчленения сложной структуры.

Поэтому если исследование какого-то конкретного случая демонстрирует исключительную роль в нем одной человеческой личности, не следует упрекать себя, будто принимая этот вывод, мы наносим удар доктрине безличных массовых факторов. В действительности несомненно есть место и для того, и для другого. Впрочем, в генезисе монотеизма, по правде говоря, невозможно указать другие массовые факторы, кроме названных мною, а именно — установления тесных связей между разными народами и существования великой империи.

Сохраним поэтому место для “великого человека” в этой цепи, точнее, сети важнейших причин. Согласимся также, что великий человек влияет на своих современников двояко: самой своей личностью — и той идеей, которую он выражает. Такая идея может выражать давние желания масс, или указывать их желаниям новые цели, или опять-таки увлекать их иными способами. Иногда — но это конечно самый примитивный случай — влияние может оказывать прежде всего сама личность, тогда как идея играет подчиненную роль. Зато у нас нет никаких сомнений, почему вообще появляются великие люди. Мы знаем, что огромное большинство человечества испытывает сильнейшую потребность в авторитете, которому можно было бы подчиняться, который бы господствовал и порой даже угнетал своих последователей. Психология индивидуума объясняет, откуда берется эта потребность масс. Это не что иное, как потребность в отце, которая живет в каждом из нас с детства, в том самом Отце, победой над которым похваляются герои мифов. И теперь мы начинаем понимать, что все черты, в которые мы приодеваем великого человека, это черты отца, что в этом сходстве и состоит суть великого человека. Решительность мысли, сила воли, мощь

деяний – все это черты отцовского облика; но превыше всего – вера в себя и независимость духа, та божественная уверенность великого человека в правильности своих действий, которая порой может переходить в безоглядность. Им нельзя не восхищаться, ему нельзя не верить, но невозможно избавиться и от страха перед ним. Нам следовало искать ключик в самом слове: кто еще, кроме отца, может быть “великим” для ребенка?

Вне сомнения, Моисей, снизошедший до несчастных еврейских рабов, чтобы сказать им, что они – его возлюбленные дети, был для них гигантской отцовской фигурой. И не менее величественной должна была показаться им концепция единственного, вечного, всемогущего Бога, который счел их достойными завета с Ним и обещал заботиться о них, если они будут блюсти Ему верность. Возможно, им было нелегко отделить образ этого человека Моисея от образа его Бога, и в этом они были инстинктивно правы, потому что Моисей наверняка воплотил в образе своего Бога некоторые собственные черты, – вроде вспыльчивости и неумолимости.

Но если, с одной стороны, фигура великого человека выросла до божественной, то, с другой, самое время напомнить, что и отец когда-то был ребенком. Великая религиозная идея, которую провозглашал этот человек Моисей, как я уже отмечал, не принадлежала ему; он заимствовал ее у своего царя Эхнатона. А сам Эхнатон – величие которого как основателя религии доказано вне всяких сомнений – возможно, следовал откровениям, которые – через его мать или другими путями – пришли к нему с Ближнего или Дальнего Востока.

У нас нет возможности проследить эту нить еще дальше. Но если наши рассуждения до сих пор шли правильным путем, то это означает, что идея монотеизма, наподобие бумеранга, вернулась в страну своего происхождения. Представляется бесплодным гадать, каковы заслуги того или иного индивидуума в развитии этой идеи. Несомненно, в этом развитии приняли участие и в него внесли свой вклад многие люди. С другой стороны, было бы ошибкой прервать причинную цепь на Моисее и пренебречь тем, что сделали его преемники, еврейские пророки. Монотеизм не укоренился в Египте. Та же неудача могла повториться в Израиле, когда народ повернулся к Ягве, отбросив навязанную ему неудобную и претенциозную религию. Однако в еврейской массе раз за разом появлялись люди, которые заново расцветивали живыми краска-

ми поблекшую традицию, заново возрождали память о Моисее и его требованиях и не успокаивались, пока не отвоевывали утраченные были позиции. Благодаря этому непрерывному многовековому усилию и — не в последнюю очередь — двум великим реформам, до и после вавилонского пленения, в конце концов и произошло обратное превращение народного божества Ягве в того Бога, поклонение которому Моисей некогда навязал евреям. Эта способность коллектива, позже ставшего еврейским народом, выдвинуть из своей среды столь многих людей, готовых взять на себя ношу моисеевой религии в обмен за убеждение в избранности своего народа, несомненно является свидетельством некой особой психологической структуры.

4. Прогресс духовности

Чтобы оказать длительное психологическое воздействие на коллектив, недостаточно убедить людей, что они специально избраны Богом, — нужно эту избранность подтвердить. В религии Моисея таким подтверждением был Исход; Бог — или Моисей от Его имени — не уставал напоминать об этом доказательстве Своей благосклонности. Чтобы сохранить его в памяти людей, был установлен праздник Пасхи, точнее — прежний праздник был привязан к этому воспоминанию. Но позднее Исход стал уже далеким прошлым. К этому времени знаки Божьей благосклонности были довольно скудны: судьба народа Израиля свидетельствовала, скорее, о Его неудовольствии. Мы знаем, что примитивные народы имеют обычай наказывать или даже свергать своих богов, если они не выполняют своей обязанности даровать людям победу, богатство и благополучие. Во все века так поступали с царями; тем самым подтверждается соответствие царей и богов, то есть их древнее общее происхождение. Современные народы тоже имеют привычку избавляться от своих правителей, едва лишь блеск их правления слегка затмевается неудачами, да если они к тому же сопровождаются потерей земель и богатств. Почему же народ Израиля тем крепче держался за своего Бога, чем хуже Он с ним обращался? Этот вопрос мы пока оставим открытым.

Задумается лучше, дала ли религия Моисея евреям еще что-нибудь, кроме возросшей — благодаря сознанию “избранности” —

уверенности в себе. И впрямь, нетрудно указать еще один элемент. Новая религия дала евреям также куда более грандиозное представление об их Боге, или, выражаясь более осторожно — идею более величественного Бога. Каждый, кто верил в этого Бога, соприкасался с Его величием и мог ощущать себя возвышенным. Скажем, гордость англичанина за величие Британской империи коренится в чувстве большей безопасности и защиты, которое он ощущает. Но то же самое верно и в отношении великого Бога, а поскольку человек вряд ли может претендовать на участие в Божественном управлении миром, то его гордость за величие своего Бога связана прежде всего с тем, что этот Бог именно его “выбрал”.

Но среди предписаний этого Бога есть одно, значение которого много больше, чем представляется на первый взгляд. Это запрет на изготовление подобий Бога, который по сути означает приказ поклоняться Богу незримому. Я полагаю, что в этом пункте Моисей превзошел в строгости даже религию Атона; его Бог не должен был иметь ни имени, ни облика. Этот запрет поначалу был, видимо, еще одной предосторожностью против магических ухищрений. Но будучи принят, он неизбежно должен был оказать глубокое влияние на евреев. Ибо он означал подчинение чувственных ощущений абстрактной идее; это была победа духа над чувствами, или, более строго, отказ от удовлетворения инстинктивных потребностей со всеми вытекающими отсюда психологическими последствиями.

Чтобы понять значение этого шага, следует поставить его в ряд с другими процессами аналогичного характера в развитии человеческой культуры. Самый ранний из них и, возможно, самый важный мы можем различить лишь в неясных очертаниях архаического прошлого. Только его поразительно долгое влияние заставляет нас заключить, что он действительно имел место. У наших детей, у взрослых невротиков, у примитивных племен мы обнаруживаем психический феномен, который я называю верой во “всемогущество мысли”, иными словами — переоценку того влияния, которое наши духовные способности — умственные, в данном случае — могут оказать на окружающий мир, вызывая в нем желаемые изменения. Вся магия, эта предшественница науки, в сущности основана на таком представлении. Сюда относится вся магия заклинаний, равно как и вера в могущество, связанное со знанием и произнесением некоего имени. Можно пред-

положить, что эта вера во "всемогущество мысли" была выражением чувства, некогда охватившего человечество, когда оно овладело речью и благодаря этому вступило на путь небывалого взлета интеллектуальных способностей. Именно тогда перед человечеством открылась новая область "духовного", в которой решающее значение приобрели концепции, воспоминания и умозаключения — в отличие от чисто физической активности, связанной с непосредственными восприятиями органов чувств. Это несомненно было одним из важнейших этапов становления человека.

Другой процесс, происходивший уже в более поздние времена, появляется перед нами в более ощутимой форме. Под влиянием внешних условий (которые нам нет нужды здесь проследивать) произошла смена матриархальной структуры общества патриархальной. Естественно, это повлекло за собой революцию в существующих законах. Отголосок этой революции все еще слышится в эсхилловской "Орестее". Такой поворот от матери к отцу — означал, прежде всего, еще одну победу духовного над чувственным, иными словами — еще один этап развития культуры. Ведь материнство ощутимо непосредственно, тогда как отцовство — это вывод, основанный на умозаключении и предположении.

В какой-то момент между этими двумя событиями произошло еще одно, обнаруживающее тесную связь с происхождением религии. Человек пришел к представлению о существовании неких "спиритуальных" сил, иными словами — таких, которые нельзя уловить органами чувств, в частности зрением, но которые тем не менее оказывают несомненное, даже исключительно сильное воздействие. Если верить показаниям человеческих языков, первый духовный образ возник благодаря движению воздуха, ибо само духовное начало получило свое название от дуновения ветра ("анимус", "спиритус", на иврите — "руах"). Так возникла идея "души" как некоего духовного стержня личности. Наблюдения обнаружили этот "руах" в человеческом дыхании, которое прекращается со смертью; еще и сегодня мы говорим о том, что умирающий "испустил последнее дыхание". Отныне перед человеком открылась область духов, и он принялся поспешно надевать все существующее в природе той душой, которую обнаружил в самом себе. Весь мир стал одухотворенным, и наука, появившаяся много позже, оказалась перед трудной задачей вос-

становления первичного состояния вещей — так и не покончив с ней по сей день.

Благодаря моисееву запрету, Бог был поднят на высший уровень духовности; тем самым был открыт путь к дальнейшим изменениям идеи Божества, о которых я скажу позже. Сейчас интереснее другое следствие. Прогресс духовности несомненно вел к росту человеческой уверенности в себе, к тому, что люди начинали считать себя выше тех, кто еще оставался во власти непосредственных ощущений. Мы знаем, что Моисей дал евреям гордое сознание “избранности” Богом; но дематериализовав этого Бога, он внес еще один важный вклад в тайную духовную сокровищницу народа. Впоследствии евреи сохранили эту свою склонность к духовному. Все позднейшие политические неудачи научили их ценить то единственное, что они сохранили, свои писанные хроники, как некое величайшее достояние. Не случайно сразу же после разрушения Титом Иерусалимского Храма рабби Иохннан бен Закай попросил разрешения открыть в Явне первую школу для изучения Торы. С того момента Священная Книга и ее изучение оставались тем единственным, что удерживало рассеянный народ в единстве.

Все это хорошо известно, и я хотел только подчеркнуть, что это специфически характерное для евреев развитие было инициировано именно моисеевым запретом на поклонение Богу в видимом облике.

Предпочтение, которое евреи в течение двух тысяч лет отдавали духовным начинаниям, несомненно оказало влияние на их характер; оно помогло им выстроить плотину, защищавшую их от насилия и жестокости, которые обычно торжествуют там, где идеалом является чисто физическое совершенство. Увы, гармоническое развитие физического и духовного, достигнутое греками, не было уделом евреев. В конфликте духа и плоти они отдали предпочтение тому, что имело большее культурное значение.

5. Подавление инстинктов — против их удовлетворения

Вообще говоря, вовсе не очевидно, почему прогресс духовности и подчинение ему чувственных потребностей должны способствовать росту гордости человека или народа. На первый взгляд, такая связь требует наличия определенной системы ценностей,

уже утвердившейся в сознании человека или общества. Чтобы разъяснить этот процесс, обратимся к аналогичной ситуации, которая была изучена нами в индивидуальной психологии.

Когда "Ид" предъявляет человеку некое инстинктивное требование эротического или агрессивного характера, простейшей и естественной реакцией нашего "Эго" (которое управляет мышечной иннервацией и мыслительным аппаратом) будет удовлетворение этого требования с помощью соответствующего действия. Такое удовлетворение инстинктивной потребности ощущается нами как наслаждение, тогда как ее неудовлетворение будет несомненно источником дискомфорта. Случается, однако, что Эго отказывается от удовлетворения инстинкта в силу внешних препятствий, — когда оно сознает, что требуемое действие может серьезно угрожать ему самому. Такое воздержание от удовлетворения, такое "подавление инстинктов", обусловленное внешними причинами (или, как мы говорим, подчинение "принципу реальности"), никогда не бывает приятным. Подавление инстинктов влечет за собой длительное болезненное напряжение — разве что мы ухитримся уменьшить инстинктивную потребность путем переключения энергии. Но подавление инстинктов может быть также навязано нам другими причинами, которые правильно назвать внутренними. В ходе индивидуального развития часть препятствующих сил внешнего мира превращается во внутренние, так сказать -- "интернализуется"; внутри Эго возникает определенный стандарт дозволенного поведения, который противостоит нашим инстинктивным потребностям с помощью размышлений, самокритики и системы запретов. Этот новый стандарт мы называем "Супер-Эго". Отныне Эго, прежде чем решиться на удовлетворение инстинктов, должно учесть не только внешнюю опасность, но и возражения Супер-Эго, а поэтому у него больше оснований воздержаться от такого удовлетворения. Но в то время, как подавление инстинктов по чисто внешним причинам всегда влечет за собой только дискомфорт, подавление по причинам внутренним, по требованию Супер-Эго, приносит и другой результат. Вместе с неизбежной болью оно дает и своеобразное наслаждение, так сказать — суррогат удовлетворения. Эго ощущает себя "на высоте", оно гордится отказом от удовлетворения инстинктов как неким ценным достижением. Я полагаю, что механизм этого ощущения можно объяснить. Ведь по сути Супер-Эго является попросту приемником и заместителем

лем родителей (и воспитателей), которые контролировали наши действия в первые годы жизни; оно перенимает их функции почти без перерыва. Потому-то оно и может держать Эго в подчинении и оказывать на него постоянное давление. Как и в детстве, Эго стремится сохранить любовь своего господина, а потому воспринимает его похвалу как облегчение и удовлетворение, его порицания — как угрызения совести. Когда Эго идет на жертву, отказываясь от удовлетворения инстинктов, оно ожидает награды в виде еще большей любви со стороны Супер-Эго. Сознание, что оно “заслужило” такую любовь, ощущается им как гордость. В детстве, когда внешний авторитет еще не интернализовался внутри нас в виде Супер-Эго, отношения между страхом утраты любви и требованиями инстинкта были, видимо, точно такими же. Когда из любви к родителям мы подавляли свои инстинкты, то ощущали, что взамен гарантировали себе покровительство и удовлетворение. Эти-то положительные ощущения и превратились в почти нарцисстическое чувство гордости после того, как родительский авторитет превратился в часть нашего Эго.

В чем, однако, эти рассуждения помогают понять интересующий нас процесс, а именно — рост уверенности в себе, который сопровождает прогресс духовности? На первый взгляд, обстоятельства уж очень различны. Представляется, что прогресс духовности не сопровождается ни подавлением инстинктов, ни появлением того авторитета или высшего стандарта, во имя которого приносится жертва. Впрочем, сразу же очевидно, что второе утверждение является попросту поверхностным. Роль авторитета, ради которого предпринимается болезненное усилие, в нашем случае играет великий человек, а поскольку это происходит потому, что он является суррогатом отца, нас не должно удивлять, что массовая психология отводит ему роль некоего “коллективного Супер-Эго”. Это верно и для Моисея в его отношении к еврейскому народу. Но по другим пунктам аналогия действительно обнаруживается не сразу. В самом деле, прогресс духовности означает прежде всего, что так называемые высшие интеллектуальные процессы ставятся выше непосредственных ощущений. Примером тому является решение, что отцовство важнее материнства, хотя первое не может быть подтверждено ощущениями, в отличие от второго. Другим примером является утверждение: наш Бог самый великий и могучий, потому что он невидим, как душа. Но все это весьма отличается от подавле-

ния сексуальных или агрессивных инстинктивных потребностей. Во многих случаях прогресса духовности — например, в процессе становления отцовского права — мы даже не можем указать тот авторитет, который устанавливает новую шкалу ценностей. Им не может быть Отец, поскольку он сам становится таким авторитетом лишь в результате такого процесса. Короче, мы сталкиваемся с ситуацией, когда в ходе развития человечества мир чувств постепенно подчиняется духовному миру, и человек ощущает гордость и подъем на каждой очередной стадии этого процесса, но при этом мы не знаем, почему так происходит. Еще позже сам духовный мир человека оказывается подчиненным совершенно загадочной власти веры. Провозглашается знаменитое “верую, ибо абсурдно”, и тот, кто уверовал, воспринимает свой шаг как величайшее достижение.

Не исключено, что общим для всех этих психологических этапов является нечто иное. Возможно, человек попросту решает, что высшим является то, чего труднее всего достигнуть. Тогда чувство гордости оказывается всего лишь нарциссизмом, который усилен сознанием, что он преодолел трудности.

Все эти рассуждения не очень-то плодотворны. Может показаться, что они не имеют никакой связи с нашим вопросом о происхождении еврейского национального характера. Разумеется, то, что мы уже прояснили, тоже не бесполезно. Но оказывается, что ход наших рассуждений все-таки имеет кое-какую связь с интересующей нас проблемой.

Дело в том, что религия Моисея, которая началась с запрета на изображение ее Бога, в ходе столетий действительно все более и более становилась религией подавления инстинктов. Не то, чтобы она требовала полового воздержания; тут она удовлетворялась лишь определенным ограничением сексуальной свободы. Зато сам ее Бог оказался полностью очищен от сексуальности. Он был возвышен до уровня этического идеала. А этика как раз и означает запрет на удовлетворение инстинктов. Пророки не уставали напоминать, что их Бог требует от людей справедливой и достойной жизни, иными словами — воздержания от поблажки тем склонностям, которые, по сегодняшним моральным стандартам, мы осудили бы как порочные. Самая ревностная вера в Господа объявлялась менее важной, чем выполнение этих этических требований. Таким образом, подавление инстинктов, поначалу отсутствова-

вшее в религии Моисея, постепенно начинает играть в ней ведущую роль.

Здесь уместно сделать замечание, которое поможет избежать недоразумений. Кое-кто может заявить, что это подавление инстинктов и основанная на нем этика вообще не относятся к сфере религии. Легко, однако, показать, что в действительности они растут из одного и того же корня. Уже тотемизм, первая из известных нам форм религии, содержит, и притом неустранимо, ряд законов и запретов, которые явно предусматривают подавление инстинктов. Сюда относится поклонение тотему, запрещающее убивать соответствующее животное; экзогамия (иными словами, отказ от страстного желания обладать матерями и сестрами своей орды); предоставление равных прав всем членам братского клана (то есть отказ от стремления разрешить соперничество с помощью грубой силы). Все эти правила представляют собой первые зародыши некой моральной и социальной упорядоченности. Первые два запрета действуют в том же духе, который навязывал убитый сыновьями отец; иными словами, они осуществляют его волю. Третий закон диктуется необходимостью сохранить тот новый порядок, который установился после отцовской смерти; в противном случае возврат к прежнему нетерпимому положению вещей стал бы неизбежен. Этот социальный закон отделяется от двух первых, этических, которые, можно сказать, проистекают непосредственно из религиозного контекста.

В процессе индивидуального развития каждого человека мы видим повторение этих этапов, лишь в сжатом — во времени — виде. Здесь тоже все начинается с родительского авторитета, в данном случае — авторитета всемогущего отца, который обладает властью наказывать, требует от ребенка подавления инстинктов и решает, что разрешено и что запрещено. То, что ребенок привыкает считать “хорошим” или “плохим”, позднее, когда Реальность и Супер-Эго заменяют родителей, становится “добром” и “злом” в моральном смысле. Но механизм действия этих моральных категорий по-прежнему тот же самый: подавление инстинктов благодаря присутствию внутреннего и внешнего “авторитета”, заменившего и продолжающего функцию родителей.

Любопытно в этой связи рассмотреть такую странную религиозную концепцию, как “священное”, “сакрум”. С одной сто-

роны, связь между сакральным и религиозным несомненна; все, связанное с религией, сакрально, это составляет самую суть сакральности. С другой стороны, мы знаем, как часто пытаются объявить священными определенных людей, институции или обычаи, которые не имеют ничего общего с религией. Эти попытки зачастую явно тенденциозны. В подлинно сакральном главное — это некий запрет, который тесно связан с религией. Сакральное — это нечто такое, чего нельзя касаться. Сакральный запрет имеет, как правило, очень сильную эмоциональную окраску, но лишен какого бы то ни было рационального обоснования. Почему собственно инцест, то есть совокупление с собственной дочерью или сестрой, является таким страшным сексуальным преступлением в сравнении со всеми другими сексуальными актами? Нам объясняют, что все наши чувства якобы восстают против такого поступка. Но это означает всего лишь, что запрет должен приниматься без рассуждений, что мы не знаем, как его объяснить.

Легко доказать, что предлагаемые нам "объяснения" иллюзорны. Тот самый инцест, который якобы оскорбляет все наши чувства, некогда был общепринятым обычаем, можно даже сказать — священной традицией в правящих семьях Египта и других стран. Фараоны женились прежде всего на своих сестрах, и преемники фараонов, греческие Птолемеи, без всяких колебаний следовали их примеру. Таким образом, на Востоке инцест — в данном случае, между братом и сестрой — был прерогативой, запрещенной лишь для простых смертных и зарезервированной для царей, этих богов в земном обличье. Мир греческих и германских мифов о богах и героях тоже не исключает таких инцестных связей. Можно даже предположить, что жгучая озабоченность "родословной" среди современной европейской аристократии является остатком этой древней привилегии, и мы видим, что в результате кровосмешения, продолжавшегося в высших социальных кругах многие столетия, все коронованные персоны Европы принадлежат фактически к одной семье.

Существованием инцеста богов, царей и героев опровергается и "объяснение" страха перед инцестом биологическими причинами, то есть интуитивным "пониманием" опасности кровосмешения. Если мы и сегодня не знаем в точности, существует ли такая опасность вообще, то что говорить о первобытных племенах, наложивших некогда этот запрет?

Наша реконструкция происхождения религии требует от нас

инного объяснения. Страх перед инцестом попросту служил подкреплением закона экзогамии, который отражал волю Отца и сохранился после его смерти. Именно отсюда идет сила его эмоционального влияния и невозможность рациональной мотивировки, короче — его “сакральность”. Я готов предсказать, что дальнейшие исследования других сакральных запретов дадут тот же результат: все “сакральное” первоначально было ничем иным как сохранившейся волей первобытного Отца. Такое толкование проясняет, кстати, и двусмысленность самого слова “сакральное”. Ведь “сакер” означает не только “священный”, “благословенный”, но и нечто такое, что переводится как “заклятый”, “неприкасаемый”. Двусмысленность эта отражает амбивалентность отношения сыновей к Отцу. Его воля навязывала безусловное почитание и одновременно вызывала судорожный трепет, поскольку требовала от сыновей болезненного подавления их инстинктов. Теперь мы понимаем скрытый смысл претензии Моисея, что он “освятил” свой народ, введя обычай обрезания. Обрезание — это попросту символический суррогат кастрации, то есть наказания, которым первобытный Отец в полноте своей власти угрожал сыновьям; евреи, приняв этот символический обычай, продемонстрировали, что готовы подчиниться воле Отца, хотя это и означало для них мучительную жертву. Таким образом, обрезание действительно имеет все черты “священного”, “сакрального” обычая.

Возвращаясь к этике, мы можем теперь сказать, что в то время, как часть наших заповедей вполне рационально объясняется необходимостью отделить права коллектива от прав индивидуума, права индивидуума от прав коллектива и права одного индивидуума от прав другого, все прочие этические запреты, которые представляются нам сегодня загадочными, величественными и — почти мистически — самоочевидными обязаны своим происхождением — воле отца, окаменевшей в виде религиозных предписаний.

6. Истина в религии

Как завидуем порою мы, неверующие, тем, кто убежден в существовании Высшей Силы, для которой в мире нет никаких проблем, ибо она сама этот мир создала! Насколько более все-

объемлющи, исчерпывающи и окончательны представления верующих о миропорядке в сравнении с теми трудоемкими, скудными и обрывочными попытками объяснений, на которые мы в лучшем случае способны! Не иначе, как Божественный Дух, сам по себе воплощение этического совершенства, заложил в душе такого человека знание об идеале и одновременно стремление к нему. Такой человек безошибочно знает, что считать благородным и возвышенным, а что — отвратительным и низменным. Всю свою эмоциональную жизнь он оценивает степенью приближения к желаемому идеалу. Он считает себя достойным, когда — в перигелии, так сказать — подходит к нему ближе всего; и ощущает мучительный дискомфорт, когда — в апогее — удаляется от него на самое далекое расстояние. Все для него так просто и так нерушимо предоставлено! Нам остается лишь сожалеть, что некоторые жизненные обстоятельства и научные факты делают для нас невозможным принять гипотезу о таком Высшем Существо. И словно бы в мире недостаточно проблем, мы еще вдобавок стремимся понять, каким образом те, кто верит в Божественное Существо, обрели свою веру и как эта вера возымела над ними такую власть, что заставляет их игнорировать и Разум, и Науку.

Вернемся, впрочем, к той скромной задаче, которая занимала нас до сих пор. Мы начали с того, что вознамерились объяснить, как возник тот специфический характер еврейского народа, который, по всей видимости, помог этому народу выжить. Мы обнаружили, что некий человек Моисей наделил евреев этим характером, дав им религию, которая настолько возвысила их в собственных глазах, что они сочли себя выше всех других народов. В сущности, они выжили благодаря тому, что сторонились других. Некоторое неизбежное смешение крови ничего не меняло, потому что евреев объединяло нечто идеальное — некие общие интеллектуальные и эмоциональные ценности. Моисеева религия сумела создать это единство, поскольку она а) приобщила народ к величию новой концепции Божества, б) утверждала, что евреи "избраны" этим великим Божеством и предназначены быть объектом Его особой благосклонности и в) навязала еврейскому народу веру в чисто духовного, интеллектуально, а не чувственно постигаемого Бога, то есть прогресс духовности, а это открыло путь к почитанию интеллектуальной деятельности вообще (и тем самым — к дальнейшему подавлению инстинктов).

Таковы полученные нами выводы, но хоть я и не намерен от-

казываться от чего-либо сказанного выше, я не могу не ощущать некую неудовлетворенность. Вспомним определенный пункт наших предыдущих рассуждений. Мы установили, что религия Моисея не оказала своего влияния немедленно, а действовала странным обходным способом. Было бы понятно, если бы ее воздействие потребовало просто длительного времени, пусть даже многих столетий, — ведь в конце концов речь идет о формировании национального характера. Но когда мы упоминаем “обходный способ”, то имеем в виду совсем другое уточнение, извлеченное нами из истории еврейской религии: Произошло так, что евреи на некоторое время вообще отвергли Моисееву религию (неизвестно, впрочем, — полностью или сохранив некоторые из ее предписаний). Все долгое время завоевания Ханаана и борьбы с населявшими его народами религия Ягве не очень отличалась от поклонения другим “Баалим”. Это утверждение покоится на твердой исторической почве, какие бы ни делались позже тенденциозные попытки скрыть это постыдное положение вещей. Однако Моисеева религия не исчезла абсолютно. В устной традиции народа сохранилось своего рода воспоминание о ней, некий туманный и искаженный отголосок, поддерживаемый, по всей видимости, отдельными членами жреческой касты. И вот это-то воспоминание о великом прошлом продолжало исподволь наращивать свою власть над умами евреев; постепенно оно приобрело решающую власть над воображением еврейских масс и тогда произошло превращение Бога Ягве в Бога Моисея, то есть возрождение той религии, которую Моисей провозгласил столетия назад.

Чем объяснить эту отсроченную на столетия победу традиции?

7. Возвращение подавленного

Для разъяснения поищем аналогичные процессы в нашей собственной ментальной жизни. Такие процессы существуют. Одни из них считаются патологическими, другие относятся к спектру нормальных, но это различие несущественно, поскольку границы тут не могут быть проведены совершенно строго, а механизмы в обоих случаях одни и те же. Из богатого материала, имеющегося в моем распоряжении, я выберу примеры, связанные со становлением характера.

Некая молодая девушка развивается в решительном контрасте со своей матерью; она культивирует в себе все качества, отсутствующие у матери, и избегает всего, что свойственно той. В детстве она, как и любая другая маленькая девочка, во всем подражала матери, поэтому впоследствии ей пришлось весьма энергично преодолевать эту идентификацию. Тем не менее, когда она выходит замуж и сама становится женой и матерью, она с удивлением обнаруживает, что начинает все больше и больше походить на мать, которую считала такой чуждой. В конце концов эта тождественность, которую она некогда преодолела, торжествует в ее характере снова. Аналогичный процесс происходит и с мальчиками, — даже великий Гете, который в юношеские годы явно не очень высоко чтил своего педантичного и сурового отца, в старости обнаруживал все признаки его характера. Это возвращение отвергнутого всегда тем разительней, чем ярче был исходный контраст. Я знал юношу, который был воспитан поистине недостойным и ничтожным отцом. Вопреки ему он сумел стать деятельным, надежным и уважаемым человеком. Затем, в самом расцвете жизни, его характер неожиданно и резко изменился: он стал вести себя так, словно отец стал для него образцом.

Дазно известно, что впечатления первых пяти лет жизни оказывают решающее влияние на весь наш дальнейший жизненный путь. Все последующие события тщетно борются с этим влиянием. Самые сильные стремления взрослого человека растут именно из тех переживаний и впечатлений, которые он получил ребенком, в том возрасте, когда его психика — как у нас есть все основания считать — не готова была даже их осознать.

Этот процесс последующего влияния, "проявления" ранних впечатлений можно было бы сравнить разве что с фотографированием, когда мы проявляем и превращаем в зримое изображение то, что было снято аппаратом давным-давно. Я могу привести также свидетельство писателя-фантаста, который указал на это странное обстоятельство со всей решительностью, присущей писателям такого рода. Знаменитый Гофман склонен был объяснять богатство своего писательского воображения в зрелые годы тем, что в детстве, будучи еще грудным ребенком, он несколько недель подряд путешествовал с матерью в почтовой карете и непрерывно впитывал — не понимая и не осознавая — быстро сменявшие друг друга разнообразные впечатления. То, что мы переживаем, не поняв, в первые годы жизни, мы никогда больше не

можем припомнить, разве что во сне. Только психоаналитический метод позволяет нам узнать о существовании в нас этих впечатлений. И тем не менее в любой момент более поздней жизни это скрытое в нас прошлое способно ворваться в наше сознание, с навязчивой импульсивностью продиктовать нам наши поступки, заставить полюбить или невзлюбить тех или иных людей и зачастую предопределить выбор объекта наших страстных желаний — выбор, который мы даже сами себе затрудняем рационально обосновать.

Отсюда легко перейти к механизму образования неврозов. Дело в том, что и в образовании неврозов решающую роль также играют впечатления раннего детства, но вдобавок к ним в игру на сей раз вступает еще и процесс, противостоящий этим впечатлениям — реакция подавления. Схематически это выглядит так: в результате определенного переживания возникает инстинктивная потребность, жаждущая удовлетворения. Однако Эго избегает дать такое удовлетворение инстинктам — либо потому, что парализовано избыточностью требования, либо потому что распознает в нем опасность. Эго защищается тем, что так или иначе подавляет возбуждение, загоняет его, так сказать, “в подполье”: ребенок забывает возбуждающий фактор вместе с переживаниями и ощущениями, к нему относящимися. Однако на этом дело не кончается. Инстинкт либо сохраняет свою силу, либо восстанавливает ее, либо — еще вариант — заново пробуждается в сходной ситуации. Он возобновляет свои претензии, а поскольку путь к их нормальному удовлетворению прегражден тем психическим блоком, который можно назвать “шрамом (бывшего) подавления”, то инстинкт, как правило, добивается своего в каком-нибудь другом, более уязвимом пункте. В результате этого “обходного маневра” инстинкт получает свое — но уже в виде так называемого “суррогатного удовлетворения”, не имеющего санкции Эго и им не осознаваемого. В сущности, появление этих суррогатов удовлетворения является симптомом того, что подавленный инстинкт вновь предъявил свои требования, так что весь процесс образования симптомов можно по справедливости назвать “возвращением подавленного”. Крайне существенно, однако, что на сей раз подавленное возвращается уже в “замаскированной”, то есть измененной или искаженной по сравнению с исходной, форме (ибо только в таком виде оно может обойти блоки в Эго).

Я надеюсь, что эта аналогия позволит нам полнее понять результаты, к которым приводит подавление инстинктов в ходе человеческой истории.

8. Историческая правда

Все мои психологические экскурсы имели целью сделать более убедительным тезис, что Моисеева религия оказала влияние на еврейский народ лишь после того, как вернулась в виде более или менее подавленной традиции (соответствующей у индивидуума подавленному переживанию детства). Но пока мы едва лишь сделали этот тезис более или менее вероятным. Даже если бы мне удалось его доказать, все равно останется ощущение, что мы выполнили только качественную часть нашей задачи. Во всех вопросах, связанных со становлением религии — и уж конечно становлением еврейской религии — остается нечто величественное, доселе не ухваченное никакими нашими рассуждениями. В этом процессе должны участвовать, следовательно, и какие-то иные факторы, для которых вряд ли можно указать вполне адекватные аналогии, — факторы, столь же уникальные и мощные, как сама вырастающая из них система религиозных убеждений.

Посмотрим, нельзя ли подобраться к этим факторам с обратной стороны. Мы понимаем, что первобытный человек нуждался в боге, который был бы устройтеlem мира, вожаком его орды, той силой, которая возьмет на себя заботу о нем. Поклонение такому богу постепенно вызревает в тени поклонения умершим предкам, о которых традиция все еще кое-что помнит. Человек и в более поздние времена — наше, например, — тоже остается по сути инфантильным и так же нуждается в покровительстве, даже когда считает себя совершенно взрослым; он и тогда не может отказаться от помощи своего бога. Все это бесспорно, и тем не менее трудно понять, почему этот бог должен быть Единственным и почему переход от политеизма к монотеизму представляется участвующим в нем людям событием столь грандиозного значения. Верно, мы показали выше, что верующий соучаствует в величии своего бога, и чем могущественнее этот бог, тем надежнее его покровительство. Но бог может быть могущественным, и не будучи единственным: многие народы тем более чтили своего главного бога, чем многочисленнее было семейство низших бо-

гов, над которыми он властвовал, и это его величие нисколько не уменьшалось от того, что существовали и другие боги. Кроме того, если бог один, то есть универсален и правит над всеми землями и народами, то каждый отдельный человек (или народ) неизбежно утрачивает нечто от интимной связи с ним — ведь ему приходится, так сказать, делить своего бога с чужеземцами. (Впрочем, он может компенсировать себя убеждением, что именно к нему этот бог все же более благосклонен, чем к другим). Верно также, что принятие концепции единого бога означает огромный шаг по пути духовности; но это тоже не помогает нам объяснить, чем такая концепция могла покорить умы людей поначалу.

Истинно верующий человек знает ответ на наш вопрос. Истинно верующий человек несомненно скажет, что идея единственного бога потому произвела столь грандиозное впечатление на человечество, что в ней содержалось зерно "Вечной Истины". Доселе скрытая, эта Истина наконец-то воссияла людям и в ее блеске утонуло все то, что властвовало над умами прежде. Нельзя не согласиться, что вот тут мы действительно видим, наконец, такую причину, которая, по величию соразмерна со своим следствием.

Я был бы рад принять это объяснение. Но меня останавливает следующее. Эта ссылка на неотразимую привлекательность Истины основана на оптимистических и идеалистических предположениях. На самом же деле человеческий интеллект вовсе не обнаруживает такого уж хорошего нюха на истину, да и не проявляет такой уж пылкой готовности ее принять. Напротив, весь наш прежний опыт говорит, что интеллект легко сбивается с истинного пути, сам о том не подозревая, и нет для него ничего более привлекательного, чем то, что идет навстречу его желаниям и иллюзиям (независимо от "истинности"). Вот почему приведенное объяснение нуждается в модификации. Я готов признать, что ответ верующего человека разъясняет привлекательность монотеизма, но — с поправкой: древних евреев привлекла в монотеизме не столько некая "Вечная", то есть метафизическая, Истина, сколько — истина историческая. Иными словами, я не верю в то, что именуется религиозной истиной монотеизма, то есть в существование единого и всемогущего бога, но верю в истинность праисторического факта, припомнившегося евреям при встрече с монотеизмом — того факта, что в первобытные времена действительно существовал единый Отец, Вождь, Повелитель, который был возвышен до уровня божества. Другое дело, что для возвраще-

ния в коллективную память людей эта историческая истина должна была явиться в замаскированном, ином по сравнению с исходным виде, то есть как раз в виде "религиозной истины" Моисея.

Мы уже говорили, что религия Моисея была отвергнута и частично забыта, а позднее снова вернулась в сознание народа — в виде традиции. Теперь мы можем предположить, что этот процесс сам по себе был повторением той цепи событий, которая в дни Исхода привела к принятию религии Моисея. Когда Моисей предложил евреям концепцию Единого бога, это не было для них абсолютно новой идеей, поскольку воскрешало в их памяти первобытный опыт человеческой орды. Опыт этот давно исчез из их сознательных воспоминаний, но в свое время был столь важным и произвел — или, по крайней мере, подготовил — такой грандиозный переворот в жизни первобытной орды, что оставил, иначе и думать нельзя, некий постоянный след в человеческих душах, такое же сильное "воспоминание коллективного детства", как те, которые хранит устное предание или традиция.

Как я отмечал выше, ранние переживания людей проявляются позднее в виде навязчивых привычек, хотя сами эти переживания сознательно уже не помнятся. Мне представляется, что то же самое справедливо и для самых ранних переживаний человечества в целом. Одним из результатов такого раннего переживания и было принятие евреями концепции Единого бога. Концепцию эту, несомненно, следует считать припоминанием — разумеется, искаженным, но тем не менее припоминанием. Как всякое "возвращение подавленного", оно тоже имеет навязчивый характер; ему попросту нельзя не поддаться. В той мере, в какой историческая правда в нем бессознательно искажена, видоизменена, замаскирована, это припоминание может быть названо иллюзией; но в той мере, в какой с помощью этой концепции действительно возвращается нечто из реального прошлого, она должна быть названа истинной. Ведь индивидуальные психические иллюзии тоже содержат зерно истины: сознание больного ухватывается именно за такое зерно и благодаря этому некритически принимает и всю систему иллюзий, на нем надстроенную.

Та первичная, исходная ситуация, повторением которой — через тысячелетия — было провозглашение религии Моисея, а затем — через столетия — окончательное принятие ее евреями, была реконструирована мною в 1912 году в книге "Тотем и табу". Я использовал там некоторые теоретические рассуждения Дар-

вина, Аткинсона и в особенности Робертсона Смита, объединив их с открытиями и гипотезами психоанализа. У Дарвина я заимствовал предположение, что первобытные люди изначально жили небольшими ордами, каждая такая орда находилась под властью старшего самца, который управлял ею с помощью грубой и жестокой силы, присваивал себе всех самок и подчинял или убивал всех молодых самцов, включая собственных детей. Аткинсон помог мне предположением, что патриархальная система была сокрушена восстанием сыновей, которые объединились против отца, свергли его и на совместном победном пиршестве съели его тело. Наконец, следуя тотемной теории Робертсона Смита, я предположил, что структуру первичной орды, в которой властвовал один вожак-Отец, сменила структура тотемистского клана братьев. Чтобы ужиться друг с другом, братья-победители должны были отказаться от тех женщин орды, ради которых, фактически, убили отца, и согласиться ввести экзогамию, то есть "брак на стороне". После свержения власти Отца семьи управлялись матриархально. Но Отец и его воля не исчезли окончательно: Отец заменило некое животное, провозглашенное тотемом-покровителем клана; оно символизировало собой Предка (или предков вообще), служило духом-хранителем клана и его запрещено было касаться или убивать. Однако раз в году весь клан собирался на совместное пиршество, во время которого "сакральное" тотемное животное разрывали на куски и пожирали. От участия в таком пиршестве никто не мог отказаться, ибо оно было не чем иным, как символическим повторением того самого отцеубийства, с которого начались все новые социальные законы, моральные заповеди и тотемистская религия. (Кстати, поразительное соответствие между этим пиршеством, как оно описано у Робертсона Смита, и гораздо более поздним обрядом христианского причастия удивляло уже многих авторов до меня.)

Я и сейчас продолжаю придерживаться изложенного выше хода мысли. Меня неоднократно — и яростно — обвиняли в том, что я не внес никаких изменений в более поздние издания книги несмотря на то, что последующее поколение этнологов, как один, отказалось от теории Робертсона Смита и заменило ее другими, радикально отличными. На это я могу повторить, что все эти новые теории мне хорошо известны. Я просто не убежден в их правоте или в ошибочности теории Смита. Противоречия не всегда

ведут к отбрасыванию старых гипотез, равно как и новизна не всегда гарантирует научный прогресс. А кроме того, я ведь не этнолог, а психоаналитик. Поэтому я вправе выбирать из этнологических данных те, которые способны послужить моим психоаналитическим целям. Труды высокоодаренного Робертсона Смита позволили мне некогда нащупать весьма ценные точки контакта этнографии и истории с материалом психоаналитических данных. Увы, я не могу сказать этого о трудах его оппонентов.

9. Историческое развитие

Я не могу воспроизводить здесь все содержание "Тотема и табу", но считаю необходимым несколько задержаться на том долгом периоде, который отделяет события, которые, по моему убеждению, произошли в первобытные времена, от момента торжества монотеизма — уже в исторически известное время. После победы братского клана и установления матриархата, экзогамии и тотемизма начался процесс, который точнее всего описать как медленное "возвращение подавленного материала" в коллективную память. Термин "подавленное" я употребляю здесь не в его строгом техническом смысле. Я понимаю под ним в данном случае просто нечто, произошедшее в прошлом человечества, но стершееся и преодоленное в жизни последующих поколений, и именно этим подобное "подавленному материалу" в психической жизни отдельного индивидуума. Мы не знаем, в какой психологической форме это прошлое сохраняется в коллективной памяти, пока его покрывает мрак. Не так-то легко перевести понятия индивидуальной психологии на язык психологии масс, и я не думаю, что такой перевод легче будет сделать, если мы введем концепцию "коллективного бессознательного" — ведь, фактически, содержание всего, что бессознательно, и так в той или иной мере коллективно, то есть принадлежит человечеству в целом. Поэтому нам лучше рассчитывать на помощь аналогий. Процессы в жизни народов, которые мы анализируем здесь, действительно сходны с теми, которые известны из индивидуальной психопатологии, но все же не вполне идентичны. Точнее было бы думать, что ментальный остаток тех первобытных времен превратился в некое коллективное психическое наследие, кото-

рое легко могло пробудиться в любом следующем поколении, даже и без повторения соответствующих событий. Такой ментальный остаток сходен, к примеру, с речевой способностью, которая присутствует у каждого ребенка без всякого специального обучения и наверняка является врожденной и одинаковой у всех народов, несмотря на различие их языков.

Возвращение подавленного происходит постепенно и все же наверняка не спонтанно, а под влиянием определенных стимулов. С течением времени патриархат восстанавливается: отец снова становится главой рода, но теперь он уже не так всемогущ, как вождь первобытной орды. Пройдя ряд последовательных и очевидных промежуточных этапов, тотем постепенно вытесняется подлинным божеством. Это божество, имеющее уже антропоморфный облик, поначалу все же сохраняет еще голову тотемного животного; позднее оно может время от времени превращаться в это животное (как в греческих мифах Зевс время от времени принимает облик быка). Еще позже бывшее тотемное животное становится попросту постоянным спутником данного божества и в этом качестве объявляется "сакральным", священным; порой миф приписывает божеству победу в бою с этим животным, — именно так в мифах на этой ранней стадии обожествления появляется фигура героя. Идея божества, как Высшего Существа, по-видимому, возникает очень рано, но поначалу она еще весьма туманна и лишена всякой связи с насущными потребностями человечества. По мере того, как племена и народы объединяются во все более широкие коллективы, их божества тоже организуются в семьи и иерархии. Часто одно из них возвышается до уровня повелителя всех других богов. Естественный следующий шаг — поклонение одному-единственному богу — совершается поначалу нерешительно и на ощупь, пока, в конце концов, не складывается решение передать всю власть одному богу и не терпеть больше рядом с ним никаких других. Но это решение восстанавливает — в облике единого бога — все величие первобытного Отца; поэтому по отношению к этому богу люди снова ощущают те эмоции, которые их предки некогда ощущали по отношению к первобытному Вождю орды — трепет и страх. Вот почему первым результатом воссоединения с тем, кого люди так давно утратили и так долго искали, становится экстатическое ошеломление — в точности, как это описано в истории дарования Закона на горе Синай. Трепетный восторг, молитвенное преклонение и бурная благодарность

за вновь обещанное покровительство — религия Моисея поначалу знает только эти, позитивные чувства по отношению к божественному Отцу. Убежденность евреев в Его всесилиии, их подчинение Его воле были на первой стадии столь же абсолютны, как у беспомощного, угнетенного сына по отношению к отцу-вожаку в первобытной орде; и действительно, эти эмоции можно полностью понять, только предположив, что народ снова обратился в примитивную и инфантильную орду. Инфантильные эмоции вообще намного сильнее и неистощимо глубже, чем чувства взрослых; только религиозный экстаз способен возродить эту интенсивность. Таким образом, перенос молитвенного преклонения на Единого бога был попросту естественной первой реакцией на возвращение Великого Отца.

С этого момента дальнейшее направление развития этой отцовской религии было предопределено навсегда, — но само развитие еще не закончилось. Ведь суть отношений между отцом и сыном — в их амбивалентности; поэтому с ходом времени у евреев неизбежно должна была возникнуть такая же враждебность к своему богу, какая в первобытные времена побудила сыновей убить своего отца. В самой религии Моисея нет места для прямого выражения этой убийственной ненависти к отцу. Обнаружиться могла лишь сильнейшая реакция на такую ненависть — в виде чувства вины, вызванного, несомненно, ощущением своей скрытой враждебности к богу, но принявшей форму "угрызений совести" — из-за того, якобы, что "грешешь" и будешь "грешить" против Его заповедей. Пророки не замедлили подхватить и использовать это чувство, непрестанно напоминая евреям о их "греховности", и постепенно сознание неизбывной "вины", некоего "первородного греха" стало органической составной частью самой религиозной системы. Надо заметить, что одновременно действовал и другой, уже чисто внешний фактор, который тоже усиливал в евреях ощущение их "вины", в то же время маскируя от них его истинное происхождение. Народ переживал тяжелые времена; надежды на покровительство могущественного бога, посеянные Моисеем, не спешили исполниться; становилось все труднее сохранять самую дорогую из иллюзий — веру в свою уникальную избранность. Чтобы сохранить эту веру, евреям нужно было как-то объяснить себе Господню суровость; наилучшим таким объяснением как раз и была собственная "вина" и "греховность": они-

де сами не заслужили лучшей участи, потому что не соблюдали Его законов. Потребность успокоить это чувство вины — потребность, идущая изнутри и потому ненасытимая — толкала евреев к тому, чтобы взваливать на себя все более и более жесткие, требовательные и одновременно все более детализированные и мелочные религиозные предписания. Тем самым они незаметно переходили к моральному аскетизму, навязывая себе постоянно растущее подавление инстинктов. Конечным результатом этого процесса было то, что евреи достигли — по крайней мере, в догме и ее предписаниях — таких этических высот, какие были недостижимы для других народов античности. Многие евреи и поныне считают эти этические устремления второй главной особенностью и вторым — после монотеизма — главным достижением своей религии. Наш анализ имел целью показать, как эта особенность связана с первой — с концепцией одного-единственного бога. Вся еврейская этика, наложившая такой отпечаток на еврейский национальный характер, выросла из чувства вины, вызванного подавленной враждебностью к Единому богу — этому суррогату первобытного Отца.

Дальнейшее развитие монотеистической религии выходит за рамки собственно еврейской истории. Грандиозная драма, некогда разыгравшаяся вокруг первобытного Отца, содержала и другие элементы, которые вернулись в коллективную память вместе с самим Отцом, воплощенным в фигуре Единого бога. Эти элементы не смогли быть включены в моисееву религию, но они вошли в сознание, и в результате среди всех средиземноморских народов того времени, ставших свидетелями "возвращения Отца", широко разлилось тревожное и мучительное чувство некоей вины, порождавшей предчувствие надвигающейся беды, подлинной причины которой никто не понимал. Современная история говорит об "одряхлении" античной культуры. Я готов согласиться, что такое одряхление тоже играло определенную роль в ряду причин, породивших чувство удрученности и потребность избавиться от него, господствовавшие тогда среди людей. Избавление это пришло опять-таки от евреев. Хотя сырье для спасительной идеи вполне можно было почерпнуть из разных (в том числе греческих) источников, потребовался тем не менее чисто еврейский ум — Саула из Тарсиса, которого в римском гражданстве звали Павлом, — чтобы забрезжило понимание: "Мы несчастливы потому, что некогда убили Отца (то есть бога)".

Теперь нам совершенно ясно, почему путь к избавлению должен был предстать Павлу именно и только в иллюзорной форме, которая и запечатлелась в якобы полученном им благовестии: "Мы можем избавиться от всякой вины, если один из нас отдаст жизнь, а не искупление". В этой формулировке убийство Отца, как источник вины, не упоминалось (речь шла, скорее, о туманном "первородном грехе"), но понятно, что преступление, которое под силу искупить только жертвенной смертью, может быть лишь убийством. Дополнительную связь между религиозной иллюзией (искупление "первородного греха") и исторической истиной (искупление убийства Отца) помог установить второй тезис Павла, — что ритуальной жертвой был "Сын бога". Вернувшиеся в коллективную память воспоминания об исторической действительности первобытного прошлого придали новой вере необычайную психологическую убедительность, то есть все достоинства "Истины"; это помогло ей преодолеть все препятствия на своем пути; а взамен восхитительного еврейского чувства избранности она могла предложить людям освобождение от амбивалентности через веру в искупление своего греха перед Отцом с помощью жертвы Сына.

"Первородный грех" и его искупление с помощью жертвенной смерти стали основами новой религиозной системы, созданной Павлом. Вопрос, существовал ли реально инициатор убийства первобытного Отца, некогда поднявший и возглавивший восстание сыновей против него, или эта фигура была лишь позднее создана воображением какого-либо древнего сказителя, отождествившего себя с этим вымышленным героем, нам придется оставить, видимо, без ответа. После того, как христианская доктрина прорвала границы иудаизма, она включила в себя элементы из многочисленных других источников, восприняла детали других средиземноморских ритуалов и отказалась от многих черт чистого монотеизма. Казалось, будто древний Египет восстал из пепла, чтобы отомстить наследникам Эхнатона. Примечателен однако способ, которым новая религия преобразовала древнюю амбивалентность отношений отца и сына. Разумеется, ее основная идея сводилась к примирению с богом-Отцом — за счет "искупления" совершенного против него преступления; но изнанка этих отношений, то есть неустранимый аспект соперничества с Отцом, тоже нашла в ней свое выражение, воплотившись в фигуре Сына, который взял грех на свои

плечи. В результате Сын стал Богом рядом с Отцом, а по существу — вместо Отца. Будучи первоначально религией Отца, христианство постепенно превратилось в религию Сына. Своего изначально завещанного ей историей предназначения — свергнуть Отца — оно не смогло избежать.

Лишь часть еврейского народа приняла новую доктрину. Те, кто отверг ее, до сих пор называются евреями. Этим решением они еще более резко, чем раньше, отделили себя от остального мира. Им пришлось услышать от нового религиозного сообщества (которое, помимо обратившихся евреев, включало египтян, греков, сирийцев, римлян, а под конец и тевтонов) обвинения в том, что они, евреи, убили нового бога. В действительности в своей очищенной от бессознательных искажений форме это обвинение должно было бы звучать так: "Они не хотят признать, что некогда участвовали в убийстве Отца, тогда как мы это признали и, принеся в жертву Сына, очистились от греха". В такой форме легче увидеть, какая правда стоит за этим обвинением. Почему евреи не захотели участвовать в том прогрессе, который начался с этого, пусть и деформированного, замаскированного признания христиан в убийстве Отца, — это вопрос, достойный особого исследования. Но из-за этого им пришлось, так сказать, "взять на себя" трагическую изначальную вину всего человечества. Им предстояло дорого за это расплатиться.

Я надеюсь, что наш анализ все же пролил некоторый свет на вопрос о том, каким образом еврейский народ приобрел те особенности, которые его отличают. Вопрос о том, как этот народ ухитрился сохраниться по сей день в виде единого целого, оказался более трудным орешком. Но неразумно было бы ожидать или требовать исчерпывающего разрешения всех подобных исторических загадок. Все, что я могу предложить, — лишь свой скромный вклад и к тому же такой, который надлежит оценивать с учетом упомянутых вначале суровых ограничений.

Загадка Фрейда

(послесловие)

Появление "Моисея и монотеизма" (названного в нашем переводе, согласно первоначальному намерению Фрейда, "Этот человек Моисей") вызвало, как и ожидал автор, бурю упреков и возражений. Возражения шли, главным образом, из лагеря специалистов. Историки оспаривали гипотезу

Фрейда о египетском происхождении Моисея и ряд других положений книги; биологи атаковали — высказанную более осторожно — гипотезу о генетическом наследовании коллективной памяти народа. Забегая вперед, скажем, что книга, в конечном счете, лучше устояла против историков; многие ее положения приняты сегодняшней исторической наукой, чего нельзя сказать о гипотезе наследования “коллективного подсознательного”, которая сегодняшней биологией по-прежнему не признается.

Упреки приходekali, в основном, из еврейского лагеря. Как и опасался Фрейд, евреи были скандализированы “историческим романом о Моисее”. Именно в предвидении этой реакции он столько оправдывался в своих странных — и пространных — предисловиях к книге; но достиг этим, скорее, прямо противоположного результата; все внимание читателей сосредоточилось именно на той дерзости, в которой автор так настойчиво оправдывался. В результате “Моисей и монотеизм” остался в памяти своего и следующих еврейских поколений прежде всего — а иногда и исключительно, — как книга, “в которой доказывается, что Моисей не был евреем...” Существует огромное множество людей, никогда и не бравших ее в руки (или не дочитавших до середины) и тем не менее простодушно уверенных, что они знают, “о чем там речь”: конечно же, о том, что Моисей был египтянином...

Такое “прочтение” книги породило столь же простодушные попытки “защитить” Фрейда от критики — например, утверждая, что поскольку Моисей не был евреем, то евреи, убившие его, неповинны в убийстве своего “отца”, равно как и в “изобретении” монотеизма. Внимательный читатель, давший себе труд последовать за Фрейдом вдоль всей цепи его рассуждений, не может не заметить, что все эти “оправдания” — как, впрочем, и обвинения — прежде всего беспредметны. Моисей мог быть кем угодно, евреем или египтянином, это не меняет той сути дела, которая более всего интересовала Фрейда, а именно — драмы религиозной идеи. С точки зрения этой драмы существенно лишь то, что в ее начале наличествовал “первый акт”, в котором некие “сыновья” убивали некоего “отца”; был то действительно отец или пришлый отчим, важно куда меньше, чем то, что он в о с п р и н и м а л с я к а к о т е ц , ибо только в этом случае мог быть запущен в ход весь тот сложный историко-психологический механизм становления монотеизма, прослеживанию которого в действительности посвящена книга. Не случайно сам Фрейд писал Арнольду Цвейгу: “...все покоится на третьей части, ибо она содержит теорию религии, которая, не будучи новой для меня самого после “Тотема и табу”, несомненно покажется новой и ошеломительной для непосвященных...”

Увы, даже “толкователи” книги Фрейда, во множестве появившиеся у нее наряду с обвинителями и защитниками, не дали себе труда вчитаться в эту “теорию” — их внимание тоже сосредоточилось, прежде всего, на толковании злополучной “Моисеевой проблемы”. Толкования эти, сами опирающиеся преимущественно на психоаналитические методы, тяготеют, как правило, к двум крайним разновидностям — “объективной” и “субъективной”. Крайности, как известно, сходятся, что верно и в данном случае: и “объективно-психоаналитическая”, и “субъективно-психоаналитическая” трактовки книги сходятся в том, что она представляет собой з а ш и ф р о -

в а н н ы й т е к с т . Первая, однако, утверждает, что в ней зашифрован, так сказать, "еврейский роман" Фрейда, тогда как вторая настаивает, что это — "роман семейный".

Примером толкований первого рода может служить книга еврейского психоаналитика и религиоведа Давида Бакана "Зигмунд Фрейд и еврейская мистическая традиция". Бакан исходит из того, что такой "громадный материк знаний", как психоанализ, мог возникнуть только на основе "мощной культурной традиции"; традицией этой, по его глубокому убеждению, является е в р е й с к и й м и с т и ц и з м , запечатленный в учении кабалистов и хасидизма. Неважно, что Фрейд всю жизнь недвусмысленно подчеркивал свою полную "иррелигиозность" и настаивал на своей враждебности "мистическим увлечениям"; Бакан объявляет эти его заявления сознательной "маскировкой", продиктованной боязнью антисемитизма. В действительности, рассуждает Бакан, поскольку отец Фрейда был из Галиции, где все "пропитано" идеями кабалистов и хасидов; поскольку в Вене даже в конце XIX века влияние этих идей в еврейской среде было велико; поскольку духовная биография Фрейда формировалась в интенсивном общении с доктором Флиссом, известным своим увлечением Кабалой, Фрейд "не мог не знать еврейскую мистику". Доказательства? Пожалуйста. Кабала говорит о существовании двух миров — "видимого" и "божественного"; и Фрейд говорит о двух мирах — сознания и подсознания; Кабала связывает познание с сексом (Адам "познал" Еву и одновременно "познал" божественную мудрость), и в теориях Фрейда сексуальные мотивы лежат в основе Эдипова комплекса, а к чему стремится Эдип, как не к тому, чтобы "познать" загадку загадок — тайну человеческого происхождения и судьбы (вспомним встречу со Сфинксом)?!

Но Фрейд, продолжает Бакан, был не просто современным кабалистом на рациональный лад; он был кабалистом особого рода — продолжателем дела великих "еретиков" Сабатая Цви и Якова Франка. Эти два человека, возглавившие в семнадцатом-восемнадцатом веках массовые мессианские движения еврейского народа, в конце концов отреклись от Моисеева закона, чтобы принести людям "освобождение" (Сабатай кончил переходом в мусульманство, Франк — переходом в католичество); тем самым они доказали, что для избавления евреев от страданий и шире — для преодоления зла в мире — "мессия" должен спуститься в самые мрачные духовные глубины, где это зло таится, не страшась даже, если потребуется, отказаться ради этого от веры предков. Рассмотрим в этом плане "Моисей и монотеизм", говорит Бакан; только скрытым сабатаянством Фрейда можно объяснить, почему он так настаивает на египетском происхождении Моисея, хотя эта гипотеза вроде бы не нужна ему для дальнейших "научных" рассуждений. Фрейд, утверждает Бакан, сознательно хочет проделать с Моисеем в теории то, что проделали с собой Сабатай Цви и Франк на практике, — превратить его в нееврея, чтобы таким способом отвергнуть Моисеев закон. Тезис Фрейда об убийстве Моисея евреями следует понимать как намек на "убийство" (в духовном, идейном плане) Моисея — Фрейдом; Моисеев закон Фрейд заменяет своим психоанализом, который должен "освободить" людей. А чтобы их не мучила вина за "убийство", он превращает Моисея в "пришлого отчима". Таким образом, заменяя Моисеев

закон, лежащий в основе всей иудеохристианской цивилизации, психоанализом, Фрейд предлагает новый вариант "мессианского освобождения" человечества; по сути, он в глубине души считает себя "мессией", подобным Сабатаю Цви. Как и он, Фрейд спустился в мрачные глубины подсознания, где обитает аморальность и агрессия, сексуальные импульсы и подавленные страсти; но в отличие от Сабата, который трактовал эти владения Дьявола в религиозно-кабалистических терминах, Фрейд толкует их в терминах рационалистической науки. Он видит себя призванным помочь "злу" прорваться в человеческое сознание; только в результате такого прорыва, осознания своего "зла", человек способен "дистанцироваться" от него и тем самым — освободиться. Так "союз со Злом", подобно религиозному отступничеству в сабатеянстве и франкизме, приводит к духовному освобождению и оборачивается лечением для отчаявшегося человечества. Короче, заключает Бакан, книга Фрейда доказывает существование тайного "романа Фрейда с еврейской религией"; она представляет собой замаскированный перевод главных идей еврейской мистики (в их сабатеянском варианте) на язык современной секуляризованной науки; это — секуляризованная Кабала. Подобно Сабатаю, Фрейд отпускает евреям — на сей раз ассимилированным, нерелигиозным евреям — их грехи перед "Законом", чтобы облегчить им переход к "мессианским временам" — к секуляризованной действительности XX века.

С р а в н е н и е роли Фрейда с ролью Сабата Цви еще можно было бы, при достаточном желании, принять, будь оно художественным тропом; но как научное т о л к о в а н и е оно, конечно, не выдерживает критики. При определенной живости воображения можно найти аналогии между чем угодно и чем угодно, особенно — если при этом полностью пренебрегать принципиальными различиями. Противник Бакана из рядов "субъективно-психоаналитических" толкователей, английский автор Марта Роберт справедливо замечает в этой связи: "Он (Бакан) имеет склонность полностью игнорировать убеждения автора, как будто тот факт, что Фрейд первым открыл скрытые мотивы человеческих высказываний, дает право пренебрегать высказываниями самого Фрейда и искать за ними только "скрытые" их мотивы..." К сожалению, сама Марта Роберт в своем исследовании "От Эдипа к Моисею" грешит тем же увлечением "скрытыми мотивами", пожалуй, не меньше, чем Бакан. Ее подход может служить типичной иллюстрацией уже упоминавшейся "второй крайности" — трактовки книги Фрейда как зашифрованного изложения его "семейного романа".

В отличие от Бакана, Марта Роберт не считает Фрейда "тайным сабатеянцем" или "франкистом", но сразу же напоминает о том, что он всю жизнь "спокойно и гордо" принимал свое еврейство, как некое фундаментальное свойство: "Мы с вами, — писал он родственнице, — оба евреи и знаем, что нас объединяет то чудесное общее, что — не поддаваясь никакому анализу — делает человека евреем". В то же время Фрейд считал себя человеком западной культуры и признавался в необоримом влечении к ней. Было бы, однако, неправильно думать, продолжает Роберт, будто это спокойное признание себя "человеком двух миров" далось Фрейду легко. Кафка был прав, когда писал (имея в виду не только себя, но и многих других современных ему евреев, наверняка включая Фрейда), что "тот отцовский ком-

плекс, из которого многие евреи черпают духовную пищу, относится не к реальному отцу, а к отцовскому иудаизму: они хотели бы порвать с ним, но их задние ноги вязнут в нем, а передние не могут найти новую опору...” Все творчество Фрейда, провозглашает Марта Роберт, описывало круги вокруг одной идеи — убийства отца; вершиной этого “патрицида” стала драма, иносказательно описанная в “Моисее и монотеизме”.

Доказательством верности такого прочтения “Моисея” Роберт считает признания, рассеянные в другой книге Фрейда — “Толкование сновидений”. Написанная вскоре после смерти отца и во многом содержащая результаты анализа навеянных этим собственных снов Фрейда, эта книга, по мнению Роберта, доказывает, что Фрейд испытывал амбивалентное, включающее и любовь, и ненависть, отношение к своему отцу и скрытое желание быть сыном кого-то другого — какого-нибудь знатного нееврея. В поисках причин этих затаенных желаний Фрейд поначалу возлагал вину на самого отца, пока в какой-то момент анализа у него не сверкнула догадка, что источник всегда лежит в “сыне” — в его детской сексуальной ревности (которая и получила позднее название “комплекса Эдипа”). Открытие Фрейда превращало его собственную двойственность в отношении к своему отцу в универсальную человеческую характеристику, а это позволяло ему более не стыдиться себя; последующее “спокойное” признание им своей принадлежности к двум мирам было следствием осознания, что двойственность — вообще неотъемлемая черта любого человека. Однако Фрейд никак не мог до конца примириться с существованием в собственной душе “патрицидных наклонностей”; поэтому всякий раз, когда при исследовании генезиса религии ему приходилось говорить об “убийстве Отца”, он испытывал мучительные колебания между желанием ученого опубликовать свои результаты и потребностью “сына” их скрыть. Это объясняет все его извинения в книге. Почему, однако, он все же вернулся именно к этой теме и именно в последней своей книге? Разгадка, по мнению Роберта, таится в подзаголовке “роман”. Фрейд не случайно называл “Моисей и монотеизм” своим “завещанием”: он не хотел уходить из жизни, говорит Роберт, не создав роман о ней, о пройденном им духовном пути. Именно с в о й п у т ь , а не путь религии Моисея, считает исследовательница, Фрейд в действительности “зашифровал” в этой книге. Именно этой скрытой биографичностью объясняется принятый в ней, странный для ученого метод отбрасывания тех фактов истории, которые “не согласуются с сюжетом”: это вполне закономерно в исповеди, где “правда” является не исторической, а психологической. Провозгласив, что он хочет написать — или “объяснить” — историю “еврея вообще”, Фрейд на самом деле написал историю одного еврея — Зигмунда Фрейда. И если в “Толковании сновидений” он “освободился” от двойственности отношения к собственному отцу, превратив этого отца в “универсального”, то в последней книге, утверждает Роберт, он хочет освободиться от любого отца вообще, чтобы утвердить свою уникальную индивидуальность. Отец, происхождение, имя, раса — все это ограничивает индивидуальность человека; все это нужно отбросить; поэтому Фрейд и объявляет Моисея — не евреем, его религию — не еврейской: он, по существу, рвет все связи с прошлым — по крову, по расе, по вере предков. В этом он поступает, как сам Моисей; и если тот породил новый народ, то Фрейд, заключает Марта

Роберт, чувствует себя теперь призванным "породить" новое человечество, в котором человек преодолевает вечную двойственность, объявляя себя принадлежащим всему миру.

Не трудно видеть, что все эти изобретательные толкователи не так уж далеко ушли от самых простодушных читателей: и те, и другие одинаково останавливаются на подступах к книге, ограничиваясь, по существу, ее сюжетной завязкой. Представляется, однако, что книга, которую сам Фрейд называл своим "завещанием", заслуживает хотя бы того, чтобы быть прочитанной полностью и "on the face value", то есть "такой, как она есть". Такое прочтение позволяет понять ее истинное содержание, которое оказывается куда сложнее и значимее самых хитроумных "толкований".

Особенность "Моисея и монотеизма" состоит в том, что сюжетная последовательность книги не совпадает с ее логической последовательностью. Если "за текстом" Фрейда что и "скрыто", то это именно тот ход логических рассуждений, который приводит его к гипотезам, кажущимся столь необоснованными "сюжетно". Восстановим поэтому в памяти сюжетную канву; это тем более полезно, что при первом чтении она может показаться затемненной многочисленными отступлениями и повторениями.

Фрейд начинает с гипотезы о Моисее-египтянине, "доказывая" ее анализом его имени и мифа о его рождении; далее следует рассказ о религиозной революции Эхнатона, анализ внесенных в нее Моисеем изменений и история принятия этой религии евреями. Утверждается, что во время странствий по пустыне евреи, не выдержав суровости новой религии, взбунтовались и убили Моисея; затем, в оазисе Кадеш, произошло принятие компромиссной религиозной идеи — культа вулканического божества Ягве, в почитании которого объединились различные части народа. Однако воспоминание о Моисее и его религии сохранилось в коллективном подсознании; унаследованное пророками, оно легло в основу их проповеди, что, в конце концов, привело к повторному становлению моисеева монотеизма — на сей раз как окончательной формы еврейской религии. Такое "возвращение подавленного материала" из глубин подсознательной памяти объясняется, по Фрейду, механизмом, сходным с образованием индивидуальных неврозов; в истории первобытной человеческой орды уже имело место аналогичное событие с теми же последствиями — убийство молодыми самцами вожака-"отца"; убийство Моисея — воспроизведение этой первобытной истории. Поэтому можно сказать, что религия — это невроз человечества. В ее основе тоже скрыта некая реальная "правда" о прошлом. Раз возникнув, религия производит глубокое воздействие на характер народа: она вносит в еврейское сознание идею "избранности", которая оказывает решающее влияние на судьбу еврейства; она намечает движение евреев в сторону подавления инстинктов и прогресса духовности. Все это происходит в результате деятельности Моисея, и поэтому справедливо утверждение, что "этот человек Моисей" и был тем, кто сделал евреев такими, какими они являются. В их отношении к нему всегда сохранялась двойственность преклонения и ненависти; они испытывали чувство вины, подсознательно помня о его убийстве; и стремление избавиться от этого чувства привело, в конце концов, к расщеплению религиозной идеи: евреи попытались избыть вину с помощью все более строгого следования моисе-

еву закону и его этическим предписаниям, тогда как христиане, под влиянием концепций Павла, нашли выход в "искуплении вины" посредством "жертвы сына". Выбор, совершенный евреями, обрек их на ту историческую судьбу, которая нам известна.

Если мы обратимся теперь к л о г и ч е с к о й последовательности размышлений Фрейда (запечатленной, в частности, в его предшествующих работах), то увидим, что она развивалась совсем иным путем. Анализируя подсознание (свое собственное и каждого человека вообще), Фрейд вскрыл существование в нем инцестных (кровосмесительных) наклонностей, имеющих универсальную распространенность. Обратившись к анализу древних мифов и легенд, он увидел там аналогичные мотивы. Это привело его к основополагающей культурной идее: то, что переживало человечество на архаических стадиях истории, каждый человек переживает в ходе своего взросления. Иными словами, психологический онтогенез повторяет культурно-исторический филогенез и может служить орудием его исследования. Первым применением такого орудия стало исследование тотемизма.

В системе табу, которыми, по-видимому, управлялась древнейшая орда, Фрейд обнаруживает два главных запрета — на убийство тотемного животного и на инцест, то есть сексуальные отношения с членами того же тотемного клана. Это два разных запрета: первый касается отношений каждого члена клана с общим тотемом, второй — отношений между различными членами клана. Со временем из первого вырастает религия, из второго — социальное законодательство, первым образцом которого, считает Фрейд, были законы экзогамии (то есть предписание искать жен "на стороне").

Экзогамия не обусловлена каким-либо биологическим отвращением к инцесту или осознанием его биологической опасности; более того — во многих древних обществах она вполне дозволялась правителям. В чем же тогда ее корни? Вслед за Дарвиным Фрейд полагает, что первобытные люди жили небольшими ордами, управляемыми сильным вожаком, который присваивал себе всех самок — вопреки желаниям молодых самцов. Амбивалентность отношения молодых самцов к вожаку (преклонение и ненависть) привели к его убийству; но черты вожака ("отца орды") были перенесены на тотемное животное — покровителя возникшего после убийства "клана братьев", а воля "отца" была воплощена в запретах системы табу. Поначалу организация этого клана была матриархальной, но постепенно — под воздействием чувства вины перед убитым "отцом" — его образ возвращается из глубин коллективной памяти и оказывает мощное влияние на общественную и духовную организацию: клан становится патриархальным, а система табу перерастает в "отцовскую" религию. Такое перерастание проходит промежуточную стадию, еще на этапе матриархата: возникает фигура молодого героя, любимца богинь-женщин, который платит смертью за их любовь. Так зарождается смутное представление о некоем "первородном грехе", связанном с сексуальным удовлетворением; судьба героя есть наказание за этот грех. Фрейд полагает, что тут слышен искаженный отголосок приближающегося "возвращения отца": подлинный "первородный грех" — это его убийство, которое должно быть искуплено смертью сына и отказом от сексуального удовлетворения с женщинами орды, ради которого сын некогда восстал против отца. Позднее эта идея "первород-

ного греха” возродится в представлениях основателя христианства Павла. Однако на этом пути есть еще и вторая важнейшая стадия — возникновение монотеизма.

Будучи действительно “абсолютно иррелигиозным” человеком, Фрейд отрицал всякую роль Бога в становлении религиозной идеи. Творцами религии, по его убеждению, были сами люди, которые затем становились ее пленниками, подпадая под воздействие скрытой в ней “исторической правды” о своем “грехе” и стремясь от него освободиться. Становление религии является, таким образом, историческим процессом, в котором важнейшую роль играют такие механизмы, как воздействие великой личности, возвращение из глубин коллективного подсознания ее облика, отказ — под ее влиянием — от удовлетворения инстинктов и последовательный прогресс духовности. На примере Моисея Фрейд ставит вопрос о природе “величия”. Великий человек воздействует на массы прежде всего своей личностью, а также — но в меньшей степени — своими идеями, которые могут воскрешать древние желания масс или указывать им новые объекты желания. Главное в механизме “величия” — авторитет самой великой личности, ибо массы, по существу, инфантильны: они относятся к великой личности, как дети к отцу. (Впоследствии эти идеи были развиты Фроммом в его теории “авторитарных” и Калуга — в его теории “харизматических” вождей.)

Отказ масс от удовлетворения инстинктов (открывающий путь к возникновению этики и искусства) Фрейд объясняет стремлением получить поощрение от “великого человека”, “авторитета”, “отца” (в индивидуальной психике роль такого авторитета играет Супер-Эго). Возникает вопрос: кто является таким “авторитетом” в современной культуре? Надежды масс получить вознаграждение в будущем (во имя которого они отказываются от удовлетворения сиюминутных желаний) возлагаются сегодня на политических вождей или технологию; затягивающаяся отсрочка такого вознаграждения приводит к растущей неудовлетворенности культурой, особенно в наиболее обделенных ею группах. Не идет ли современная цивилизация на этом пути в роковой тупик?

Возвращаясь к обсуждению монотеизма, Фрейд показывает, что в его истории можно действительно усмотреть совместное действие всех упомянутых механизмов. Моисей — великий человек и одновременно — убитый “отец”; его запреты (в частности, на изображение Бога) ведут к одухотворению, спиритуализации еврейской религии; еврейский Бог, лишаясь не только сексуальности, но и вообще всякой связи с чувственной сферой, все больше диктует отказ от удовлетворения инстинктов и прогресс духовности; но все это происходит не сразу, а после некоторой отсрочки: монотеизм утверждается не одномоментно; сначала наступает фаза “подавления воспоминания об убийстве отца” и лишь затем — фаза “возвращения подавленного”. Облик “вернувшегося” отца овладевает коллективным сознанием с той же силой, с которой прошлое овладевает сознанием невротика; вера в единого Бога буквально навязывается людям.

До сих пор мы следовали логике книги; теперь пора задать вопрос: быть может, эти рассуждения и аналогии действительно объясняют, почему

людям вообще нужен Бог; но как понять, почему этот Бог должен быть один?

Ответ Фрейда гласит, припомним: так происходит потому, что история становления монотеизма и сама идея единого Бога повторяют важнейшее, судьбоносное переживание праистории человеческого общества — существование единого вожака первобытной орды и его убийство. Иными словами, сам факт победы монотеизма является подтверждением исторической (праисторической) реконструкции Фрейда. Если бы такого праисторического убийства не было, история не засвидетельствовала бы и становления монотеизма. Если бы такого убийства не было, его следовало бы — исходя из реального наличия монотеизма — постулировать. Что Фрейд и делает — побуждаемый, как видим, логической необходимостью.

Но как в таком случае быть с восточными или примитивными политеистическими религиями? Почему они не пришли к монотеизму? И в этом месте Фрейду приходится постулировать, что евреи пережили уникальные опыт, которого не пережили другие народы: они повторно убили своего нового "отца" — Моисея. Без такого повтора возврат воспоминания об убийстве правожака не оказал бы на них того мощного воздействия, которое заставило их — в отличие от других народов — принять монотеизм. Эта уникальная историческая случайность: повторное убийство отца — определила их уникальную религиозную (а с ней — и национальную) судьбу. Таким образом, и эта гипотеза Фрейда оказывается в своем роде необходимой: без нее нельзя было бы объяснить уникальный факт принятия евреями (и именно ими) монотеистической идеи и непринятия ее другими народами (хотя бы теми же египтянами). Именно наличие загадочных фактов: существование монотеизма и принятие его евреями — потребовало от Фрейда объяснения, в ходе которого он и пришел к своим гипотезам. Однако в самой книге, в ее сюжетной последовательности, эти гипотезы были выдвинуты вперед, в начало, как постулаты. Но они и являются, в сущности, постулатами — их навязала Фрейду историческая реальность; вот почему они способны устоять даже без поддержки других, частных фактов. Фрейд стоит на своем, потому что убежден: иначе просто быть не могло; не будь справедливыми его "исходные гипотезы-постулаты", человечество не знало бы ни монотеизма, ни моисеевой и павловой религий. Следует, однако, признать, что он изрядно запутывает читателя, переворачивая в сюжете весь ход своих рассуждений и принося логическую последовательность мысли в угоду последовательности сюжетной.

Логика развиваемой в "Моисее и монотеизме" теории потребовала от Фрейда постулировать также, что "чувство вины" (играющее столь важную роль в победе "возвратившегося воспоминания об отце") дважды претерпело огромный подъем в сознании широких народных масс: в период, предшествовавший окончательному утверждению моисеевой религии, и в период, предшествовавший появлению христианства. Оба раза подъем этого чувства вины происходил прежде всего в среде евреев; история вполне оправдывает такое предположение, поскольку сохраняет для нас свидетельства ужасающих бедствий еврейского народа, не находивших объяснений

в рамках существовавших тогда представлений и обетований и потому вполне способных породить сознание, что эти бедствия — наказание за вину и грехи. В первом случае выход из “коллективной депрессии” указали пророки и их преемники фарисеи (вернуться к религии и этике Моисея), во втором — Павел, провозгласивший, что “первородный грех” можно “искупить” и более того — он уже искуплен Сыном, принесшим свою жизнь на алтарь Отца. Таким образом, по Фрейду, оказывается, что оба эти направления развития первоначальной монотеистической идеи были как бы уже и з н а ч а л ь н о з а л о ж е н ы в ней; единственным “случайным” событием в истории монотеизма является появление “второго отца”-Моисея и повторный патрицид, совершенный над ним евреями. Это событие и впрямь кажется маловероятным: на столь поздней стадии развития общества трудно ожидать появления в нем такой буквальной “копии” первобытного вожака. Фрейд разрешает эту трудность самым дерзким своим предположением — он приводит этого вожака извне, из бесконечно более развитого общества, более того — из его аристократической знати, что делает намного вероятней его восприятие “инафантильной” еврейской “ордой” в качестве “копии великого отца”. Конечно, это случайность, но, подготовленная революцией Эхнатона и предшествующей историей самого еврейства, она должна считаться поистине исторической случайностью — из тех, которые определяют собой историю. И теперь теория Фрейда становится окончательно замкнутой: там, где выполнено только первое условие: убийство первобытного отца — монотеизм может и не возникнуть; там, где “случайно” выполнены оба: убийство первобытного отца и повторное убийство его “копии”, явившейся с проповедью единого Бога — неизбежно запускается в ход историко-психологический механизм становления монотеизма; в первом случае возникает религия “вообще”, во втором — специфическая монотеистическая религия с ее подавлением инстинктов, прогрессом духовности, идеей греха и вины и вытекающими из нее идеями подчинения Закону или искупления Жертвой; история религиозной идеи оказывается, таким образом, историей саморазвертывания великой парадигмы, возникшей во времена архаического детства человечества (как история невроза является саморазвертыванием потрясшего детскую психику переживания).

Фрейдова идея архаических парадигм была подхвачена Юнгом в его теории архетипов; позднее Тойнби применил ее для нового толкования истории, отбросив идею “непрерывного прогресса единой цивилизации” и введя понятие “различных по исходной парадигме цивилизаций”, каждая из которых развертывает свое содержание собственным уникальным путем, сталкивается со своими специфическими “вызовами истории” и находит — или не находит (и тогда гибнет) — свой “ответ” на такие вызовы. Но значение фрейдовой теории монотеизма не исчерпывается областью истории; я уже упоминал, что Фромм и Калуга приложили некоторые ее идеи к социологической проблеме лидеров и толпы; тот же Юнг и другие развили ее применительно к проблемам культуры. Сам Фрейд полагал, что культура является порождением “праубийства”: дав выход агрессивным и инстинктым наклонностям человека, это преступление потребовало искать пути к их подавлению или сублимации (то есть переводу в другое русло); неиспользованная энергия этих наклонностей и есть энергия, по-

рождающая культурное творчество. Жизнеутверждающими, по Фрейду, являются лишь те творческие импульсы, которые порождены энергией сублимированных желаний; энергия "подавления", полагал Фрейд, порождает культуру деструктивного типа. Эти первичные представления Фрейда развил Юнг, провозгласивший, что любое культурное творчество всегда является "самореализацией архетипов коллективного подсознания"; а в работах Ружемона мысли Фрейда были приложены к анализу современной массовой культуры, которой Юнг не касался. Следуя намеку Фрейда (при обсуждении древнегреческой трагедии) о возникновении искусства из ритуала, Ружемон утверждает, что массовая культура нашего времени порождена ностальгией по давним формам коллективного соучастия в таком ритуале. Вся она направлена, считает Ружемон, на возрождение (актуализацию) таких особенностей древних ритуалов, как дионисийство, оргиастичность, экзатичность и тотальная вовлеченность участников в происходящее действие. В сущности, она является суррогатом ритуала в современной жизни; как всякий ритуал, по Фрейду, она является одновременно и "социальной" терапией; это особенно видно, по мнению Ружемона, на примерах войны и спорта, где происходит явная разрядка агрессивных и сексуальных устремлений, как всегда тесно связанных с опасностью и смертью. В таком подходе нынешние представления о мифотворческом характере современной массовой культуры приобретают глубокую историческую обоснованность и смысл. Теория Фрейда, показав роль мифа (и, в частности, мифа об Эдипе), как узла всех творческих импульсов человечества, пересмыслила всю трактовку места мифа в культуре. Она показала, что миф актуализируется во всех тех случаях, когда возникают опасные напряжения общественной жизни; иными словами, миф является медиатором культурных напряжений. Любопытно, однако, что в этом своем качестве миф неизбежно вступает в конкуренцию с выросшей из него некогда религией. Религия пытается подавить миф, как реликт языческой эпохи. Одновременно религия оказывается враждебной и вырастающей из мифа культуре. Конечно, первоначально религия выполняла прежнюю роль мифа в примирении противоречий человеческого коллектива; но эту роль она выполняла и выполняет, в основном, с помощью подавления человеческих инстинктов, а не их сублимации; поэтому и культура, вырастающая из монотеистических религий, имеет свойства репрессивности, что — на самом глубоком психологическом уровне — порождает неудовлетворенность ею. Культура, считает Фрейд, должна освободиться от "подавления", а для этого она должна освободиться из-под власти религии. Но не станет ли тогда жуткой реальностью предвидение Достоевского: "Если Бога нет — все дозволено"?

Надежда Фрейда — на то, что религиозные основы "культурного поведения" заменятся нарождающимися уже сегодня секулярными, рационально-гуманистическими основами культуры. И эта последняя надежда великого рационалиста возвращает нас и к последней загадке его книги. К той "последней загадке" самого Фрейда, которая, в сущности, и породила столько самых фантастических догадок о его последнем произведении. Почему, все-таки, Фрейд так стремился во что бы то ни стало ее опубликовать, почему считал своим "завещанием", что "на самом деле" хотел ею сказать?

Мне думается, что разгадка — в самом содержании (истинном, а не “зашифрованном” или “простодушно понятом” содержании) этой книги. Фрейд показал в ней религию болезнью истории — навязчивой, как невроз, и — как невроз — поддающейся лечению: светом разума. Освобождая — своим анализом — становление монотеизма, этой основы современной ему иудеохристианской культуры, от загадочной “тайны”, он действовал, как терапевт-психоаналитик. Перед ним маячила великая цель: освободив человечество — и прежде всего, евреев — от древнего невроза, открыть перед нами путь “нормального” духовного, культурного развития. В этом и состояло его “завещание”. Поэтому его и нужно было во что бы то ни стало донести до людей — как бы они ни приняли эту трудную правду...

Рафаил Нудельман

ADAM MICHNIK

POLSKIE PYTANIA

Zeszyty Literackie — Cahiers Littéraires

cena 110 FF; US \$ 20

s. 288

Data publikacji: grudzień 1987

ZAMAWIAĆ W:
Zeszyty Literackie
44, rue Tiquetonne
75002 PARIS

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

Советская фантастика 60-х годов не была советской — она была польской. И первым автором советской фантастики был Станислав Лем. Именно он реабилитировал жанр идеологически и литературно. Идеологически, поскольку, при всех сомнительных чертах своего дарования, Лем все-таки был представителем соцлагеря и книги свои выпускал в издательстве министерства обороны Польши. Я глубоко убежден, что в судьбе произведений Лема в России фантастически преломился Варшавский договор.

В моем сообщении будет рассмотрен лишь один лемовский роман — "Солярис"; остальных его книг я буду касаться лишь постольку, поскольку этого потребует разбор данного романа, и принесшего Лему, собственно, мировую славу.

"Солярис" был зачат в самом конце первого десятилетия второй половины XX века: июнь 1959-го—июнь 1960-го; сдан в набор 13 декабря; разрешен цензурой 15 декабря 1960 года (№ 8758); закончен печатанием в апреле 1961-го; и выпущен в мир Издательством Народной Обороны по цене 17 злотых.

Лишь один оборот планеты вокруг Солнца отделял окончание романа от первого человека в Космосе и всего восемь

Зеве Бар-Салла

STATUS QUO VADIS

(Введение в теологию
космических полетов)

лет от Первых Людей на Луне. В этой жгучей злободневности я и вижу причину того, что роман "Солярис" не был понят современниками: он слишком хорошо вписался в атмосферу десятилетия, казавшегося началом Вечности.

Мы ступили на Солярис позже других, в 1963-м*, но сразу разобрались во всем. Непонятным остался сам Станислав Лем, точнее — Лем остался единственным непонятливым.

Шли годы. Смеркалось. В 1967 году в предисловии к новому роману ("Глас Господа", в русском переводе "Голос Неба"!) Лем признавался: "Написал я еще одну книгу, которую ценю, хотя сам не вполне понимаю ("Солярис")".

Чего ж тут непонятного? Описывая Солярис, Лем дает детальный и весьма художественный портрет плазматического чудовища, которое тешит свой досуг какими-то непостижимыми для нашей науки, необыкновенными по размаху теоретическими исследованиями сути всего существующего. Мы установили, что Океан Соляриса является источником магнитных, электрических и гравитационных импульсов. Выяснилось, что перечисленные импульсы — это подслушанные нами куски ведущегося в океанской пучине бесконечного монолога. И ста лет не прошло, как мы убедились, что собеседника Океан не ищет и к Контакту не склонен.

Лем проводит нас по лабиринтам "Солярианы" — выросшей вокруг проблемы Соляриса библиотеки исследований, материалов, гипотез и отчаяния. К моменту действия романа количество их уже выражается четырехзначной цифрой.

Вместе с Лемом мы листаем эти инкунабулы новейшего времени, мы видим, к какому выводу стремится беспокойная мысль человечества, и не понимаем Лема. С каким-то неутомимым садизмом или мазохизмом он отбрасывает все мыслимые объяснения. Океан — плазматическая машина. Нет. Гигантская разросшаяся клетка. Не то. Мозг. Не годится...

* Известно пять русских изданий "Соляриса": 1) в сборнике "В мире фантастики и приключений". Л., Лениздат, 1963; 2) "Библиотека фантастики и приключений" в пяти томах. (Приложение к журналу "Сельская молодежь"). М., "Молодая гвардия", 1965, т. 4; 3) С. Лем "Солярис — Эдем". М., "Мир", 1973 ("Зарубежная фантастика"). Авториз. пер. Дм. Брускина; 4) С. Лем "Избранное". М., "Прогресс", 1976 ("Библиотека польской литературы"), пер. Г. Гудимовой и В. Перельман; 5) С. Лем "Избранное". Кишинев, "Литература артистикэ", 1978 (= № 3).

Так кто же ты? — мог бы воскликнуть читатель. Но не воскликнул.

Читателю-то как раз все было понятно. Только что (в 1962-м) академик Колмогоров заявил о праве плесени на разумное существование. В океане (пока земном) уже всюду заплескались братья по разуму — дельфины. Понятно, что ни дельфины, ни плесень никогда не занимались производительным трудом и, следовательно, по Энгельсу — мыслить не могли. Но время было такое — кибернетики вели с крупным счетом, а марксисты предпочли отмолчаться.

И тогда пришел Э. Араб-Оглы и сказал, что в "Солярисе" кроется глубокое философское содержание. Такое заявление может показаться бессодержательным, не зная мы законов советского языка. Что значит "философское" без эпитета? Философии самой по себе не бывает. "Философия сама по себе" — это реализм без берегов, это конвергенция, это и нашим и вашим. Впрочем, ничего более внятного Араб-Оглы не сказал. Были и другие мысли. Ну, например, что "Солярис" ставит проблему Контакта. На это можно сказать, что не "Солярис" ее поставил и уж точно никак не решил. Кому-то показалось, что Лем поставил проблему языка. Вот этого я в "Солярисе" никак не вижу. Наверно потому, что сам лингвист...

Роман заканчивается фразой: "Я твердо верил, что не прошло время ужасных чудес". Поскольку роман в России известен уже четверть века, позволю себе напомнить чудеса, которые уже произошли.

Итак, планета Солярис. Диаметр на 20 процентов больше земного; обращается вокруг двух солнц — красного и голубого; покрыта океаном плазматической субстанции; имеются несколько островков суши, — судя по всему, ранее бывших дном океана; вопреки расчетам не проявляет тенденции обрушиться на одно из своих солнц (красное); океан является единственным и, видимо, разумным обитателем планеты. Исследованием Соляриса занимаются сотрудники летающей станции. Сотрудников трое: Сарториус, Снаут и Гибарян. На станцию прибывает сменщик Гибаряна Крис Кельвин, он же главный герой. Тут же обнаруживается и труп — это Гибарян, покончивший с собой. Причина самоубийства выясняется довольно быстро — Гибаряна посещал Гость. Вскоре Гость приходит и к Кельвину. Гости, или фантомы, или существа "Ф", представляют собой материализованные копии

людей, так или иначе участвовавших в прошлом в жизни героев. Ясно, что фантомов насыщает Океан. От фантомов очень трудно избавиться, они все время возвращаются. Однако, в конце концов, разум и упорство побеждают, и превращенный в облачко света личный фантом героя взвигается к звездам. Навсегда. Герой испытывает пароксизм малодушия, но понимает, что его капитуляция будет означать поражение всего человечества. И тогда он начинает ждать пришествия "ужасных чудес".

Вокруг фантомов заверчена вся фабула романа. Герои страдают, прячутся, сходят с ума, любят, и каждый раз за поступками героя стоит его фантом. Первое существо "Ф" возникает в образе чудовищной негритянки, на которой нет ничего, кроме короткой соломенной юбки. Она проходит по коридору станции и уходит в холодильник, где ложится рядом с трупом Гибаряна. Вместо замершего в ужасе Кельвина говорит автор, сразу раскрывая первую тайну Соляриса: "Черная Афродита". Иными словами: "Пенорожденная", дочь Океана. На следующий день, едва успев проснуться, Кельвин обретает и собственного партнера — оживший призрак своей покойной жены Хари. Относительно гостей двух других постояльцев станции можно сказать немного: у одного (Сарториуса) — это ребенок, у другого (Снаута) видимо, женщина, если верить его признанию, что он прожил за несколько дней несколько прекрасных лет. Обратим, однако, внимание на родителя — на сам Солярис.

"Хлопья слизистой пены, цвета крови, собирались в провалах между волнами..."

"На фоне черных волн, кроваво поблескивающих под солнцем..."

"Океан жирно блестел, как будто с волн стекало красное масло..."

"На поверхности планеты, иссеченной грязно-лиловыми и бурями полосами..."

"Чернильный океан с кровавыми отблесками почти всегда покрывала грязно-розовая мгла..."

"Солнце заиграло кровавыми молниями выпуклых..."

И так далее, и так всегда: стоит нам взглянуть на океан, и мы видим одно и то же — грязь и кровь.

Хари, жена Криса Кельвина, отравилась за десять лет до событий, описанных на первой странице романа. Она приняла яд, который принес со службы Кельвин, действие которого объяснил ей

тот же Кельвин, он же ее и подвел к роковому решению, сказав, что у нее не хватит мужества покончить с собой. Впрочем, убийцей Кельвин себя не считает — он-то был уверен, что все это просто так, со злости, опять же мужества у нее не хватит. Иными словами, трагическая случайность, да к тому же дело прошлое... Но вот, Хари снова лежит перед ним: "Она лежала поперек кровати, смотрела на меня внимательно, как будто не знала, что я ее убил. Мои пальцы почти сомкнулись вокруг ее пульсирующей шеи. Я просто хотел убедиться в том, что у нее обыкновенное теплое человеческое тело. Глядя в ее спокойные глаза, я почувствовал острое желание быстро стиснуть пальцы".

А ведь Кельвин и вправду — убийца!

Среди множества документов, включенных в текст, отыскиваются и сведения о самом раннем фантоме. Он привиделся пилоту по имени Андре Бертон в виде увеличенного до гигантских размеров младенца, своего рода куклы, которая однако смотрела на него живыми глазами. Было в этом ребенке еще что-то, но что, — Бертон сказать отказался, уверяя, что его иллюзии — это его личное дело. Специальная комиссия, которой он давал показания, после такого отказа просто списала его из Космоса на берег. Доктор А. Месенджер после беседы с А. Бертоном с глазу на глаз запросил биографию пилота, начиная с детства, и сведения о его семье и родственных связях. Месенджер догадался, что фантом это не просто какой-то ребенок, а ребенок совершенно конкретный — Бертона, которого пилот оставил сиротой. Вспомним теперь Гибаряна и его чудовище (перевожу с польского оригинала):

"Из глубины коридора неторопливой, утиной походкой шла огромная негр-тянка. На ней ничего не было, кроме короткой, видимо соломенной юбки; при ходьбе болтались ее огромные отвислые груди, а черные руки были в обхвате толще ляжки обычного человека... Я инстинктивно ожидал тошнотворного, явственного запаха ее пота, но его не было". И когда она, "покачивая слоновьим задом", удалилась, Крис Кельвин вспомнил "древние каменные изображения, которые иногда встречаются в антропологических музеях". Таким образом, Кельвину предстает чудовищный облик чужого греха (вспомним антропологию миссионеров и Фолкнера, которые верили в то, что негры своим обликом наказаны за грехи). Обратившись еще раз к польскому оригиналу, мы узнаем, что галлюцинации Бертона не просто галлюцинации, — Бертон прямо заявляет, что их "содержание вызвало к

возмездия до небес". Так оно и есть: фантомы, посещающие обитателей станции, — это материализованное напоминание о грехе или преступлении каждого из них. И поэтому от них, как от воспоминаний, невозможно избавиться. Лишь смерть примиряет человека с совестью, и тогда фантом ложится рядом с трупом казненного. Поэтому Солярис и окрашен в два цвета — грязи и крови, греха и преступления.

Можно вспомнить еще кое-что, например, Сенеку: "Даже убежав за море — не уйдешь от самого себя". Тут сразу приходит в голову параллель: "море" — "Океан". Но ведь на самом деле так ли уж нужен такой буквализм, можно ведь было обойтись просто другой планетой, а тут — Океан, да еще разумный?

Так что же такое "Солярис" и Солярис? Если мы перелистаем роман, то обнаружим, что Лем ни разу не говорит о сущности Океана в положительных терминах: это — *не* океан, *не* машина, *не* гигантский мозг... Не, не и не! И автор долбит это от первой до последней страницы. Итак, Солярис — это, говоря простыми словами, непонятно что, перед чем бессильны разум и наука соляристика. Об этой области позитивного знания Лем говорит, что "это — джунгли, по сравнению с которыми показалась бы сверкающим бриллиантом средневековая схоластика".

Голос рассудка молчит, зато постоянно слышатся другие голоса, а в момент второго (неудавшегося) самоубийства Хари герой слышит удары колокола. Перед тем же, как Хари должна окончательно исчезнуть из жизни, Кельвин наблюдает такую картину:

"Весь океан был покрыт пузырящейся пеной, взлетающей огромными лоскутами вверх. Со всех сторон одновременно взметались в пустое небо перепончатокрылые глыбы пены, распростертые горизонтально, совершенно непохожие на тучи. Океан шелушился кровяными слоями. Рои тонких розовых силуэтов поднимались все выше и выше, возносясь, как на невидимых струнах. И это величественное вознесение продолжалось, пока не стало совсем темно".

На следующей странице Снаут орет на Кельвина, упрекая того в переизбытке морали, когда речь идет... О чем? Вот слова Снаута: "Мы будем кричать, расскажем ему, что он из нас сделал, пока он не ужаснется, и помолится за нас своей математикой, и окружит своими окровавленными ангелами".

О кровавленные ангелы — это и есть предыдущая картина.

Итак, перед нами ангелы, молитвы, возмездие, наступающее

сотрудников станции в образе вечно прикованного к ним напоминания о преступлениях и прегрешениях, то есть, не мудрствуя лукаво, — Страшный Суд. Сам же Солярис — судья, Высший Судья, а называя вещи своими именами, — Господь Бог. Тогда понятно, что побуждает Лема отбрасывать все рациональные объяснения природы Океана, ясно, что заставляет его все время поминать схоластику, ясно, почему показания пилота Бертона входят в книгу “Малый Апокриф” (значит, должен быть и Большой), понятно, почему все названия соляристических трудов даны по латыни (уже сейчас ее никто не знает, чего же ждать от будущего?), и почему проверку собственной вменяемости Кельвин именует “*experimentum crucis*”, что значит “Проба Крестом”. Ясно, в частности, и отчего единственный представитель типа *Polyteria*, отряда *Syncytalia* и класса *Metamorphia* носит имя Солярис: за четыре года до появления романа в той же Польше вышла книга Зенона Косидовского “Когда Солнце было Богом”. *Solaris* по-латыни и есть “солнечный”.

От Соляриса логично перейти к другим именам. Многие из них вполне осмысленны, например, когда речь заходит о гипотезе Гамова-Шепли. Шепли совершенно реальное лицо, астроном, хотя ныне и покойный (1885—1972). И Гамов действительно существует. Гипотезы такой, впрочем, кажется нет. Точно так же реален и один из авторов теории моделирования метрики пространства-времени — Рови и Эйнштейн. Для знающих английский нет загадок и в именах сотрудников станции: Сарториус — это “портняжная мышца”, а Снаут — “морда, рыло” или, как блистательно переведено в англо-русском словаре, “сопатка” (поэтому, кстати, Снаут просит Кельвина называть его “по-домашнему” — “Хорек”). Есть смысл обратить внимание и на имя главного героя — Крис Кельвин. Крис — это, понятное дело, уменьшительное от Кристиан, Христиан, а фамилия Кельвин известна в одном-единственном употреблении — шкала Кельвина. Ноль градусов по Кельвину — это абсолютный ноль, — 273⁰ С. Таким образом, в Крисе Кельвине сталкиваются Христос и Абсолют, Человек и Бог.

Не поиски Абсолюта, а столкновение с Абсолютом — это и есть сюжет романа. Бог есть, он дан нам в ощущениях. А раз так, то место пошлых вопросов: “есть — нет” — занимает теология. И крупнейший ее представитель — Фома Аквинский, или Аквинат.

Когда Снаут и Кельвин спорят о высшем предназначении фанто-

мов: “Наказание? А может быть, это дары?” — ни к какому решению они не приходят. И зря, поскольку ответ дан Фомой Аквинским. Согласно Аквинату, Зло есть лишь менее совершенное Благо. И наличие Зла допускается Богом только ради того, чтобы во Вселенной осуществились все ступени совершенства. Поэтому пребывание на Солярисе и является тем, что называется моральным, духовным и прочим совершенствованием. Совершенствование имеет целью достижение совершенства. Согласно Аквинату истинное совершенство — это совершенное блаженство, конечная и высшая цель Человека. Блаженство заключается в самой превосходной человеческой деятельности — деятельности теоретического разума, то есть в познании истины ради самой истины, а следовательно в познании Абсолютной Истины. Она же есть Бог. Совершенное блаженство (в отличие от простого) состоит в совершенном познании, короче говоря, в непосредственном созерцании сущности Бога. Именно этим и занимаются наши герои, глядя в иллюминаторы своей станции. Кстати, следует отметить то обстоятельство, что занятия такого рода, как непосредственное созерцание Абсолютной Истины, равно как и Страшный Суд, возможны только в Раю. Является ли Солярис Раем? Не знаю. С тем же успехом можно назвать его и Адом. Ясно только, что встреча с покойниками на этом свете вряд ли возможна.

Учение Фомы Аквинского утвердилось не сразу. Теологи упрекали его в интеллектуализме и настаивали на примате Воли и Любви над Разумом и Познанием. Их возражения дожили до наших дней и превратились в расхожее убеждение всех верующих. Аквинат на возражения не отвечал, за него ответил Лем: “Извечная вера влюбленных и поэтов в силу любви, которая переживает смерть, это преследующее нас столетиями *finis vitae, sed non apogis*, — это ложь. Однако, эта ложь лишь бесполезна, но не смешна... Я ни на секунду не верил, что этот жидкий гигант, к которому десятки лет вся моя раса напрасно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что он, поднимающий меня, как пылинку, даже не замечая этого, будет тронут трагедией двух людей. Но ведь его действия были направлены к какой-то цели!”

Для того, чтобы понять цель Высшего Промысла, Крис Кельвин и остается на Солярисе.

Аквината и католицизма недостаточно Лему для воплощения замысла, поэтому пейзажи Соляриса расцвечены еще и протестантизмом, точнее позднейшей диалектической теологией. Негатив-

ные определения Океана как "Не-" (не-машина, не-мозг и т. п.) восходят к представлениям Рудольфа Отто о Боге как "Совершенно Ином" (ganz anders) и к интеллектуальной метафорике Лютера, в которой Милосердие Божие есть огненное *море* гнева, уничтожающее все человеческое. Разработанная диалектиками доктрина немыслимости Бога как единственной возможности мыслить Его иллюстрируется и символизируется в "Солярисе" непредставимостью и невозможностью описать образования класса Polyteria, возникающие на поверхности Океана.

Наука предлагает удобные формы ведения теологических дискуссий. Например, в форме спора о нейтринных структурах фантомов:

"Принимая на один килограмм массы покоя 10^8 эргов, получаем для одного существа "Ф"..."

— Что ты говоришь? Но... ведь Сарториус должен был принять во внимание...

— Не обязательно. Дело в том, что Сарториус принадлежит к школе Фрезера и Кайоли. Существуют, однако, другие теории... По Кайе, по Авалову, по Сиону спектр излучения значительно шире, а максимум падает на... Он верит во Фрезера, а я считал по Сиону..."

Фрезер, Джеймс Джордж, автор "Золотой ветви", рассматривал историю человеческого мировосприятия как восхождение по трем ступеням: Магия—Религия—Наука. Магия, по Фрезеру, обнаруживает принципиальную общность с Наукой, ввиду присутствующего им обоим стремления воздействовать на окружающий мир и господствовать над природой. Возникновение Религии вызвано осознанием человеком собственного бессилия и персонализацией неподдающихся человеческой воле природных сил. Океан, судя по всему, и должен вызывать такие чувства. Отсюда и приверженность Кельвина Сиону, проще говоря — монотеизму. Правда, в дальнейшем Сарториусу, который "верит во Фрезера", удастся добиться успеха и с помощью магического жезла, задрапированного под "нейтринный аннигилятор", изгнать беса со станции. Но экзорцизм третьей стадии рано празднует свое торжество, ибо — "не прошло время ужасных чудес", Бог не сказал последнего слова.

Последнее слово не сказано еще и людьми. Поэтому, зная теперь, что стоит за Солярисом, зададимся вопросом: а что стоит за людьми?

Кроме обширной и различной христианской символики, роман насыщен античными образами. Образы эти весьма слабо связаны с фабулой, но организованы в мифологическую систему. Так, например, циник Снаут приветствует фантом жены Кельвина цитатой из Гомера: "О, Афродита, океаном рожденная..." Но тогда и океан Соляриса — это эллинский Океан, первичная материя греческого Космоса. Об устройстве этого Космоса Лем информирует нас с самого начала, описывая летающую станцию "Солярис", "китообразное туловище" которой словно плывет по поверхности океана. Для полноты картины не хватает только трех слонов..

Но, кроме Океана и планеты Солярис, в мире существуют и другие планеты. Кроме космоса, который под ногами, есть и Космос, который сверху. В этой верхней половине мира бороздят звездные моря космические крейсера "Лаокоон", "Улисс" и "Прометей". Три имени — три мифа, и на борту каждого мифа герой, презревший волю богов, наказанный за это и не смирившийся.

Это то, что призывают себе на помощь Лем и обитатели станции "Солярис" — Греция, "вечная Европа", говоря словами Макса Шелера (случайно ли, что Европе равна общая площадь клочков суши Соляриса?!). Крис Кельвин, человек, противостоящий Богу и восставший против Бога, отвергает вечное искупление и вечное мучение призраком Хари. Он отвергает идею принесения себя в жертву, вопреки року, начертанному в его имени.

Русское издание 1973 года Лем снабдил авторским предисловием:

"...я знаю, что я хотел выразить в этой повести. Думаю, что дорога к звездам и их обитателям будет не только долгой и трудной, но и насыщенной многочисленными явлениями, которые не имеют никакой аналогии с нашей земной действительностью. Космос — это новое качество. Установление взаимопонимания предполагает существование сходства. А если сходства не будет?

Для меня важно было показать Неизвестное как определенное материальное явление, до такой степени организованное и таким образом проявляющееся, чтобы люди поняли, что перед ними нечто большее, чем неизвестная форма материи. Что они стоят перед чем-то, с некоторых точек зрения напоминающим явления биологического, а может быть, даже психического типа,

но совершенно непохожим на наши, человеческие ожидания и надежды, связанные с ним”.

Здесь, на самом деле, Лем сказал все, что хотел сказать. Для него нет вопроса: есть ли Бог? Есть. Вопрос совсем в другом: каков Он? И в этом Станислав Лем видит истинную цель исследования мировых пространств реактивными приборами.

* * *

Роман “Солярис” доступен русскому читателю давно. Настолько давно, что никто не обратил внимания на появление еще одного “Соляриса”. Нет, я не имею в виду фильм А. Тарковского, я говорю о романе. Так вот, в 1976 году издательство “Прогресс” выпустило новый перевод романа, по объему ровно на одну пятую больше предыдущих (и последующих – 1978) изданий. В 1976 году знаменитый роман был впервые опубликован полностью*. Несмотря на отвратительный язык (Г. Гудимовой и В. Перельман), именующий Ветхий завет “Старым”, а психику путающий с психологией, новый перевод сообщает читателю (догадавшемуся заглянуть в новое издание) решение главного вопроса, оставшегося для нас без ответа (“Каков Он?”). Решение дано в последней главе (“Старый мимойд”; в 1976 году – “Древний мимойд”), где приводится разговор Снаута и Кельвина**:

(...) Я размышлял о разных вещах...

– Лучше быты поменьше размышлял.

– Ах, ты совершенно не понимаешь, о чем речь. Скажи, ты ...веришь в Бога?

Он быстро глянул на меня.

– Ты что? Кто же еще сегодня верит...

В глазах у него была тревога.

– Это не так просто, – сказал я нарочито небрежно, – потому что я имею в виду не традиционного Бога земных религий. Я не специалист по религии-

* Отмечу курьезный факт: Л. Геллеру, в своей диссертации упомянувшему о разночтениях русского и польского изданий “Соляриса”, такая возможность даже в голову не пришла (Геллер Л. “Вселенная за пределом догмы. Размышления о советской научной фантастике”. London, OPI, 1985, с. 386).

** Не имея эстетической возможности цитировать перевод издательства “Прогресс”, мы воспользовались любезностью Р. Нудельмана, предоставившего в наше распоряжение рукопись сделанного им перевода романа. Текст предшествующий и последующий купюрам дан курсивом.

ям и, может, ничего нового не придумал, но скажи — ты не знаешь случайно, существовала когда-нибудь вера в ... ущербного Бога?

— Ущербного? — переспросил он, поднимая брови. — Как это понять? В определенном смысле в любой религии бог ущербен, потому что наделен человеческими чертами, разве что преувеличенными. Скажем, Бог Ветхого Завета был вспыльчивым, требовал поклонения и жертв, ревновал к другим богам... греческие боги с их семейными дрязгами и склоками были ущербны не менее, чем люди...

— Нет, — перебил я его, — я говорю о Боге, несовершенство которого вызвано не простодушием создавших его людей, а составляет самую существенную, имманентную его особенность. Это Бог, ограниченный в своем всезнании и всеилии, ошибочно предсказывающий будущее своих творений, способный изумиться тому, как идут им же сформированные процессы. Это ... Бог-калека, вечно желающий больше, чем может, и не сразу осознающий это. Такой, что создает часы, но не время, которое они измеряют. Создает устройства и механизмы, служащие определенным целям, которые переросли эти цели и изменили им. Он создает бесконечность, которая в меру его способностей становится мерой его бесконечного поражения.

— Да, было такое, манихейство... — нерешительно произнес Снаут. Подозрительная настороженность, с которой он обращался ко мне в последнее время, исчезла без следа.

— Нет, это не имеет ничего общего с первоначалами добра и зла, — тотчас прервал я его. — Этот Бог не существует вне материи и не может от нее освободиться, хотя только этого и хочет...

— Такой религии я не знаю, — сказал он, помолчав. — Такая ... никогда не была нужна. Если я правильно тебя понимаю, а мне кажется, что так, ты говоришь о каком-то эволюционирующем Боге, который развивается во времени и растет, поднимаясь на все более высокие этажи могущества — вплоть до понимания своей беспомощности? Этот твой Бог — существо, которое впуталось в божественность, как в безвыходную ситуацию, и понял это, предается отчаянию. Прекрасно, но отчаявшийся Бог — это человек, дорогой мой? Ты говоришь о человеке... Это не просто плохая философия, это даже плохая мистика.

— Нет, — упрямо сказал я, — я не о человеке говорю. Возможно, он определенными чертами соответствовал бы такому временному определению, но лишь потому, что оно полно дыр. Нам только кажется, будто человек сам ставит себе свои цели. Их навязывает ему время, в которое он родился, он может служить им или бунтовать против них, но объект служения или бунта задан ему извне. Чтобы познать абсолютную свободу поиска целей, ему следовало бы остаться в совершенном одиночестве, а это не получается, потому что человек, выросший без людей, не может стать человеком. Этот ... мой... должен быть попросту существом без множественного числа, понимаешь?

— Ну да, — сказал он, — как же это я сразу...

И протянул руку к окну.

— Нет, — возразил я, — и не этот. Максимум — как нечто, проскочившее в своем развитии шанс на божественность, слишком рано закапсулировавшись в себе. Этот уж скорее анахорет, космический отшельник, а не ко-

смический бог... Он повторяется, Снаут, а тот, о котором я говорю, никогда бы этого не сделал. Может, он рождается именно сейчас, в каком-то закоулке Галактики, и скоро, в приступе младенческого упоения, начнет гасить одни звезды и зажигать другие — со временем мы это увидим...

— Уже увидели, — поморщился Снаут. — Новые и сверхновые... или, по-моему, это свечи на Его алтаре?

— Ну, если ты хочешь толковать мою мысль так дословно...

— А может, именно Солярис — колыбель твоего божественного младенца, — добавил Снаут. Все более явственная усмешка окружила его глаза тонкими морщинками. — Может, это именно тот зачаток, о котором ты говоришь, зародыш Бога отчаяния, может, его детски бушующая жизненная сила гигантски превышает пока его разумность, и все, что содержат наши соляристические библиотеки — просто огромный каталог его младенческого баловства...

— А мы какое-то время были его игрушками, — закончил я. — Да, это возможно. И знаешь, что у тебя получилось? Совершенно новая гипотеза о сущности Солярис, а это не так уж мало! Причем ты сразу получаешь объяснение невозможности контакта, отсутствия ответа, определенной — назовем ее так — экстравагантности в обращении с нами: психика младенца...

— Отказываюсь от авторства, — буркнул он, останавливаясь у окна. Мы долго смотрели на черные волны. На востоке, у самого горизонта светилось во тьме бледное, продолговатое пятно.

— Откуда ты взял гипотезу об ущербном Боге? — спросил он вдруг, не отрывая взгляда от сверкающей пустыни.

— Не знаю. Она показалась мне очень, очень правдоподобной, понимаешь? Это единственный Бог, в которого я готов был бы поверить, мука которого не обещает искупления, который никого не спасает, ничему не служит, просто — есть.

— *Мимонд*, — совсем тихо, каким-то другим голосом сказал Снаут.

Приведенный фрагмент не нуждается в комментарии — любой комментарий неизбежно сведется к пересказу. Одно можно сказать: данный фрагмент не выводится автоматически из предыдущего повествования, он так же непредсказуем, как развязка хорошего детектива. И потому следует сказать несколько слов о цензуре.

Все цензурные превращения не смогли уничтожить в "Солярисе" идею Бога (см. часть первую нашего сообщения). Цензура оказывается бессильной против того, что образует самую сокровенную структуру повествования.

Но что же, в таком случае, цензура?

Цензура борется со структурой, с осмысленностью. Цензура стремится к уничтожению смыслового порядка, того порядка, который эллины назвали Космосом, иными словами, Цензура

стремится к Хаосу, и значит: Цензура — это Энтропия. Но, как мы видим, высшие ценности текста (Бог, в данном случае) успешно сопротивляются Хаосу. Это сопротивление, то есть негэнтропийная устойчивость, обусловлено мерой и уровнем организации произведения. Самое время порадоваться, вспомнить Закон Сохранения Текстов (“Рукописи не горят!”) и с должным уважением отнестись к собственной умственной проницательности.

Но радоваться рано. Да, идея Бога сохранилась, но в каком виде? Ведь все наши попытки истолкования не вышли за пределы того, что мы знали до чтения романа!

И это — Второй закон Цензуры. Цензура стремится к наиболее вероятной структуре, в нее она стремится превратить любую другую менее вероятную. И именно поэтому цензурное вмешательство приводит к возрастанию Энтропии в мире. Что это означает для произведения литературы или любого другого произведения мысли? Цензура стремится к банализации, к неразличимости, к тому, чтобы все походило на всех, к тому, чтобы всякий читатель превратился в Идеального Читателя, изрекающего только одно: “Это все мы уже читали! Ничего нового! Старая песня! Все это уже было в веках, бывших до нас!”

* * *

В заключение я считаю необходимым привести несколько наиболее пространственных фрагментов, отсутствующих в большинстве (в четырех из пяти) русских изданий романа. Опираясь на знание Второго закона Цензуры, мы сможем постигнуть и цель изъятия их из текста. Фрагменты даются в переводе Р. Нудельмана*.

Глава “Чудовища”

... Если же приблизиться к нему, так чтобы обе “стены ущелья” поднялись на сотни метров над самолетом, “туловище питона” окажется простирающимся до горизонта полем чудовищного вихря, столь головокружительного, что оно кажется сплошной слегка вздутой цилиндрической трубой. Поначалу видишь только этот водоворот осклизлой, зеленовато-серой густой жижи, нагромождения которой отражают яркие блики солнца, но

* Перевод публикуется без ведома автора.

когда машина зависает над самой поверхностью (а края "ущелья", тящего в себе "длугоня", вздымаются тогда по обе стороны словно две стены геологического раскола), замечаешь, что вихревое это движение имеет куда более сложный характер. По нему идут центростремительные круги, в глубине скрещиваются какие-то более темные потоки, временами верхний "покров" становится зеркальным и отражает небо и облака, а изнутри с грохотом прорываются выбросы набрякшего газами вязкого вещества.

... Первое же облако, застилающее небесную голубизну (я говорю так скорее по привычке, потому что "голубизна" эта на самом деле алого до багровости цвета, а в "голубой день" становится пронзительно белой), пробуждает немедленный отклик...

... Старые мимойды особенно часто образуют формы, способные вызвать непреодолимый смех. Я впрочем никогда не решался над ними смеяться, слишком потрясенный загадочностью зрелища...

В самом центре (впервые обследованном семьдесятю сотрудниками группы Гамалея) происходит, вызванное гиганто- и поликристаллизацией, образование осевого несущего стержня, который иногда называют "позвоночником", хотя я не принадлежу к поклонникам такого термина. Головокружительная архитектура этой центральной опоры поддерживается в ее текучем пребывании непрерывно взлетающими из километровых глубин вертикальными столбами разжиженной, почти жидкой слизи. В процессе этого извержения колосс издает протяжный глухой рев, его окружает стена яростно трепещущей, снежнотой крупной пены. Потом от центра к периферии расходятся в невероятно сложных вращениях утолщенные пластины, на которых оседают рвущиеся из глубины слои вязкого вещества, и одновременно уже упомянутые глубинные гейзеры, густея, превращаются в гибкие, с отростками, колонны, пучки которых стягиваются к точно определенным динамикой всей конструкции местам, напоминая собой гигантские стрелы какого-то растущего с безумной скоростью растения, по которым несутся потоки розовой крови и темно-зеленой, почти черной воды. С этого момента симметрия уже начинает проявлять свою самую необычную способность — моделировать, а то и напрочь опровергать определенные физические законы...

... Сегодня гипотезу Фермонта никто уже не разделяет. Она искушала, это верно — но представить себе, что вот этими титаническими взрывами, каждая частица которых подчиняется непрестанно усложняющимся формулам высшего анализа, живой океан постигает тайны матери, космоса, бытия ... нет, не выходило. В недрах гиганта таилось слишком много явлений, которые нельзя было согласовать с этим, по существу, простеньким (некоторые даже говорили — детски наивным) представлением.

Не было недостатка и в попытках придумать некие доступные модели симметриады, ее наглядные образы; довольно популярной стала аналогия Аверьяна, который изобразил дело так. Вообразим себе некую древнюю земную постройку, времен вавилонского могущества, созданную из живой, чувствительной и эволюционирующей субстанции. Пусть ее архитектура непрерывно преобразуется, проходя через последовательные стадии развития и на наших глазах приобретает черты архитектуры древней Греции, Рима, потом колонны начинают утоньшаться как стебли, своды теряют тя-

желовесность, становятся летящими, заостряются, арки превращаются в крутые параболы и под конец стрельчато изламываются; возникшая в процессе этого переливчатого превращения готика начинает взрослеть, а потом дряхлеть, перетекает в более поздние формы, прежняя суровость стрельчатого взлета, порыва сменяется взрывом оргиастической пышности, на наших глазах разрастается брызжущее своими излишествами барокко, а если мы будем продолжать этот процесс, трактуя наше непрестанно изменяющееся живое творение как последовательные этапы самостановления, мы придем наконец к архитектуре космодромной эпохи, одновременно приближаясь, быть может, к пониманию того, чем является симметриада.

Но даже и эта аналогия, как бы ее ни развивать и усложнять (а были даже попытки сделать ее зримой с помощью специальных моделей и фильмов), в лучшем случае остается беспомощной, в худшем же — хитрой уловкой, если не попросту ложью, потому что симметриада не похожа ни на что земное...

Человек способен одновременно постичь столь немногое; он видит лишь то, что происходит в его поле зрения, здесь и сейчас, попытка наглядно представить себе сразу множество процессов, пусть и взаимосвязанных, даже дополняющих друг друга, превышает его возможности. В этом убеждают уже сравнительно простые рассуждения. Судьба одного человека может означать для нас многое, судьбу нескольких сот трудно себе представить, а уж судьбы тысяч и миллионов попросту не значат для нас ничего. Симметриада — это миллион, нет, миллиард, возведенный в невероятную степень, это — невообразимое как таковое; что ж с того, что в глубине какой-то из ее ниш, представляющей собой удештеренное пространство Кронекера, стоим мы, люди, как муравьи, уцепившиеся за складки ее дышащих сводов, что из того, что мы видим взлет гигантских плоскостей, серо отсвечивающих в свете наших прожекторов, их взаимное проникание друг в друга, мягкость и точность решения, которое и существует-то всего один миг — ибо все тут переливается и течет, материалом этой архитектуры является само движение, сосредоточенное и целенаправленное. Ведь мы видим всего лишь крохотную частицу гигантского процесса, трепетание одной-единственной струны в симфоническом оркестре сверхсущств, мало того — мы знаем (но только знаем, не понимая), что одновременно над и под нами, в стрельчатых безднах, за пределами взора и воображения, происходят сотни тысяч и миллионов таких же преобразований, связанных друг с другом, как музыкальные звуки, математическим контрапунктом. Не случайно кто-то назвал симметриаду геометрической симфонией, но тогда мы — ее глухие слушатели.

Чтобы действительно что-нибудь увидеть, тут следовало бы выйти наружу, отодвинуться в какую-то невообразимую даль, но ведь в симметриаде все — внутри, она — размножение в самой себе, грохочущие обвалы родовых схваток, непрестанное становление, в котором создаваемое одновременно является создающим, и даже пресловутая мимоза не столь чувствительна к прикосновению, как здесь какая-нибудь отдаленная на мили, отгороженная сетью уровней часть симметриады — к изменениям, совершающимся там, где мы стоим. Здесь каждая невообразимой красоты мгновенная конструкция целого является конструктором всех последующих, сотворя-

ющихся в ней и с ней, а они, в свою очередь, моделируют ее. Симфония? — пусть, но такая, что сама себя пишет и сама себя душит. Конец симметриады ужасен. Всякий, кто его видел, не может отделаться от ощущения, что был свидетелем трагедии, если не убийства. Спустя два, максимум три часа — этот взрывоподобный рост, размножение и сотворение никогда не длятся дольше — живой океан переходит в наступление. Выглядит это так: гладкая поверхность покрывается складками, присмиривший было, покрытый засохшей пеной прибой начинает вскипать, от самого горизонта набегают, стягиваясь к центру, вереницы кольцевых валов — таких же мясистых кратеров, что сопровождают рождение мимоида, но на сей раз несравненно выше. Подводную часть симметриады отсекает, словно ножом, великан начинает медленно подниматься, словно его вот-вот вышвырнет за пределы планеты; верхние слои живой желатины приходят в движение, ползут все выше, на боковые стены, обволакивают их, загустевая, забивают проломы — но все это ничто в сравнении с тем, что одновременно происходит внутри. Поначалу формотворческие процессы, становление друг из друга очередных архитекторник, на мгновение приостанавливаются, затем — чудовищно ускоряются, все прежние движения, плавное перетекание форм, их трепетание, крылатое разрастание фундаментов и сводов, доселе мерное и уверенное, словно на века, становится судорожно торопливым. Возникает гнетущее впечатление, что этот гигант, ощутив грозящую ему опасность, начинает бешено рваться к какому-то самоосуществлению. Но чем больше возрастает скорость изменений, тем явственней становится ужасная, вызывающая отвращение метаморфоза самого строительного вещества и его динамики. Стрельчатые смыкания изумительно гибких плоскостей размякают, становятся дряблыми, обвисают, процесс начинает спотыкаться, появляются формы незавершенные, уродливые, искаленные, из невидимых глубин доносится нарастающий грохот и рев, воздух, выталкиваемый словно в последнем, агональном вздохе, прорывается сквозь сужающиеся теснины, хрипя и громяхая в туннелях, и понуждает падающие своды захлебываться стенами, словно какую-то гортань растущими в ней слизистыми сталактитами, этими мертвыми голосовыми связками, и внезапно, невзирая на весь этот лихорадочный, головокружительный вихрь, — а это уже вихрь уничтожения — ты оказываешься в самом центре абсолютной мертвенности. Один лишь ураган, воющий в бездне, рвущийся из нее по тысячам шахтных колодцев, и поддерживает еще, распирая изнутри, взметенную в небо конструкцию, которая начинает медленно стекать вниз, распаться, словно вспыхнувшая пластмасса, и лишь кое-где еще можно заметить последнее трепетание — хаотические, обособленные слепые движения, затихающие на глазах, — пока весь этот, непрестанно атакуемый изнутри, подкошенный гигант не обрушивается величаво, как громадная гора, и исчезает в столбах пены — точно таких же, как те, что сопровождали его возникновение.

И что же это все означает? Вот именно — что это означает?

Помню, как к нам, в солирийский институт в Адене, в бытность мою ассистентом Гибаряна, привели какую-то школьную экскурсию и, поведя боковыми залами библиотеки, впустили наконец в главное ее помещение, львиную часть которого заполняли кассеты с микрофильмами. На

них запечатлены лишь крохотные участки внутренних полостей симметриад, разумеется — давно уже не существующих, и собрано их там — не отдельных снимков, а целых роликов — свыше девяноста тысяч. И тогда маленькая, лет пятнадцати девчушка в очках, с решительным и разумным взглядом, внезапно спросила:

— А зачем это все?

В наступившем неловком молчании только учительница бросила суровый взгляд на свою незадачливую ученицу; никто из сопровождающих экскурсию соляристов (я тоже был среди них) не мог дать ответа. Ибо симметриады неповторимы, как неповторимы, в основном и происходящие в них явления...

Асимметриады возникают сходно, только конец у них другой, и в них вообще невозможно увидеть ничего, кроме трепетания, мелькания и пламени; известно лишь, что это область головокружительных процессов, на пределе физически допустимых скоростей, называемых еще "гигантски укрупненными квантовыми явлениями". Но их математическое подобие определенным атомным моделям так мимолетно и изменчиво, что некоторые считают его побочным, а то и вообще случайным. Они живут несравненно меньше симметриад, считанные минуты, а их конец чуть ли не более ужасен, потому что вслед за ураганом, который заполняет их и распирает плотным, ревущим вихрем, внутри них вдобавок начинает с дьявольской хищностью вздыматься океанская жижа, бурлящая под покровом грязной пены и заливающая все на своем пути — отвратительная булькающая жижа, которая наконец взрывается грязевым вулканом, вышвыривая в небо, точно каловую пробку, столп всевозможных останков, которые затем, размокнув, долго еще падают дождем на взволнованную поверхность океана. Некоторые из них, унесенные ветром, высохшие как щепки, пожелтевшие, плоские и оттого похожие на кости каких-то перепончатокрылых или хрящи, можно потом увидеть колышущимися на волнах за много десятков километров от места взрыва.

Особую группу составляют образования, полностью отделяющиеся от живого океана на то или иное время и куда реже и труднее наблюдаемые. Обнаруженные впервые, они были совершенно неправильно, как оказалось позже, классифицированы как истлевшие останки существ, живущих в глубинах океана. Порой кажется, что они несутся над океаном, как причудливые, многокрылые птицы, спасаясь от нагоняющих их стай хищников, но это земное сравнение и здесь оказывается заслоном, сквозь который невозможно пробиться. Временами, хоти и крайне редко, на скалистых берегах островов можно увидеть странные, похожие на стада тюленей, бескрылые образования, которые греются на солнце или лениво сползают в океан, чтобы снова слиться с ним в единое целое.

Вот так мы вращались в кругу земных, человеческих понятий, а тем временем первый контакт...

Глава "Мыслители"

Стало быть — монументальная, на столетия растянувшаяся агония; именно так трактовали Солярис, усматривая в длугонах или мимоидах сво-

его рода раковые опухоли, доискиваясь в процессах, происходящих в жидком океане, признаков хаоса и неуправляемости — пока этот подход не превратился в одержимость, так что вся литература последующих семи, восьми лет — хоть, ясное дело, не содержащая выражений, выдающих чувства авторов, — стала одним сплошным сводом оскорбительных поношений, своего рода мстью одиноких, потерявших вождей рядовых соляристов этому неизменно равнодушному, игнорирующему их существование объекту надсадных исследований.

... Примерно за два года до того, как я, окончив Институт, пришел в лабораторию Гибаряна, возник фонд Метта-Ирвинга, обещавший большую награду тому, кто применит для людских надобностей энергию океанической субстанции. На это покушались и до того, и космические корабли перевезли на Землю не один контейнер желатиновой плазмы. Столь же долго и терпеливо разрабатывали методы ее хранения, используя то высокие, то низкие температуры, искусственную микроатмосферу и микроклимат, консервирующие облучения и наконец тысячи химических воздействий, и все для того, чтобы потом беспомощно созерцать более или менее медленный, но неуклонный процесс распада, подобный, понятное дело, на все прочие, многократно описанные с величайшей тщательностью, во всех их стадиях — самопожирание, размягчение и наконец расплавление — первичное, или раннее, и вторичное, более позднее. Та же судьба ожидала и пробы, взятые из всевозможных порождений и образований плазмы. Отличались лишь пути, ведущие к финалу, которым неизменно оказывалась легкая, как пепел, металлически поблескивающая, истонченная собственными ферментами пористая пыль. Ее состав, соотношение элементов и химическую формулу мог сказать на память любой солярист.

Полная неудача попыток сохранить живой — или хотя бы в состоянии вегетативной спячки, ледяного сна — какую бы то ни было частичку чудовища, вырванную из планетарного организма, породила убеждение (развитое школой Меуньера и Пророха), что разгадать нужно одну-единственную тайну, и когда мы найдем для нее ключ соответствующей интерпретации, все сразу станет ясно.

На поиски этого ключа, этого “философского камня” Солярис тратили время и силы люди, ничего общего не имеющие с наукой, и на четвертом десятке лет существования соляристики наплыв этих маньяков-комбинаторов из вненаучной среды, этих одержимых, увлеченностью далеко превосходящих своих предшественников, жрецов “перпетуум мобиле” или “квадратуры круга”, приобрел масштабы эпидемии, всерьез встревожив некоторых психологов. Но еще через несколько лет эта страсть угасла, и когда я готовился к путешествию на Солярис, она давно уже сошла с газетных страниц и исчезла из разговоров — как, впрочем, и сама проблема океана.

Ставя на место том Гравинского, я наткнулся рядом, поскольку книги стояли по алфавиту, на тоненькую, едва заметную среди толстых кошечек, брошюрку Граттенстрема — один из самых экстравагантных продуктов солярианской словесности. Это была работа, обращенная — в попытке понять Внечеловеческое — против самих людей, своего рода пасквиль на человеческий вид, яростный в своей математической сухости труд

самоучки, опубликовавшего прежде ряд необычных дополнений к очень запутанным и скорее периферийным ответвлениям квантовой физики; в этом своем главном, хотя и насчитывающем считанные страницы, необычайнейшем произведении он пытался показать, что даже самые с виду абстрактные, математизированные достижения науки в действительности лишь на шаг-другой поднялись над доисторическим, грубым, антропоморфным пониманием окружающего нас мира. Вынюхивая в формулах теории относительности, теоремах силовых полей, в парастатике, в гипотезах единого космического поля следы человеческой телесности, все то, что является там производным и следствием существования человеческих чувств, ограничений и ущербности звериной физиологии человека, Граттенстром приходил к заключению, что ни о каком контакте человека с внечеловеческой, агуманоидной цивилизацией нет и не может быть речи — никогда. В этом пасквиле на весь человеческий род мыслящий океан не упоминался ни словом, но его присутствие, скрытое горделивым торжествующим умолчанием, ощущалось буквально в каждой фразе. Я, во всяком случае, именно это ощущал, когда впервые читал брошюру Граттенстрома. Она представляла собой скорее курьез, нежели соляристику в обычном понимании, а в классической библиографии числилась только потому, что ее поместил туда сам Гибарян, который, впрочем, когда-то мне ее и подсунил.

Со странным чувством, похожим на уважение, я осторожно всовывал тонкий, даже переплетенный типографский оттиск на его место среди других книг на полке. Кончики пальцев коснулись зеленоватой бронзы "Солярийского альманаха". Несмотря на всю путаницу, в которой мы барахтались, на всю нашу беспомощность, невозможно было отрицать, что благодаря переживаниям этих нескольких дней мы обрели ясность по крайней мере в некоторых принципиальных вопросах, из-за которых годами проливались моря чернил в бесплодных — из-за их неразрешимости — дискуссиях.

Какой-нибудь достаточно упрямый любитель парадоксов мог бы и дальше сомневаться в том, является ли океан живым существом. Но нельзя было уже отрицать существования его психики, что бы ни понимать под этим словом. Теперь было очевидно, что он слишком даже хорошо замечает наше присутствие над собой... Уже один этот вывод начисто перечеркивал широко разработанное направление соляристики, утверждавшее, будто океан является "вещью в себе", "бытием для себя", лишившимся — в результате вторичной редукции — некогда имевшихся у него органов чувств, будто он ничего не знает о существовании внешних явлений или объектов, полностью замкнутый в круговороте своих гигантских мыслительных потоков, приютом, лоном и творцом которых является его вращающаяся под двумя солнцами бездна.

И еще: мы узнали, что он способен искусственно синтезировать то, чего мы сами не умеем — наши тела, даже совершенствуя их путем введения в их субатомные структуры непонятных изменений, наверняка связанных с целями, которыми он руководился.

Итак — он существовал, жил, мыслил, действовал; и надежда свести "проблему Солярис" к бессмыслице или нулю, объявить, что перед нами

никакое не "существо", а потому наш проигрыш — фактически и не проигрыш даже, — все это рушилось раз и навсегда. Хотели они того или не хотели, люди вынуждены будут теперь принять к сведению это соседство, которое — пусть через миллиарды километров, пусть отделенное пропастью световых лет, — встало на путях их экспансии, более трудное для постижения, чем вся остальная Вселенная.

... И еще один небольшой, обтянутый кожей аккуратный том заблудился в рядах ежегодников "Альманаха". Какое-то время я вглядывался в его потемневшую от прикосновений обложку, не решаясь его открыть. Старая то была книга, это "Вступление в соляристику" Мунтиуса, я помнил ночь, проведенную над ней, и усмешку Гибаряна, протягивавшего мне свой экземпляр, и земной рассвет в окне, когда я дочитал до слова "конец". Соляристика, писал Мунтиус, — это суррогат религии космического века, это вера в наряде науки; контакт, цель, к которой мы стремимся, так же сомнителен и темен, как сожительство святых или пришествие Мессии. Космические исследования — это облеченная в методологические формулы литургия, рабский труд исследователя — ожидание чуда, Откровения, — ибо нет и не может быть мостов между Землей и Солярис. Эту очевидность, равно как и другие подобные: отсутствие общего опыта, отсутствие понятий, которые можно было бы сообщить — соляристы отвергают, точно так же как верующие отвергали аргументы, подрывающие основы их веры. Чего в сущности ждут, на что могут надеяться люди, "установив информационную связь" с мыслящими морями? Рассказа о желаниях, страстях, надежде и страдании, обнажающихся в мгновенном рождении живых гор, о превращении математики в материю, одиночества и отчаяния — в полноту бытия? Но ведь все это — знание, которое невозможно пересказать, а если даже попытаться переложить его на какой угодно земной язык, то все поиски ценностей и значений сотрутся при переводе, останутся по ту сторону. Да ведь и не таких, более уместных в поэзии, чем в науке, откровений ждут "верующие", нет, ибо, сами не отдавая себе отчета, они ждут Откровения, которое объяснило бы им смысл человека! Значит, соляристика — это последний давно умерших мифов, шелушение мистических толмечей, которые люди вслух, в голос уже не смеют высказать, а ее краеугольным камнем, таящимся глубоко в фундаменте ее здания, является надежда на Искупление...

Не решаясь признать, что именно так обстоит дело, соляристы заботливо избегают любого толкования Контакта, так что он становится в их трудах чем-то окончательным, и в то время, как на первом, еще трезвом этапе рассуждений он мыслится всего лишь как начало, вступление, выход на новую дорогу, только одну из многих, — с годами, обожествленный, он стал их вечностью и небом...

Прост и горек анализ Мунтиуса, этого "еретика" планетологии, ослепителен в своем отрицании, в разрушении солярийского мифа, а точнее — Миссии Человека. Этот первый голос, отважно прозвучавший еще в те времена, когда соляристика была полна уверенности и романтики, был встречен абсолютным, уничтожающим молчанием. Оно и понятно, даже слишком, ведь принять тезисы Мунтиуса означало бы перечеркнуть соляристику в том виде, в каком она тогда существовала. Через пять лет после смерти

Мунтиуса, когда уже и книга его стала библиографической редкостью, белой вороной, которую не найти было ни в собраниях солярианы, ни в философских книгохранилищах, возникла школа его последователей, норвежский круг, в котором спокойный тон его изложения, распавшись по индивидуальностям эпигонов, превратился в едкую, запальчивую иронию Эри Эннессона, а в несколько более тривиальном варианте — в прикладную соляристику (или “утилиристику”) Фланги; этот последний требовал сосредоточиться на той конкретной пользе, которую могут принести исследования, не обращая внимания на украшенное мечтаниями, порожденное ложными надеждами стремление к контакту цивилизаций, к интеллектуальному слиянию двух культур. Однако в сравнении с безжалостной ясностью анализа Мунтиуса труды всех его духовных учеников остаются не более, чем копанием в мелочах, если не обычной популяризацией — за исключением работ Эннессона и, пожалуй, Такаты. Фактически Мунтиус сам все расставил по местам, когда определил первый период соляристики как время “пророков” (к которым он отнес Гизе, Холдена и Севаду), а второй — как “великую схизму”, раскол единой солярийской церкви на множество воюющих друг с другом верований — а затем предсказал и третий период — догматизации и схоластического окостенения, который наступит, когда будет исследовано все, что только может быть исследовано. Но так не случилось. Гибарян, думал я, оказался все же прав, когда называл выводы Мунтиуса монументальным упрощением, которое не принимает в расчет все то, что отличает соляристику от религии, — ибо в ней доминировала, в конечном счете, неистребимая посюсторонность, не возвещавшая ничего кроме конкретного, вещественного планетарного шара, обращаящегося вокруг двух солнц.

В книгу Мунтиуса вложен был сложенный вдвое, совсем пожелтевший оттиск из ежеквартальника “Парерга Соляриана” — одна из первых работ Гибаряна, еще до того, как он возглавил Институт. Вслед за названием — “Почему я стал соляристом?” — шел сжатый, как военная диспозиция, перечень конкретных явлений, дающих реальную надежду на Контакт. Ибо Гибарян принадлежал к тому, чуть ли не последнему поколению исследователей, которые еще имели мужество напоминать о ранних годах расцвета и оптимизма и не отрекались от своеобразной, выходящей за обозначенные наукой границы, веры — но веры вполне материальной, ибо она покоилась на убежденности в неминуемом успехе человеческих усилий, только бы достаточно упорных и непрестанных.

Гибарян исходил из хорошо известных, классических исследований биоэлектроников евразийской школы, Хо-Эн-Мина, Нгуалли и Кавакадзе. Они обнаружили признаки сходства между картиной электрической деятельности мозга и определенными разрядами, происходящими в солярийской плазме при образовании таких ее порождений, как раннестадийные Полиморфы и подобные близнецам Соляриды. Гибарян отвергал чересчур антропоморфные интерпретации, все эти мистифицирующие тезисы психоаналитических, психиатрических, нейрофизиологических школ, которые пытались приписать желатиновому океану отдельные человеческие болезни, как, например, эпилепсию (аналог которой они видели в судорожных взрывах симметриад); среди глашатаев Kontakta он был одним из самых осто-

рожных и трезвых и ничто так не ненавидел, как сенсации, которые — правда, теперь уже очень редко — сопровождали то или иное открытие. Волну такого дешевого интереса пробудила, кстати, моя дипломная работа. И она тут наверняка была, конечно — не оттиск, просто таилась где-нибудь в ящике микрофильмов. Я исходил в ней из новаторских работ Бергмана и Рейнольдса, которым удалось выделить из мозаики процессов в мозговой коре и “отфильтровать” составляющие, которые сопутствовали самым ярким человеческим эмоциям — отчаянию, боли, наслаждению, — затем я сопоставил эти данные с графиками электрических разрядов океана и обнаружил такие колебания в профиле кривых (снятых с определенных участков чаши симметриад, у подножья незрелых мимойдов и т. д.), которые демонстрировали заслуживающие внимания аналогии. Этого хватило, чтобы мое имя тотчас появилось в бульварной прессе под шутовскими заголовками вроде “Желатина в отчаянии” или “Планета в оргазме”. Но в конце концов это пошло мне на пользу (во всяком случае так мне казалось до недавнего времени), потому что Гибарян — который, подобно другим солжаристам, не мог уследить за всеми публикующимися в серьезной печати исследованиями, тем более новичков, — обратил на меня внимание и послал мне письмо. Это письмо подвело черту под одним и открыло другой период моей жизни.

Глава “Сны”

... Рядом со мной что-то ожидало разрешения, моего согласия, внутреннего кивка, а я знал, точнее что-то во мне знало, что нельзя поддаваться непонятному искушению, потому что чем больше я — мопчанием — обещаю, тем ужаснее будет конец. Но на самом деле я этого не знал, потому что тогда бы, наверно, боялся, а как раз страха я не испытывал ни разу. Я ждал. В окружавшем меня розовом тумане возникло первое касание, а я, неподвижный как колода, глубоко погруженный во что-то, что меня как бы замыкало, не мог ни пошевелиться, ни отпрянуть, и “оно” изучало мою порьму прикосновениями, слепыми и зрячими одновременно, и то была уже как бы ладонь, которая меня творила, до той минуты я был слепым и вот — прозрел — под пальцами, на ощупь блуждавшими по моему лицу, возникали из небытия мои губы, щеки, и по мере того, как это разделенное на бесконечно крохотные частицы прикосновение расширялось, появилось уже и мое лицо, и дышащая грудь, словно призванные к существованию этим актом творения — актом взаимным, ибо и я, творимый, в свою очередь творил, и напротив меня возникало лицо, которого я никогда прежде не видел, чужое, знакомое, я пытался заглянуть ему в глаза, но не мог, потому что все пропорции были искажены, тут не было никаких направлений, и вот, в каком-то молитвенном молчании мы познавали друг друга и становились — друг другом, и я уже был живым собой, но укрупненным, как бы безграничным, а то существо — женщина? — продолжало, как и я, пребывать в неподвижности. Биение крови переполняло нас, и мы были одно, как вдруг в немислимую замедленность этой сцены, вне которой ничего не существовало и как бы не могло существовать, вкралось что-то невооб-

разимо мерзкое, непостижимое и противное естеству. То же касание, которое создало нас и невидимым, золотым плащом обволакивало наши тела, стало расплзаться по ним мурашками. Наши тела, обнаженные и белые, размякли и потекли, чернея, потоками извивающихся червей, которые выходили из наших уст, как воздух, и вот уже я был — мы были — я был сверкающей, лихорадочно сплетающейся и расплетающейся массой ползающих глистов, бесконечной, нескончаемой глистообразной массой, и в этой бескрайности — нет! — это я, бескрайность, выл без голоса, умоляя, чтоб погасло, кончилось сознание, но именно тогда я стал разлетаться во все стороны и набрякать более страшным, чем любая явь, стократ умноженным, собранным в черных и багровых далах, то каменно стынущим, то взрывающимся где-то, в свете иного солнца или мира, — страданием.

Это был самый простой из снов, других я не могу пересказать, потому что пульсировавшим в них источникам ужаса уже невозможно подыскать никакого соответствия в бодрствующем сознании. О существовании Хэри я не знал в этих снах ничего, но и никаких дневных воспоминаний или переживаний тоже не мог в них обнаружить.

... — Ибо все, что он собой представляет и делает, — просто моление о смерти... (Снаут о б Океане.)

Глава "Старый мимойд"

... Дуга, которую я не слишком удачно описал, унесла меня далеко на подвстренную сторону, мимойд остался позади — широкое, светлое пятно, неправильностью контура выделяющееся на поверхности океана. Он утратил ту розоватость, в которую его окрасил туман, и теперь светился желтым, как высохшая кость, цветом; на минуту я потерял его из виду, вместо него в визире появилась далекая Станция, которая, казалось, висит над самым океаном как огромный старинный дирижабль. Я повторил маневр, сосредоточив на нем все внимание; громада мимойда с его крутой гротескной резьбой росла по курсу. Мне показалось, что я вот-вот царапну один из его шишковидных выступов, и я дернул машину так резко, что она затряслась, теряя скорость; излишняя предосторожность, потому что округлые вершины причудливых башен проплыли далеко внизу.

... То, что я сначала принял за стену, чуть было ее не коснувшись, было громадной, дырявой как решето, перепончато тонкой костяной плитой, поставленной на-попа и покрытой похожими на галерейки утолщениями. Щель шириной в несколько метров рассекала наискось всю эту многоэтажную плоскость, открывая вид в глубину, куда вели также большие, нерегулярно разбросанные по плите отверстия. Я забрался на ближайшую наклонную арку, убедившись при этом, что ботинки скафандра замечательно присасываются, а сам скафандр совсем не мешает движениям, и оказался в четырех этажах над океаном, лицом к какому-то скелетному ландшафту. Только теперь я мог охватить его взглядом.

Сходство с древним, наполовину в руинах городом, каким-нибудь марокканским селением прошлых веков, разрушенным землетрясением или другим катаклизмом, было поразительное. Я отчетливо видел извилистые,

частично засыпанные и перегороженные обломками ущелья улиц, их запутанные, крутые спуски к берегу, который облизывала густая пена, уцелевшие зубцы, бастионы и их округлые обводы, в выпуклых и вогнутых стенах — черные дыры, похожие на рухнувшие оконные проемы или пушечные бойницы. Весь этот город-остров, тяжело накренившись набок, словно полузатонувший корабль, плыл, увлекаемый бессмысленным, беспорядочным движением, едва заметно вращаясь, о чем свидетельствовало кажущееся движение солнца по небосводу, вызывавшее ленивое перемещение теней в закоулках руин; временами сквозь них прорывался солнечный луч, дотягиваясь до того места, где стоял я. Я поднялся еще выше, уже рискованно, из торчащих и висящих над моей головой выростов начал струйками осыпаться мелкий песок; падая, он застилал большими клубами пыли извилистые ущелья и улицы; впрочем, мимойд, разумеется, — не скала, и его сходство с известняком исчезает, едва возьмешь в руку любой обломок — он намного легче пемзы, мелкоячеистый и потому необычайно воздушный.

Я забрался уже так высоко, что ощутил его движение: он не только плыл, неведомо откуда, неведомо куда, подталкиваемый мускулистыми ударами океана, но еще и покачивался, раз в одну, раз в другую сторону, необычайно медленно, и вдобавок каждый из этих наклонов сопровождался протяжным, липким шумом стекающей через край бурой и желтой пены. Он начал качаться очень давно, наверно с рождения, и сохранил этот ритм до сих пор благодаря своей огромной массе; оглядев его, насколько было возможно, со своего воздушного наблюдательного пункта, я осторожно спустился; и странно — только теперь понял, что мимойд меня совершенно не интересует, что я прилетел сюда встретиться не с ним, а — с океаном...

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

"ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА"

Книга известного ученого и публициста. Первая часть представляет собой аутентичный самиздатский материал о возрождении еврейского национального сознания в России, вторая часть рассказывает о встрече с политической действительностью современного Израиля.

300 стр.

16 долларов

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

— Во-первых, начните — откуда вы растете как поэт, из какой традиции?

— Мой случай является, некоторым образом, странноватым, поскольку замечено, что писатель часто (и чаще всего — современный писатель, пишущий на русском языке) — представитель поколения. Я не ощущаю себя принадлежащим к какому-то определенному поколению. Хотя там, где я родился, где я вырос, где я начал писать — в городе Ленинграде, — вот этот развод по поколениям был очень серьезен. Поколение — это в первую очередь связанная с возрастной категорией компания. В частности, то, что принято называть “ленинградской школой поэзии” — это несколько подряд идущих поколений...

— Вы сейчас продолжаете эту традицию или вы от нее отошли?

— Нет, я конечно уже давно не поэт “ленинградской школы”, к которой, на самом деле, повторяю, и не принадлежал. Еще раз, возвращаясь к предыдущему, следует заметить, что под “ленинградской школой” я понимаю некий пост-акмеизм с обериутским акцентом петербургского толка, что расцвел в Ленинграде и явными представителями которого — по возрастным группам — являются, например, Еремин и Волохонский, затем шеренга Бродского, затем идущие по росту Кривулин или Елена Шварц... Три поколения.

— Вы продолжаете поддерживать связь с ними?

— Нет. Эта связь, на самом деле, прервалась даже раньше, чем я уехал из Ленинграда (а с Бродским я лично не знаком), потому что ощущение чего-то “не своего” и какого-то странного сдвига — в первую очередь, сдвига непричастности к это-

Михаил Генделев

ДОРОГА НА ОДНОГО...

му, сдвига отстранения от интересов "ленинградской школы" — я испытывал уже в Ленинграде.

— *Какие вы испытываете творческие импульсы? Или вы не отдаете себе отчета в этом?*

— Я внимательно отношусь к взаимосвязи между действительностью, окружающей меня, и действительностью литературной и пытаюсь выстроить свою поэзию на этой взаимосвязи. Сам принадлежу, естественно, обоим действительностям. Причем, если раньше я предполагал, что принадлежу действительности бытовой как человек, а действительности литературной — как поэт, то нынче подозреваю, что к обоим действительностям причастен прежде всего как поэт.

— *И между ними есть конфронтация?*

— Есть напряжение, совершенно справедливо. И именно эти силовые линии, так сказать — между анодом и катодом, и создают напряжение поэзии. Поэт может расположить интересы, искать темы и вдохновение везде. Он может найти их в истории, в литературе, в религии, в культуре, непосредственно в быте — вплоть до социальных проблем.

— *А как вы решаете языковую проблему — проблему отрыва от языковой среды? Для поэта она стоит так же, как для прозаика?*

— Я ее не решаю. Я ее переживаю... Я думаю, что для традиционного поэта она просто убийственна. Куда страшнее, чем для прозаика.

— *Но вот однажды Максимов сказал, что поэт-де оперирует универсальными категориями и меньше зависит от реальности, а потому его положение — в ситуации отрыва от среды — лучше, чем прозаика. Вы считаете наоборот?*

— Принципиально наоборот. Дело в том, что Максимов пренебрегает единством: тематическое наполнение прозы и соответствующий ей словарь. А хотя поэт в какой-то степени существо, конечно, более изолированное, но ведь и под прозой я понимаю не то, что понимает Максимов. Он исходит, прежде всего, из социального наполнения прозы, поэтому так подчеркивает ее связь со средой, а для меня нет иной среды, для меня язык — среда.

— *Значит, по-вашему, отрыв от среды не менее губителен и для поэта?*

— Да, эмиграция, отлучение от языкового "аквариума" — это катастрофа. Это просто катастрофа: суживается словарь, причем словарь и человеческий, и поэтический, то есть активный словарь. Никакое чтение не восполняет подобного рода потерь. Плюс — языки расходятся. Язык ведь принадлежит своему времени, кроме всего прочего. Но! Но тут существуют определенные, выработанные мною для себя способы самозащиты, своего рода гигиена творчества. Во-первых, в силу специфики того, о чем я пишу — не что я пишу, а о чем я пишу — я пытаюсь всеми силами избежать конкретных временных реалий. Это не столько механический, искусственный процесс, сколько попытка выделения, выщелачивания из текста тех ситуаций, которые имеют конкретные временные (подчеркиваю — временные, а не времные) связи. Удаление того, что имеет реальные временные характеристики. А поскольку языковая масса и есть наполнение поэзии, то такая попытка создает своего рода "сюжет", очень интересный сюжет, интересную возможность работы. Но это, конечно, вынужденная необходимость, поскольку одновременно она означает не только сужение словаря, но и суже-

ние тематики. Тем не менее такой подход позволяет мне рассматривать эмиграцию, как своего рода "поэтический прием". И только игра на этом "приеме" может быть действенной, потому что все остальное оборачивается проигрышем. Выигрышем может быть только сам процесс игры, процесс выяснения отношений. Дело в том, что позиция "постороннего наблюдателя", которая возникает, так сказать, "сюжетно" для писателя-эмигранта по отношению к окружающей его действительности, — это позиция выигрышная, это само по себе — игра.

— *Но это игра лишь для тех, кто умеет. И уж во всяком случае не для читателей.*

— Да, конечно, для тех, кто умеет. Эти забавы требуют и искусства, и мужества, и выдержки, и — самое главное — артистизма. Но это, в каком-то смысле, — стимуляция литературного творчества. При этом — убийственная стимуляция, допинг! Человек, который не готов к такого рода игре, выбывает из нее немедленно, и хорошо — не инвалидом...

— *Я понимаю. В обычных условиях круг ориентации у писателя вынужденно широк, здесь он сужен — отсутствием реальности, отсутствием среды. Но появляются новые стимулы творчества, порожденные именно этой ситуацией, ибо она вас освобождает от определенных "обязательств" по отношению к "читателю"...*

— Понято совершенно верно. Это с одной стороны. Но есть и другая. Это — "не-эмиграция" в нашей ситуации. Иными словами — специфика израильской жизни и нас в ней. В этой ситуации разыгрываются еще несколько очень серьезных факторов. Прежде всего, мы начинаем здесь — по собственному выбору — новую полноценную, неэмигрантскую жизнь. А это значит, что собственная судьба может стать для поэта "сюжетом". Нет, не человеческая судьба, а творческая, поэтическая судьба.

— *Творческие конфликты с новой действительностью становятся источником размышлений?*

— Совершенно верно. Личные, человеческие конфликты немедленно выходят за рамки чисто бытового и становятся рабочими. Скажем, житейскую ситуацию (или судьбу) Бунина в парижской литературной эмиграции я рассматриваю как социальную, бытовую, какую угодно, но — не литературную драму, потому что это всего-навсего было конфликтом личности с окружением. Это конфликт русскоязычного писателя с иноязычным окружением.

— *А как вы решаете эту ситуацию в Израиле?*

— А я ее не решаю! Эта ситуация мне помогает работать. Это даже не парадокс. Это просто стимуляция. Я могу стать персонажем собственного приключения. Я рассматриваю свое пребывание в Израиле как некую невероятную удачу, ибо как путешественнику дается возможность посмотреть громадное количество стран, оставаясь самим собой, точно таким же образом у меня, в моем жизненном путешествии, появилась возможность, оставшись самим собой, прожить новую жизнь — прежде всего, как новую, иную жизнь литератора. Иными словами, это — литературное приключение, творческое путешествие. Собственная жизнь — сюжет.

— *Но как же все-таки с почвой? Самые общие, достаточно упрощенные представления о литературном процессе предполагают, что он растет из*

определенной культурной почвы, тогда как писатель-эмигрант остается как бы в безвоздушном пространстве.

— Во-первых, я не ощущаю “безвоздушия”. Во-вторых, если даже есть ситуация неподдержания тебя средой, индифферентности среды по отношению к тебе, то это опять-таки невероятная возможность для новых комбинаций, сюжетных и тематических. Давайте отдадим себе отчет: что такое вообще “эмигрантская тема”? Это тема писателя, покинувшего родину...

— *Есть эмиграция и эмиграция. Скажем, первая русская эмиграция, после революции, привезла с собой весь “нормальный” культурный “набор”: писателей, поэтов, критиков, публицистов, философов — и читателей. Пусть и в миниатюрном виде. У нас же такого “набора” нет. Наш круг и аудитория более узки даже, чем в собственно русской современной эмиграции...*

— Это не так. Во-первых, и у нас есть достаточно внушительный литературный круг. А во-вторых, и это мне кажется главным, мы нащупали другой путь, другой способ выживания... Мы поступили — или начинаем поступать, или могли бы начать поступать — как Робинзон Крузо. Мы начали сами себе организовывать среду. Появились критики, появились публицисты...

— *А читатели?*

— Вы знаете, с моей точки зрения, литература, как ни странно, вполне может обойтись без читателя. Во всяком случае, до той поры, пока этот читатель, наконец, не начинает интересоваться этой литературой. Ну, так нет читателя! Ну, и что? А почему он должен быть?! Ведь, в конце концов, литература — это достаточно сложный механизм. Взаимодействие словесности с читателем — неоднозначный процесс и не единственная цель литературы. Я, например, считаю, что одной из причин падения уровня русской литературы в нашем веке был как раз зазор, расхождение между, так сказать, “истинной” литературой и требованиями, вкусом читателей.

— *Ну, это происходит в любой литературе...*

— Нет, нет, это не так. В русской литературе имело место следующее обстоятельство. Начиная с какого-то вполне известного времени русская литература лишилась сразу и прежнего писателя, и прежнего читателя. К чему это привело? Выжившие читатели, за неимением современной им качественной литературы, обернулись к незапретному — в сторону классики. Посему на сегодняшний день мы наблюдаем в России поколение читателей, чьи художественные вкусы, литературные вкусы лет на сто отстали от современной литературы. А с другой стороны, возникла писательская проблема, ибо качественная словесность в России до сих пор остается подпольной. А в подполье некомфортабельная жизнь — там крысы. Тогда — чем отличается ситуация такого писателя от нашей? Даже в смысле так называемого “читателя”? Ничем! Читатель такого “подпольного писателя” в упор не видит. В его реальности такой писатель отсутствует. Я это испытал на себе, я прожил такую юность подпольного, непечатаемого поэта в России, поэтому для меня наличие или отсутствие “реального”, “массового” читателя потеряло всякий смысл. Во всяком случае, в последнее время. Может, сказалось как раз воспитание в этом подпольном ленинградском “ли-

цее". А сейчас меня читатель просто перестал интересоваться. Признаюсь — этого не было, раньше я мучился этими проблемами — вот, как вы.

— *Но как же без читателя?*

— А вот так! В конце концов, три-четыре человека тебя прочтут. А поскольку я еще, ко всему прочему, в настоящий момент немножко лукавлю: это не три-четыре человека, поскольку у нас, действительно, как у Робинзона Крузо, появился уже и дом, и обстановочка, и собачки гавкают, и мышки бегают, и овцы заблеяли — что куда больше, чем необитаемый остров, — то мы действительно создали себе среду обитания. Она небольшая, она небогатая, но она есть. Экологическая ниша.

— *Не кажется ли вам, что эта среда самодеструктивна?*

— Простите, а что такое искусство — для поэта, для писателя? Сие — способ его существования. Так вот — пока среда поддерживает твой способ существования, все в порядке.

— *А если не поддерживает?*

— Что значит "не поддерживает"? Как она может "не поддерживать"? В нашей ситуации? Как мы можем не поддерживать друг друга?

— *Да просто в том смысле, что читают вас двадцать-тридцать знакомых, и все... Это герметичное существование, герметичное творчество.*

— А у меня, извините, давно есть подозрение, что моя поэзия дальше "знакомых" на сегодняшний день и в принципе пойти не может. По той простой причине, что "не знакомые" весьма мало разделяют обстоятельства и, так сказать, "реалитет" моих стихов, а во-вторых, мне кажется, что мой читатель появится еще очень не скоро. В любом случае — в эмиграции или не в эмиграции. Хотя эмиграция тут, действительно, сыграла существенную роль. Может быть, не случись она, я бы сейчас занимался тем, чем занимаются мои коллеги в Париже — шел бы по накатанной дорожке как в смысле тематическом, так и в эстетическом. Они занимаются "русской литературой", а я перестал ею заниматься... Скучно.

— *Значит, вы утверждаете, что в независимости от читателя есть свои положительные моменты?*

— Это не столько независимость, сколько присутствие на самостоятельных началах. Я не менее реален, чем то, что меня окружает. Мы ведь уже говорили об этом. Мое самостоятельное существование — это возможность для игры. Важно, как вы относитесь к этой ситуации. Можно видеть в ней только трагедию, а можно найти в ней топливо для собственной психики.

— *Как вы относитесь к проблеме жанров? Дает ли вам эта ситуация стимул к новым жанровым поискам, разрушению прежних жанров, привычных для читателя, от которого вы теперь "свободны", или это всего лишь побуждение занять определенную позу, иметь определенное настроение? Что такое в этом смысле поэт?*

— Поэт — это, прежде всего, реализованное мировосприятие. И организованное мировосприятие. Организованное вполне определенным, выбранным из множества способом, который диктуется эстетикой поэта. Поэт — это определенным образом выдрессированный мозг, который воспринимает мир своим неповторимым способом, какими-то особыми рецепторами. Например, мне недавно пришло в голову, что в ситуации, когда весь мир рассыпается, единственный способ утвердить словесную реальность — это

произнести слово — это послать его вдаль и ждать эха, как летучая мышь. Нащупывать мир словами.

— *Значит, поэт — это прежде всего эстетическая позиция?*

— Нет, прежде всего — определенное устройство мышления, реализованное и оформленное тем способом, который кажется наиболее совершенным, — вот что такое поэт.

— *Мне почему-то кажется, что ваше творчество, да и не только ваше, идет по пути все большего замыкания в этом поэтическом индивидуализме. Кончается тем, что современную поэзию вообще оказывается невозможно читать...*

— Приятно слышать...

— *Нет, это может быть и комплиментом.*

— Нет, нет, я нормально к этому отношусь. Что вы имеете в виду? Условность, ассоциативность современной поэзии?

— *Да, именно это. Для чтения классической поэзии было достаточно самых общих ассоциаций. Чтобы читать современных поэтов, нужен совершенно иной круг ассоциаций, нужно очень многое знать...*

— Одну минуточку! Великий народный поэт Александр Сергеевич Пушкин любил развлекать своих крепостных строчками: "Навстречу утренней Авроре звездой севера явьсь..." Ну, что ж это за бред такой собачий?! А крестьяне ему, естественно, аплодировали, хотя Аврору отродясь не видали! Естественно, поэзия имеет свой язык. Этот язык должен быть понят! Что касается ассоциативных рядов — конечно, современная поэзия, в том виде, который мне интересен, который мне приятен, это вообще довольно сложное занятие. Да. Прочтение современной поэзии на всех уровнях действительно требует понимания...

— *Но когда я читаю: "Выхожу один я на дорогу..." — мне все и так понятно...*

— А мне — не все. Поэтому-то я и говорю о потере читателя! "Выхожу один я на дорогу" — шедевр. Но вы забываете, что еще через сто лет не все в этом стихотворении будет так уж точно отражать реальность, даже в этом стихотворении. И кое-что станет невнятным, я уверен в этом.

— *А я нет. Гораций до сих пор остается понятным...*

— А для своих современников Гораций несомненно был герметическим поэтом! Ну, какой римский раб-водопроводчик Горация листал!..

— *Его понимали другие читатели...*

— Так ведь круг этих читателей всегда — кроме тех случаев, когда поэт сознательно ориентируется на расширенную аудиторию, — всегда ограниченный. Читатель поэзии — это читатель элитарный, и никакого другого у нее, по крайней мере — в момент создания, быть не может. Язык поэзии невероятно сложен сам по себе.

— *Разве она не работает на многих уровнях сразу? Нет уровня, внятно го широкому читателю?*

— Этот поверхностный уровень в современной поэзии зачастую является намеком, или маскировкой, или обманом, чаще всего обманом. Я, например, иногда резвлюсь, создавая первый слой своих стихов нарочито не соответствующим их истинному смыслу.

— *Есть все же поэзия, даже современная, которая всем понятна?!*

— Несомненно. Вы имеете в виду Бродского?

— *Нет, уж скорее Высоцкого...*

— Видите ли, поэзия имеет различные функции. Поэзию Высоцкого нельзя рассматривать в рамках мелкой поэтики, это просто бессмысленно. Во-первых, она агрессивно социальна, она решает определенную социальную задачу. Высоцкий первый после Некрасова настоящий народный поэт. Нет, это не фольклор... А вторая особенность поэзии Высоцкого — это ее качественные изменения в связи именно с этой социальной панорамой, которую она воссоздает: Высоцкий — эпик. Но понятно это стало очень поздно.

— *Замечательно! Мне давно хотелось поговорить о судьбе эпоса. То, чего мне не хватает в современной литературе, — именно эпичности.*

— А вы читайте мои книги... Высоцкий эпик, значит его талант нацелен на социум, а творчество является его отражением. Это не достоинство и не недостаток, это — его качество. Идет ли оно в ущерб "лирической", поэтической цели — это другой вопрос.

— *Но он имеет читателя! И читателя, которому не нужно кончать филологический факультет.*

— Ну, и что? Я не понимаю, мы здесь с вами намерены разобраться, что "хорошо" и что "плохо", или мы занимаемся вопросами качества, которые, вообще говоря, не подлежат оценке в таких терминах? Меня, например, развлечения петушников не интересуют, а Высоцким такая вещь учитывалась — равно как и развлечения академиков. Его аудитория невероятно широка. Хорошо это или плохо — не знаю, но так оно есть. Так построена его поэтика, так реализуется личность поэта.

— *Мы снова возвращаемся к проблеме писателя и читателя. Мы с вами, здесь, не можем пойти по пути Высоцкого...*

— Запросто!

— *Вы можете?*

— Я не хочу, да наверное и — не могу, но по такому пути идет множество народа — например, Камянов или его более укрупненный и усложненный двойник — Кублановский. Живет "Высоцкий нашей диссиденции" Наум Коржавин, Высоцкий для фельдшеров — Окуджава, Высоцкий для гимназисток — Лимонов, Высоцкий для библиотекарей — Лосев. Ага, вам это не нравится, вам нравится Высоцкий. Но вы не учитываете, что Высоцкий уже "состоялся", он рассматривается нами как некая данность, во всем корпусе его текстов. И среди этих текстов мне, например, масса совсем не нравится: пиратские его песни или блатные, блат — я не воспринимаю, — но дело-то ведь не в этом — есть "весь Высоцкий", как законченное явление.

— *Но Высоцкого среда поддерживала...*

— Тоже не всегда. Вот вам предшественник Высоцкого — Вертинский... Ну, а что касается второго "великого поэта современности", Бродского, то я не вижу в его поэзии никакой особенной усложненности. Текст Бродского читается запросто. Конечно, поэт никогда не может знать, как именно будет прочтена его поэзия вне ее определенного контекста, поэтому я скажу осторожно: тексты Бродского мне сразу понятны, при первом же прочтении, на 50 процентов. Во втором — на 51 процент. Они не герметичны.

— *Но вы профессионал...*

— А я не понимаю, почему читатель должен быть глупее моих стихов и

меня самого. Но если говорить серьезно, то всегда молчаливо предполагалось, что читателем поэзии должен быть круг поэтов прежде всего. Никакого растолковывания текста не может быть. Все упрощения, приспособления к социальным запросам читателя всегда кончались плохо. И славу поэта всегда создавал ему его круг. Пушкин родился в кружке "арзамасцев". И писали о том, что "закатилось солнце нашей поэзии" тогдашние интеллигенты, поэты и писатели, а не коробейники! Если уж говорить о "понятности" так называемым "широким массам", то я приведу самый показательный пример — "Буратино" Алексея Толстого. Сказка для детей, переложение с итальянского... Между тем — это сознательная, злая и очень внятная — но лишь определенному читателю — пародия на символистов!

— Я, в сущности, с вами согласна. Но вот что, на мой взгляд, изменилось. Раньше был поэт — и читатель. Вне этой ситуации оставалось то, что Пушкин назвал "чернью". Сейчас эта "чернь" стала активным потребителем литературы, она вошла, как третий, в литературную ситуацию. Как можно ее игнорировать?

— Поэтическая игра от этого не изменилась. Я не вижу никакого принципиального изменения ситуации. Я не вижу разницы, оплевывают мои стихи пять человек или пять тысяч.

— Это не совсем так. И дело даже не в социальной поддержке писателя читающей средой. Дело в ином. Круг читателей всегда задает иерархию в литературе. Когда этот круг складывался из интеллигентных читателей, он задавал, скажем, что Пушкин — великий поэт, и тогда издатели печатали Пушкина, журналы рекламировали Пушкина, читатели покупали Пушкина. Сегодня эта иерархия задается самым широким кругом читателей, и 99 процентов издателей прислушивается к этому кругу.

— Но это ситуация не новая. Всегда существовала литература массовая и, условно скажем, элитарная. Во времена Пушкина. Существовал Фаддей Булгарин, способный, кстати беллетрист, существовал Бенедиктов, тоже — талант. И всегда сочинение паровозного чтения и романсов было коммерчески самым выгодным. Поэзия во все времена — роскошь. Во все времена. Высокая поэзия — роскошь вдвойне. А поэт может быть богат и признан, поэт может быть нищ и признан, поэт может быть нищ и не признан.

— Мне кажется, вы все-таки недооцениваете "третьего партнера"...

— Я не ориентируюсь на массовую культуру.

— Но тем самым вы сами себя отлучаете от общества, оказываетесь на его периферии, в гетто...

— "Наши" во все времена жили в гетто.

— Нет, они создавали эксклюзивный клуб...

— "Эксклюзивный" клуб или гетто — это не такая уж разница, все дело в том, с какой стороны взглянуть. С точки зрения "супернаблюдателя" это просто замкнутое общество. С какой стороны охрана, добровольная это замкнутость или навязанная, не имеет никакого значения. Никогда не происходило инфильтрации интеллектуализма вниз или жлобства вверх. Так было, есть и будет. Исключительным является другое: функционирование нашего писательского круга в Израиле. Это действительно уникальная ситуация.

— Что вы видите в этом уникального, конкретно?

— Ну, что я могу сказать конкретно? Никаких контактов с израильской культурой у нас нет. Но не в "потребительском" смысле — потреблять ее мы при желании можем. Но конвергенции, но обмена нет. Существует осмотическая полупроницаемая перегородка: от них к нам нечто проходит, от нас к ним — практически ничего.

— *Может быть — пока?*

— Я боюсь, что это надолго. Побившись достаточно об стенку, я пришел именно к такому выводу. Причин тому много, по меньшей мере пять, от объективных до чисто субъективных. Но объективные достаточно ясны. Во-первых, мы мало представляем себе, насколько израильское общество не соответствует нашим социальным привязанностям. И это при том, что мы более готовы к переориентации, чем эмигранты на Западе. Потому что мы все-таки принимаем участие в израильской жизни на всех ее уровнях. От уровня мелких политических забот до уровня биржевых спекуляций мы в гораздо большей степени интегральная часть здешнего общества, чем, конечно, эмигранты. Но в культурном плане мы — не интегральная часть израильского общества, хотя я готов утверждать, что в действительности мы уже ею являемся! Но мы — не разыгранная ею масть. Я имею в виду наш вклад в эту израильскую культуру. Дело в том, что наша русскоязычная литература все больше и больше становится именно израильской. И долго игнорировать ее будет невозможно. Если Мандельштам нервничал — будет ли в СССР улица его имени, то я не сомневаюсь, что в Израиле будет улица Генделева. Если вообще улицы будут. Но эсхатологией я здесь не буду баловаться. Израильское общество не сможет, даже если алия дойдет до полного краха, даже если наша культура измельчает, сойдет на нет, — не сможет игнорировать уже имеющееся, созданное нами. Наш вклад рано или поздно будет взят и использован. Возникнет "возвращение". Состоится наш приход, этот приход в израильскую культуру нам еще предстоит. Может, мы придем уже мертвецами — я имею в виду помрем. Слишком серьезен был эксперимент — и беспрецедентен. Я не знаю ни одного исторического прецедента, когда идеологически (я не отмечаю, в отличие от многих моих коллег, идеологического элемента в литературе) эмигрантская литература была бы ориентирована на страну эмиграции. Это формирует нашу русскоязычную культуру в Израиле — уникальной. А ее нынешняя судьба — просто следствие временного сдвига. Мы просто живем в ином времени по сравнению с нынешней израильской культурой. Израиль не готов к восприятию того, что несет наша литература — независимо от того, хороша она или плоха. В конце концов, искусство — круговорот одних и тех же ценностей. Материал может быть разный, но движение идей и метафор — одно и то же. Тот же конфликт "поэт и чернь", о котором мы говорили, существовал всегда. Повторяю — наша ситуация уникальна, потому что мы представляем собой небольшую, пеструю, но идеологически организованную группу, нацеленную именно на вхождение в израильскую культуру. При этом мы уже имеем первосортные достижения — те же Каганская, Волохонский. Это абсолютно израильские авторы — по своей сознательной установке. У них нет "эмигрантских" текстов. Основной корпус стихов Волохонского создан в Израиле, он сплав прежнего опыта поэта и израильской, палестинской — вплоть до ветхозаветной — действи-

тельности. И то же можно сказать о Каганской, о других наших поэтах, писателях, публицистах, эссеистах.

-- А о вас?

— Что можно сказать обо мне? Я давно выпустил третью книгу стихов, и начал четвертую и надеюсь закончить ее в Израиле. А третья книга — это книга русскоязычного автора, написанная на материале громадного множества израильских реальностей и самое главное — рожденная Израилем, как возможностью писать. С точки зрения творчества Израиль — страна идеальная. Ни одному русскому литератору — и не только русскому — не повезло в такой степени, как повезло нам! Фантастическое богатство тем, возможность выбирать себе поэтику — вне давления “традиции”. Не случайно все наши литераторы в Израиле стали писать лучше. Или заткнулись.

-- Что дали вам эти три книги?

— Ну, прежде всего, я наверно стал старше. И я понял, что у меня нет иного выхода, кроме как быть самим собой — я не принадлежу ни к какой русско-советской поэтической “общности”. Я понял свою отдельность, исключительность, уникальность и неповторимость. И стал заниматься тем, что мне положено.

-- И вы довольны?

— Я считаю, что если кому-то и повезло в этой жизни, как поэту, то конечно повезло совершенно невероятно мне. Потому что, во-первых, я уехал несложившимся поэтом, во-вторых, потому что уже ощущал свою отдельность — и не только по национальному признаку, наконец, я получил возможность проверить свою поэтику и убедиться в ее правильности... Я сам уже не знаю, что в моих текстах “разыграно”, а что “реально”. Для меня, например, в моих “Военных стихах” звучит одно, для людей, побывавших вместе со мной на этой “войне незначимой” — другое, для читателя в Париже третье, а для читателя в России — четвертое. Но, конечно, в какой-то мере эта многоплановость — еще и результат особой манеры письма: я обычно пишу текст на текст на текст — и то, что вы называете сложной ассоциативностью, в действительности является всплыванием этих разных планов...

-- Но есть ведь еще и просто реальное существование поэта, как человека — разве оно не трудное, сложное в вашей ситуации?

— Видите ли, в последнее время я с грустью начинаю замечать, что как человек постепенно исчезаю. Моя биография все больше становится чисто литературной биографией. Раньше мои стихи исходили из жизни, теперь они становятся этой жизнью. Где троп, где реальность, уже не отличить. Все — реальность... Мы уже говорили об этом.

-- Вернемся к началу — вы остались совершенно один, вне традиций и круга, свободный творец вне реальности?

— Традиции — к сожалению или к счастью — действительно нет. Но ведь в словесности нет друзей, есть только единомышленники. А судьба, в ее житейско-бытовом плане, — персональная. Я не могу представить себя в каком-то литературном ряду — аналогично, например, высказался Волохонский: “Там наш арап (то есть Пушкин) мечтал, что он Овидий, а наш бербер (то есть сам автор) не думает о нем...” Ощущать себя в ссылке — значит сознавать за собой какую-то метрополию, из которой тебя поперли,

а в моем сознании Россия не является моей метрополией, и метрополии, как таковой, помимо Израиля, я не имею. Более того — я предполагаю, что у меня слишком мало "русской крови". Наверно поэтому в моих текстах слишком мало русских ассоциаций. Что скажет русскому читателю моя книга, как он ее воспримет? Он ее воспримет, вероятно, как военную лирику, каковой она не является.

— *Может быть, поэзия в целом является вашей метрополией?*

— "Поэзия в целом"? Я, наверно, старею, потому что мне все меньше нравятся стихи современников и начинают нравиться совершенно неожиданные вещи. Я прошел путь — и "по капельке выдавливал из себя" Бродского, и, видимо, был под влиянием Волохонского, и вот теперь только иду один. Это персональная дорога, дорога на одного. По ней и иду...

Вела интервью Н. Гутина

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА ИМЕНИ Р. Н. ЭТТИНГЕР

извещает

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ИМЕНИ Р. Н. ЭТТИНГЕР ЗА 1987 ГОД:

в области литературы (публицистики) — АЛЕКСАНДРУ ВОРОНЕЛЮ;

в области живописи — художнику ИОСИФУ ЯКЕРСОНУ;

в области музыки — дирижеру ЮРИЮ АРОНОВИЧУ.

Вручение премий состоится в феврале 1988 года. О дате и времени торжественной церемонии будет объявлено особо.

По поручению правления

профессор

Э. С. Любошиц

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Помпеи в нашем представлении — это, прежде всего, возродившийся из пепла античный город. Древние города даже из пепла (а тем более из застывшей лавы) сами по себе не возрождаются. Их открывают, консервируют, реставрируют десятки людей, причастных к профессии археологов. Вот тогда это приобретает вид Помпеев, а еще лучше древней Остии или милого нашему сердцу (я имею в виду свою семью) Херсонеса.

Сегодня Помпеи вырастают в Бейт-Шеане. Израильтяне уже достаточно хорошо осведомлены об этом событии (наше телевидение не могло пройти мимо такой сенсации), и вот уже сотни туристов (по предположению местных археологов, в пять раз больше, чем до начала раскопок) энергично топчут мостовые главных улиц, форум, палестру, термы, а главное, конечно, знаменитые театр и амфитеатр. И никакие вопли “начальника древностей” в Иорданской долине не могут остановить израильскую публику. Со всеми своими чадами и домочадцами они непременно желают пройтись именно там, где еще только-только открывают уникальную мозаику, где она еще присыпана специальным песком, закрыта пластиком, но ведь это и есть самое интересное, и как же не заглянуть, что там под ней. Нервничает “хранитель древностей” Пинхас Порад, истошно кричит, топает ногами, только что не плачет. Я буквально не узнаю моего бывшего ученика. Обычно такой добрый, спокойный, он сейчас кипит от ярости, изрыгает оскорбительные замечания по поводу любого, кто смеет ступить на “священные археологические объекты”. Мой муж и сын несколько растеряны. Это уже не первая наша экскурсия в Бейт-Шеан. С Пин-

Роза Ляст

ПОМПЕИ В БЕЙТ-ШЕАНАЕ

(очерк)

хасом Порадом, археологом, ответственным за сохранность древностей в Иорданской долине, мы знакомы (без малого) семь-восемь лет и никогда еще не видели его таким свирепым. "Охранник, охранник!" — взывает он. (Есть здесь и охранник, и даже ограда.) Появляется полусонный охранник, он явно недоволен: куда приятней было отдыхать в тени, сидя на колоссальных колоннах из розового египетского гранита. Люди, совершенно обескураженные столь нелюбезным приемом, в конце концов удаляются. А я напоминаю своему семейству, как много лет назад на раскопках в Херсонесе они таким же образом вместе с моими студентами и директором музея (дамой весьма интеллигентной) истощно умоляли любопытных не ходить у них над головами, потому что это опасно для жизни не только археологов, но и самих зевак. Но в каких словах выражались эти "мольбы"? Пинхас хотя бы пытается воззвать к разуму туристов. "Ведь ты же не дурак"? — с надеждой спрашивает он каждого. А вот директор Херсонесского музея, помнится, предлагала прохожим (правда, особенно наглым) заменить их собственные черепа теми древними, на зачистке которых работали мои студенты. Я уже не хочу вспоминать, какими эпитетами награждал любопытных мой собственный семилетний ребенок. Воистину, нет ничего нового под солнцем...

Но вернемся к нашим Помпеям. Итак, министерство туризма решило превратить Бейт-Шеан в один из центров крупного бизнеса и потому отвалило кругленькую сумму на раскопки древнего города. О масштабах раскопок можно судить хотя бы по тому, что в них занято около двухсот рабочих, не считая студентов и научных сотрудников (археологи уверяют, что древний Бейт-Шеан помог современному решить проблему безработицы). Ведет раскопки Иерусалимский университет, главный археолог — Йорем Цаффрир.

Почему же министерство туризма вместе с учеными порешило, что именно здесь, в Бейт-Шеане, быть израильским Помпеям? Думается, прежде всего, потому, что трудно найти в Израиле место, где так богато представлен римский период. Кому из израильтян не известен знаменитый театр в Бейт-Шеане? Да разве только израильтянам? А сколько фильмов было снято здесь американцами? Ведь в этом небольшом (по сравнению, скажем, с Кейсарией) театре почти нет следов реставрации: все, что там есть — от сцены и первых мраморных скамей (для знати) до "галерки", включая выходы (изрыгатели в буквальном переводе) и уникальные загадочные помещения, окаймляющие театр (то ли продуктовые лавки, то ли комнатки для проституток), — все принадлежит древности. И только ради одного этого несравненного памятника стоит — и не раз — приехать в Бейт-Шеан. Но сейчас рядом с театром археологи открывают центр города, и мы с Пинхасом не обходим, а для начала объезжаем площадь раскопок, так она велика: здесь и форум, и необыкновенной сохранности вымостка главных улиц, и массивные колонны храмов, и великолепно сохранившееся обогревательное подвальное помещение римских терм, и палестра с дивной мозаикой, украшенной к тому же надписями на греческом. Все это только-только вырастает из-под кирки и лопаты археологов, и на туристов, избалованных видами Иерусалима, Рима, Кейсарии, Помпеев, каменные громады Бейт-Шеана могут, пожалуй, поначалу и не произвести

особого впечатления. Но если то, что появляется сейчас на раскопках, покажется вам скучным, поезжайте или пойдите на территорию бывшего музея древностей, и вы попадете там в места поистине фантастические: вы увидите настоящий римский амфитеатр, ту самую арену, которая не раз была залита кровью гладиаторов, первых христиан и просто затравленных для развлечения рабов.

Это не Колизей, конечно, но на меня он, право же, произвел впечатление чуть не более сильное. Ведь в Колизее я не видела самого главного, я не видела арены (там это был помост из дерева, который, естественно, не сохранился), а здесь она у меня вот, под ногами. Я стою на площадке, вернее на громадной эллипсообразной площади с какими-то мистическими громадными капителями колонн посередине (пока никто не может объяснить их предназначения), и мне чудится, что именно здесь стояли обезумевшие от страха люди, а вон там, всего лишь в нескольких шагах, в этих таких безобидных сейчас маленьких нишах, их ждала смерть, ибо ниши эти были помещениями для диких зверей. А вокруг скамьи — такие светлые, сияющие, чуть розоватые, что я несколько раз спрашивала, а не реставрация ли это. Нет, это, как принято у нас в стране говорить о дорогих вещах, "оригинал", и рассказывать о нем словами невозможно — это надо видеть и ощущать.

Но откуда в Бейт-Шеане такие грандиозные для масштабов провинциального города сооружения? Ответ на этот вопрос связан, естественно, с историей и культурой Бейт-Шеана в античный период, то есть примерно с III века до н. э. до V века н. э. Может быть, история — это даже слишком громко сказано, потому что в цепи исторических событий Бейт-Шеана недостает стольких кусков, что порой о периодах в несколько десятков лет ученые могут строить только догадки и гипотезы.

Библейский Бейт-Шеан был расположен на холме Тель-Эль-Наш в Иорданской долине. В эллинистический период главная часть города сдвинулась в долину. С этого времени и вплоть до арабского завоевания город назывался Скитополь, или буквально, "Скифов полис" — город скифов. Русскоязычному читателю не нужно рассказывать, кто такие скифы. Но почему они дали здесь, в Иорданской долине, название городу, до сих пор остается загадкой. Разумеется, есть несколько гипотез, но ни одна из них не может считаться абсолютно доказанной. Шюрер, например, полагал, что название города связано с вторжением скифов в Палестину в VII веке до н. э. и основанием здесь их поселений, но современные исследователи эту теорию не принимают, так как она не подтверждается данными археологии. Из современных гипотез самой приемлемой мне представляется предположение Ави-Йона. Основываясь на том известном факте, что солдаты скифского происхождения служили в армии Александра Македонского и его наследников Птолемея, Ави-Йона полагает, что, возможно, Птолемей II основал небольшое военное поселение (клерухию) вблизи древнего Бейт-Шеана, которое состояло из ветеранов скифского подразделения. Он же датирует основание Скитополя серединой III века до н. э. Богом-покровителем нового поселения был определен Дионис. В пантеоне Птолемеевского Египта Дионис приравнивался к Аполлону — богу солнца и покровителю искусства. С Дионисом связано другое название поселе-

ния — Ниса. Существует легенда, что во время триумфального шествия из Индии в Грецию эллинский Дионис похоронил свою кормилицу Нису в районе древнего Бейт-Шеана и поселил там несколько своих спутников из скифов, чтобы охранять ее гробницу. Исследователь греческих культов в Бейт-Шеане профессор Амер Авадия подчеркивает, что культ Диониса был средоточием духовной жизни нового поселения, и это обстоятельство на много веков наложило отпечаток на культурную историю города. Возможно, пышные праздники в честь Диониса устраивались в Скитополе (как и в других греческих городах Востока) еще и в императорский период. Поскольку Дионис издревле был покровителем трагедии, праздники в его честь сопровождались обширными театральными представлениями с состязанием лучших актеров. Не случайно в театре был найден алтарь в честь Диониса, который датируется периодом основания театра.

Уже во времена Плиния Младшего (II век н. э.) Скитополь был крупным городом, столицей лиги десяти городов (расположенных главным образом вдоль Иордана), и успешно соперничал с Дамаском. Предполагается, что после восстания Бар-Кохбы и вплоть до междоусобной борьбы императора Севера с Нигером (193—194 годы н. э.) в Скитополе, как и во всей Иудее, был период экономического расцвета. В 193—194 годах Скитополь скорее всего принял сторону Севера, который, по всей вероятности, щедро отблагодарил жителей города. Именно при Северах в Бейт-Шеане и началось бурное общественное строительство, тогда же был построен и театр. В исторических источниках Скитополь этого периода описывается как один из городов, который обеспечивал текстилем “весь мир”. Детальное перечисление продукции Скитополя содержится в одной из глав эдикта Диоклетиана, где, в частности, упоминаются знаменитые скитопольские туники. Экономический и культурный расцвет Скитополя второй половины третьего столетия связан, на мой взгляд, с политическим событием, которому в научной литературе почти не придавалось значения. Может, и я бы, рассказывая об истории Скитополя, прошла мимо этого исторического факта, если бы не один телефонный звонок того же Пинхаса Порада где-то лет шесть тому назад. “Приезжай, есть надпись о Вабалате”. И снова мы всем семейством мчимся в Бейт-Шеан, и всю дорогу у меня из головы не выходит пальмирский царь Вабалат, его мать — царица Зинобия и сама Пальмира, преображенная этой легендарной Зинобией в подобие восточных Афин. Чего она только там не понастроила, каких знаменитых поэтов, философов, актеров не собрала! Известный философ Лонгин был влиятельным вельможей при ее дворе. В царствование Зинобии Пальмира отделилась от Рима, превратившись в независимое государство эллинистического образца. В 271 году, когда на престол вступил сын Зинобии Вабалат, она настояла, чтобы в дополнение к титулам царя, триумфатора, полководца римлян, дарованным императором Аврелианом, он принял имя Августа и был провозглашен императором. Два года Вабалат был фактически правителем всего греческого Востока. Тогдашнему римскому императору Аврелиану пришлось оставить мятежную Галлию и двинуться в ставшую самой опасной теперь часть Империи — Пальмиру. Только после двух ожесточенных атак ему удалось разрушить стены города и захватить в плен Зинобию и ее сына. В 274 го-

ду Восток снова был подчинен римской власти, Аврелиан справил богатый триумф и провел в нем своих самых ценных пленников — Зинобию и Вабалата. Впрочем, Вабалат был позднее помилован, и ему даже была назначена пенсия.

Так вот надпись об этом самом Вабалате мне и предстояло увидеть. Позднее я узнала, что Пинхасу пришлось выдержать нелегкую войну за эту надпись с местным вельможей, который держал бесценный памятник у себя на вилле. И вот теперь, во дворике Бейт-Шеанского музея, он показывает мне “милевой столб” — полуметровую колонну из местного известняка, на котором, хоть и с трудом, можно различить отдельные буквы и слоги. Я читаю с трудом, но наметанный глаз Пинхаса уверенно видит, что буквы явно складываются в имя “Вабалат”. Милевой столб, где Вабалат фигурирует со всеми своими императорскими титулами, мог быть поставлен на дороге лишь в те времена, когда Вабалат был правителем территории, по которой эта дорога проходила. Иными словами, в период, когда этот милевой столб был поставлен (примерно 272 год н. э.), Скинополь явно находился под властью Пальмиры. Конечно, наша надпись прояснила лишь одну крохотную строчку в истории Скитополя: Скинополь был под властью Вабалата, — но ведь из таких вот, добытых, главным образом, из камней строк и составлена, по сути дела, вся античная история Бейт-Шеана. Впрочем, о владычестве Пальмиры в камнях Скитополя можно почерпнуть и более интересную информацию.

Известно, что эллинизированная Пальмира оставила глубокий след в культуре Ближнего Востока. Повлияла она, по-видимому, и на интеллектуалов Скитополя. Так, исследователь Бейт-Шеанского театра Апплебаум утверждает, что архитектурно он очень близок театру, раскопанному в Пальмире.

У моих земляков, несомненно, уже вертится на языке вполне естественный вопрос: какое отношение имели евреи к истории и культуре Скитополя?

Евреи появились в Скитополе примерно во II веке до н. э. Известно, что местные власти относились к ним достаточно дружелюбно, хотя в других греческих городах еврейское меньшинство обычно жестоко преследовалось. Иосиф Флавий рассказывает, что чуть позднее город был захвачен Хасмонянами и жители были поставлены перед альтернативой: принять иудаизм или оставить город. Эллины предпочли уйти, и их место заняли еврейские поселенцы. С этого времени и вплоть до завоевания Помпеем Скинополь снова принял имя Бейт-Шеана. Но с приходом Помпея и падением власти Хасмонеев евреи, в свою очередь, были изгнаны из Бейт-Шеана. Город снова был заселен эллинами и местными сирийцами, получив при этом свое прежнее название. В 37–36 годах до н. э. Скинополь вместе с прилегающими к нему землями был подарен Клеопатре. Когда в 30-м году до н. э. Октавиан Август существенно расширил владения Ирода за счет многих греческих городов, Скинополь тем не менее остался под непосредственным контролем римлян. А чтобы представить себе, что происходило в Скитополе во время Иудейской войны, предоставим слово Иосифу Флавию: “...когда евреи напали на Скинополь, они нашли там евреев-врагов, так как они присоединились к Скитополянам и, считая свою

собственную безопасность важнее, чем узы крови, участвовали в битве вместе со своими земляками. Но народ Скитополя боялся, что эти люди атакуют их ночью и принесут им большое несчастье, чтобы искупить перед своими братьями-евреями свое отступничество. Поэтому они приказали им, если они хотят продемонстрировать свою преданность чужакам, отправиться со своими семьями в ближайшую рощу. Евреи, ничего не подозревая, выполнили приказ, и в течение двух дней скитопольяне ничего не делали, чтобы обмануть их доверие, но на третью ночь, воспользовавшись тем, что одни охранники отсутствовали, другие спали, жители Скитополя перерезали их всех — более тринадцати тысяч и разграбили все их владения". (Иосиф Флавий, Иудейская война, II, 466—468.)

Между 117—120 годами Иудея превратилась в консульскую провинцию, то есть в отдельную провинцию с наместником консульского ранга и двумя легионами. Тогда же Скитополь из провинции "Сирия" перешел к провинции "Иудея". После восстания Бар-Кохбы название "Иудея" было вычеркнуто из римского лексикона, и Скитополь стал частью провинции "Сирия-Палестина".

Именно в этот период евреи снова проникают в город. В Мишне Бейт-Шеан упоминается как место, где в дни языческих праздников расцвеченные гирляндами магазины гоев теснили ничем неукрашенные магазины евреев. В третьем столетии этот процесс проникновения еврейского населения в город продолжался, о чем свидетельствует, в частности, перестройка и расширение синагоги.

Чтобы ответить на вопрос, имели ли евреи какое-то отношение к эллинизированной культуре Скитополя и, в частности, к театру, придется снова обратиться к каменной летописи.

В 1962 году в Бейт-Шеанском театре была открыта надпись, сделанная на алтаре, посвященном Доброй Фортуне, человеком по имени Абселамос, который именовал себя строителем этого театра. Профессор А. Негев, открывший надпись, да и некоторые другие археологи предположили, что речь идет о еврее Авшаломе, который, по всей вероятности, был архитектором. Правда, эпиграфисты, опубликовавшие надпись, были более осторожны в своих выводах. В частности, они утверждали, что "несмотря на то, что имя подобно еврейскому Авшалом, оно может быть как еврейским, так и не еврейским, а просто семитским". Но мы знаем, что в те времена в греческих городах Иудеи было достаточно много эллинизированных евреев (порой скрывавших свое происхождение), которые принимали активное участие в общественной и культурной жизни. Однако, хотя участие это не запрещалось, а вот посещать театры, а тем более участвовать в театральных представлениях, евреям, даже получившим римское гражданство, не рекомендовалось. Правда, в 36 году н. э. Калигула специальным эдиктом даже обязал евреев посещать представления в честь императора, но думается, что и при жизни Калигулы этот эдикт правоверными евреями не выполнялся, а уж после его смерти все его эдикты, оскорбляющие евреев (даже если речь шла об императорском культе), были отменены императором Клавдием. И все же среди эллинизированных евреев были не только зрители, но даже и актеры. Так, при дворе Нерона был известен еврей-мим Алитур, Иосиф Флавий сообщал

ет, что при поддержке жены Нерона Пoppей, принявшей иудаизм, этому актеру удалось добиться освобождения нескольких еврейских священников, которых прокуратор Феликс прислал в цепях к императору. Кстати, этот факт почти с документальной точностью описан Фейхтвангером в "Иудейской войне". В одной из злых, я бы сказала — антисемитских эпиграмм Марциана (I век н. э.) сообщается об известном трагическом актере Менофиле, который тщательно скрывал, что был обрезан. В III веке н. э. была известна еврейская актриса Фаустина.

Выступали ли евреи на сцене театра в Скитополе? Вполне возможно. Более того, в Остии существуют фрагменты надписи, посвященной знаменитому (как отмечается в надписи) "первому пантомиму* своего времени", который имел отношение к Скитополю. Из надписи, правда, неясно, был он родом из Скитополя или принадлежал к ассоциации актеров в этом городе. Но самое удивительное другое. Когда в 1928 году впервые были опубликованы фрагменты этой надписи, автор статьи, один из крупнейших эпитафистов (Виккерт) убежденно доказывал, что речь в ней идет об императорском пантомиме-еврее. Увы, в 1984 году, в лапидарии Остийского музея, мне удалось обнаружить еще один, совершенно новый фрагмент той же надписи, который не подтвердил предположения Виккерта, о еврействе великого актера.

Свой доклад на IX всемирном конгрессе по иудаистике, где каждый тщился отыскать великие деяния евреев, я, помнится, начала с грустной фразы: "Я собираюсь доложить о том, как я потерял одного хорошего еврея". Великий пантомим Марк Авролий Пилад, который, скорее всего, начал свою карьеру в Скитополе, согласно данным нового фрагмента евреем, по-видимому, не был. Я говорю "по-видимому", потому что вместо предполагаемого Виккертом имени отца — Иуда — на недостающем в его время фрагменте оказалось другое слово. Имя отца исчезло, а вместе с ним — и уверенность в еврейском происхождении актера.

Но вернемся снова к "Помпеям" в Бейт-Шеане. В чем, собственно, разница между Помпеями первого века и Скитополем третьего века н. э.? Только-то и "счастья" у этих Помпеев, что 24 августа 79 года н. э. они были засыпаны вулканическим пеплом, и город был заживо похоронен. Город, но не люди. Известная всем картина Брюлова, мягко говоря, преувеличила размеры трагедии. Сегодня археологически доказано, что из двадцати тысяч жителей погибло максимум несколько десятков, предположительно — рабов, оставленных сторожить имущество. Смерть этих несчастных была страшной, нет слов, видеть гипсовые мумии их в момент агонии невыносимо. Но если на минуточку отвлечься от этой крошечной трагедии в историческом океане бесчисленных людских жертв, то ведь какой подарок сделал Везувий человеческой цивилизации (особенно археологам)! Сохранился почти неповрежденным целый город со всеми его живыми красками, с его горячими от политической борьбы надписями, нацарапанными людьми, которых раздирали личные и обще-

* *Пантомим* — сольный исполнитель танца по литературным или историческим мотивам.

ственные эмоции. Нет слов, много потерял тот, кто до сих пор не воспользовался машиной времени и не спустился на улицы и площади Помпеев 79 года н. э. Но сами-то Помпеи всего лишь средней величины самнитский городишко, размеры которого с IV века до н. э. не увеличивались. А в IV веке до н. э. вся-то площадь его — 66 гектаров, и вся длина стен — всего лишь 3 километра.

Помпеи не были сколь-нибудь заметным культурным центром императорского Рима, хотя было в них все, что полагалось любому цивилизованному городу римской империи: амфитеатр, театр (даже два — “Большой” и “Малый”), термы, палестры, форум. Но все это было (и сейчас уже почти открыто) и в древнем Скитополе: и театр (да еще не на пять, как “Большой” в Помпеях, а на восемь тысяч зрителей!), и амфитеатр с ареной, большей, чем в Помпеях, и Форум, и храмы, и термы, и палестра с дивными мозаиками. Так что, кто знает, может быть, после реконструкции Скитополь приобретет вид более впечатляющий, чем Помпеи. Только одного всегда будет не хватать древнему Скитополю — помпейских фресок. Но вопрос еще, проиграет ли от этого вид древнего города.

Один из мудрых российских античников, покойный Сергей Львович Утченко, как-то заметил: “Время, как известно, многое облагораживает. Когда лучше “смотрелся” Акрополь — в те годы, когда был еще цел и невредим, или теперь, когда он лежит перед нами в развалинах? Я видел известные многим реконструкции афинского Акрополя. Судя по ним, Акрополь был забит достопримечательностями, как лавка антиквара всячиной. Негде было даже повернуться! Тут тебе и колонны, и портик, и каригиды, и статуи. И все еще было новеньким, с иголочки, все блестяло, все было раскрашено. Страшно и подумать!”

Помпеи прекрасны, слов нет, — особенно в часы, когда их не топчут толпы туристов. Но пока вы еще не добрались до них, отправляйтесь в Бейт-Шеан — это намного ближе и дешевле, а запахи здесь даже более терпкие и к тому же люди-туристы не заслоняют живые античные камни, а прекрасные мозаики все же охраняются, так что до вашего приезда их, пожалуй, все-таки не дадут “разнести по камешкам”. а театр — “по кирпичикам”, как это делалось еще в конце XIX века. И все же спешите, спешите в Бейт-Шеан! Пока еще копают, пока археологи (если вы будете интеллигентны и организованы) с готовностью расскажут вам о каждом камешке и даже с удовольствием дадут “покопать”, только пожелайте, пока еще все горячее, настоящее, пока не законсервировали, реставрировали, хуже всего, реконструировали, пока все это еще не превратилось в Кейсарью, где так безнадежно уже потускнела печать великого времени...

ЛЮДИ И КНИГИ

О. Заславский

СТРАСТИ-МОРДАСТИ, ИЛИ ПЕСНИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Бывали и лучшие времена в жанре литературных мистификаций.

Одна из самых знаменитых, хотя и не самых последних по счету, была разыграна лет полтора назад, когда Проспер Мериме, вдохновленный отсутствием денег и вызванной этим невозможностью посетить места, сегодня именуемые Югославией, сочинил цикл баллад под названием "Песни западных славян" — перевод с "иллирийского". Целью сочинения было — финансировать таким образом свою будущую поездку в упомянутые места. На мистификацию, среди прочих, поддались два весьма неглупых человека — Байрон и Пушкин. Переводы последнего из Мериме по праву заняли подобающее место в русской поэзии.

И вот перед нами возрождение жанра. Неизвестный автор, скрывшийся под именем Виктора Суворова, издал в 1985 году на английском языке в Лондоне книгу "Аквариум". Теперь она переиздана по-русски издательством ОПИ.

На переплете — армейский ремень с красной звездой. Под переплетом бушуют страсти-мордасти. Все, что вы хотели узнать о ГРУ (Главное Разведывательное Управление Советской армии), но стеснялись спросить...

Долго, утомительно, да и не нужно пересказывать все секретные, полусекретные и прочие сведения о советской военной машине, щедро рассыпаемые автором на трехстах с лишним страницах книги. Имеет наличие и ночная ганговая атака с азиатами-танкистами и командиром-славянином, и суровое, хотя и мальчишеское лицо майора Пронина, то бишь подполковника Кравцова, имеет место масса цифр, сводок, приказов, фамилий и должностей, которые должны придать книге аутентичный характер — и вся эта невероятная энергия порождает ... ничто. Туман по кочкам, напильником по мордасам — все неестественно, не названо, все плывет, все — явная литературщина. Рискую быть обвиненным в апологетике метода социалистического реализма, выскажу все же предположение, что по произведениям Кочетова, Бабаевского, Ажаева можно узнать неизмеримо больше о Советском Союзе 40-х—50-х годов, нежели из книги "Аквариум" — о годах 70-х. Столько пылу, столько фамилий-ситуаций-приклучений, а в итоге — пшик. Плохая мистификация. Песни восточных славян, только со смыслом, или, как говорят нонче, — с тенденцией.

Перечислять несообразности и натяжки в книге — благодарное занятие. Но, увы, — перечисление всего того, что хороший русский парень от сохи В. Суворов и окружающие его хорошие русские люди от других предметов не могли делать, говорить, думать в силу самого факта своего существования в стране, называемой Советским Союзом, и тем не менее делают, говорят и думают в книге, заняло бы больше места, чем сама кни-

га в целом. Развесистой клюквы в ней хватило бы на кисель для средних размеров семьи.

Откроем наугад... Начальник из ГРУ, обращаясь к неопиту Суворову, поздравляет его со вступлением в "вольное братство". Этакие вольные, значит, камешки, масонская ложа нумер семь под вывеской ГРУ... Может, действительно что-то от Мериме-Пушкина осенило седеющую голову? Ткнем наугад еще. Автор пишет (о себе): "Был я ротным командиром. После освободительного похода в Чехословакию..." и так далее. Или тут фи́га в кармане (на открытую критику чехословацкого "похода" еще не получено разрешение), или полный серьез, но во всяком случае после супостата-Наполеона, ни один нормальный советский человек, будь он диссидентом или вертухаем, гебистом или чекистом, не скажет "поход", да еще "освободительный" в расказе от первого лица и в данном контексте.

Чуть дальше — посыльный будит Суворова: "Вставай, старший лейтенант, вас ждут великие дела..." Надо прослужить хотя бы год в Советской армии, чтобы понять, как, мягко говоря, "олитературено" такое обращение солдата к своему офицеру. Если ты с ним по корешам, так толкнешь его и скажешь: "Вставай, Вася, сегодня упираемся рогом..." А если в официальных — то: "Товарищ старший лейтенант, пора вставать — тревога". Чтобы посыльный произнес такие слова, как в книге, у него должна быть соответствующая культурная подкладка, он должен прочитать определенное количество определенных книг, короче — он должен быть интеллигентным человеком.

Окончим этот стилистический экзерсис прекрасным набором "солдатских" кличек из отряда специального назначения (советские Рэмбо, только, естественно, лучше) — Лысый Тарзан, Плетка, Вампир, Утюг, Николай Третий (!), Негатив, Шопен, Карл де ля Дюшес (?!). Клички начальников — Навигатор, Младший лидер — в том же духе смеси Сименона с братьями Стругацкими. Соотечественнику, которому довелось услышать на нашей бывшей родине хотя бы одну из вышеперечисленных кличек (исключая вполне приемлемого Утюга), я разрешаю бросить в меня небольшой камень.

Подобными несообразностями полна буквально каждая страница книги. Читая ее, вдруг ловишь себя на мысли: а может, все же, недооценил я тайного автора Витю Суворова, может, все же, юмор все это — претенциозные западно-литературные клички у хороших русских ребят из спецназа, мальчишеское лицо подполковника Кравцова, десятки сотрудников ГРУ, рассыпающиеся по павильонам женеvской компьютерной выставки для "мгновенного вербажа", неудержимая лавина советских танков, бушующих в подворотне Н-ского города Н-ской области, незабываемое лицо еврея — дяди Миши, торговца шнурками (очевидно, дань западному либерализму)? Нет, в роде бы не юмор. Так что же?

Здесь я кончаю говорить о вещах простых и ясных и вынужден перейти на зыбкую почву спекуляций и предположений. Начнем с вопроса — о чем эта книга? Ответ не сложен — о мощи. О непреодолимой мощи Советской армии, советской военной разведки, советского полицейского аппарата. Да, они негуманны, жестоки, убивают даже друг друга — но так же дей-

ствует и противоположная сторона. И в конце концов, это даже не так уж важно, главное — что они побеждали, побеждают и будут побеждать этот гнилой, доверчивый, мягкотелый Запад. И их конкуренты по пирогу власти — КГБ — тоже всеильны. Кто, как не бдящие чекисты после многочасовой погони по зимней Москве (ни одного названия улицы, ни вообще хоть какой зацепки — не дай Бог проболтаться, выдать советского завода план) вытаскивают героя за задник ноги из вонючей щели, носом по ледяной моче — не думай, сука, что от КГБ хоть один уголок шпионский в столице скрыть можно!

А уж потом объяснят ему — и нам заодно — что это место, щель эта, уж больно хороша для противоправительственной и антигосударственной деятельности, а посему охраняется днем и ночью. Каково! В десятиллионной Москве, на площади в сотни квадратных километров, доблестные органы держат под присмотром каждую подозрительную щель!

Сдавайся, Запад, а то хуже будет.

В общем, книга предназначена запугать. Ну, не запугать, так попробовать запугать, направить усилия соответствующих организаций “не туда”. Пусть следят, например, за сотнями посетителей технических выставок. Да у них-то и нет нужного количества людей для такой работы, наверно. Тем лучше, значит — руки опустятся, все равно ничего нельзя поделать с этими шустрými советскими ребятами — они везде, на каждой улице, в каждом унитазе. В общем, — мир в его детективно-шпионском преломлении. Мир по Шпанову и Альберту Кану. “Их” версия и даже некоторым образом “их” понимание, как делается история. Не забудем, что несмотря на их галстуки, коктейли и английский язык, уровень этого их понимания механизма событий весьма определен. Еще Хрущев рассказывал, как чуть-чуть не отказались от визита в Америку — решили, что американцы хотят спрятать советскую делегацию в деревне (какой-то Кемп-Дэвид!), не показать ее американскому народу. И нашелся — с трудом — кто-то один, разъяснивший, что Кемп-Дэвид — частная резиденция президента и быть принятым там — большая честь... Примерно такие же органические ограничения сохраняются у них и сейчас — может, разве, на чуть более высоком уровне, примером тому может служить их отношение к Уотергейтской истории. Так что при всех своих референтах и подтяжках где-то внутри они продолжают верить в существование гидры мировой буржуазии с определенным, хотя и большим, количеством голов.

А теперь я скажу нечто такое, за что меня по головке напоглядят, и мне будет очень стыдно. Вот уже скоро шестнадцать лет, как я громко смеюсь, когда слышу всевозможные шпионообразные и шпионоподобные истории. Шестнадцать лет смеха здесь плюс определенное количество там. Но уж действительно — больно похожа эта книга на “их” попытку, сделанную на уровне “их” понимания, “их” литературных способностей, прошедшую “их” внутреннюю цензуру — попытку “повлиять”...

В противном случае зачем бы автору выдавать свой откровенно авантюрный, намеренно лихо закрученный “художественный” детектив на советскую тему — за “документ”, за “свидетельство очевидца”?

Свою догадку я мог бы обосновать и более детально. Но это увело бы

нас еще дальше от надежной почвы, где “писатель пописывает, читатель почитывает”, с которой мы так неосмотрительно сошли к концу нашей рецензии.

Давид Цифринович

УДИВИТЕЛЬНАЯ КНИГА

(Жак Росси. “Справочник по ГУЛагу”. Изд-во OPI, Лондон, 1987)

Признаюсь, открывал эту книгу с иронической улыбкой. Что нового почерпнет “оттянувший червонец” в сталинских лагерях от трудов иностранца, хотя бы и отсидевшего вдвое? С той улыбочкой принялся листать книгу, с улыбочкой и удовольствием от предвкушения превосходства в познании матери-родины ее исконным подданным.

Принялся листать и тут же вернулся к началу. Вот так иностранец! Да и не справочник это вовсе, во всяком случае, не только справочник — история советской власти через ее тюремное нутро. История, изложенная научно, сухо, подтвержденная фактическими данными, диаграммами, чертежами, решениями, постановлениями и указами от Ильича Первого до царя Никиты. Чего только не найдете в этой удивительной книге? Тюрьмы и лагеря от закладки первого кирпича, от первого вбитого в землю кола, до наших дней, с планами расположения построек, с тем, что в постройках. И таблицы, таблицы, таблицы... сравнительные таблицы рационов заключенных, включая содержание воды в хлебном припеке, сопоставительные таблицы по царской и социалистической каторгам, изменения кодексов: все перечислять — переписать книгу.

А уж относительно лагерного словаря, так издатели и автор, не тревожась за возможные убытки, могут объявить премию, буде кто найдет упущенное слово старой или новой фени. Или упущенную лагерную поговорку. Все иллюстрировано примерами, так что не могу я исполнить обещание своему редактору, примером собственного опыта что-либо дополнить. Разве что выписать из книги. Удивительных способностей человек мог потянуть этот обстоятельный труд, в него вложена целая жизнь.

И представляется мне такая, вполне возможная, картинка. Спрашивает молодой сотрудник Лубянки старого: “А разъясните, пожалуйста, Сидор Поликарпыч, то-то и то-то”. И отвечает ветеран, поседевший в заплочных делах: “Сейчас посмотрим”, — и с сим открывает справочник Жака Росси.

Остается добавить, что предисловие к книге написано другим неординарным человеком, Аленом Безансоном. Из предисловия узнаем: после всех мытарств, восьмидесятилетний Жак Росси живет на своей родине во Франции в бедности. Вот уж воистину — судьба. Не стоит ли порядочным людям “скинуться” ему на помощь? Или, по меньшей мере, купить его удивительную книгу.

ПО ПОВОДУ...

ИСТИНА С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ

Майя Каганская неопровержимо доказала, что литература есть форма интеллектуальной жизни половозрелых белковых тел. Отсюда следует, что Автор, представ перед нами в тексте, суть персонаж этого текста, полностью равноправный с прочими персонажами, и посему его ни в коем разе нельзя путать с конкретным лицом – писателем, обремененным номером паспорта, армейского билета, кредитной карточки и т. п. Писатель не несет ответственности за текстуальное поведение Автора, ибо в литературе иной закон: судите!!! – и (может быть, даже) судимы будете! Цель любого автора – быть обреченным, осужденным и присужденным (включая высшую меру – Нобелевку).

Нильс Бор, если не ошибаюсь, говорил о том, что истины бывают двух разновидности – истина простая и истина высокая. Вторая отличается от первой тем, что и противоположное ей утверждение – тоже верно.

Вспомнил я об этом сейчас, дабы сразу охарактеризовать свое отношение к высказываниям Автора статьи “Истина с близкого расстояния”. Я попадаю их относящимися ко второй категории.

Начну издалека. Фрейд, Великовский (и Хмельницкий в том числе) столько постарались, двигая еврейский Исход по хронологической шкале (как тот движок на светлой памяти логарифмической линейки) и получая благодаря этому самые завлекательные интеллектуальные результаты, что я тоже решил предложить некую Исходно-историческую иллюстрацию.

Представим себе некоего, скажем, Иехошуа, даже еще и Бин-Нуна, совершившего нелегкий Исход, по уши занятого трудным делом устройства своих и прочих (то бишь, общественных) дел на достигнутой, наконец, исторической родине и вдруг узнавшего, что Там, в стране Исхода, новый фараон (ну, скажем, Эхнатон) затеял сногшибательную реформу...

Былые злость и раздражение Бин-Нуна в отношении страны Исхода давно отошли в далекое прошлое – ведь многие его годы прошли вне досягаемости администрации той страны, да и бардак на исторической родине, обнаруженный после прибытия туда, смягчил многие прежние его суждения... Как не посочувствовать новому реформатору?! Тем более, что, судя по всему, реформы его направлены на сближение с нашим богом!

Так что исходную позицию Автора, столь благосклонно анализирующего реформы новоявленного Эхнатона, я вполне понимаю и принимаю. Однако же сами его рассуждения мне представляются в высшей мере спорными. Прежде всего, я хотел бы отстранить от участия в предложенном А. Этерманом судебном разбирательстве кандидатуру господина Маркса, странно и необоснованно, на мой взгляд, вовлеченного Автором в компанию Ленина и Горбачева. Если уж искать еврея – соучастника экономического прегрешения господина Ленина, то таковым, без сомнения, является небезызвестный Иосиф (подпольная кличка – Прекрасный), ибо именно его “экономическая политика” (“экса”, то есть экспроприации) един-

ственно и была воспринята и применена великим стратегом захвата власти. Не потому ли Прекрасный (грузин) столь продвинулся впоследствии, что стал единственным реальным наследником стратега?

Что касается Маркса, то из него Ленин, на мой взгляд, взял вовсе не экономическую теорию (которая местами была вполне достоверна на узком историческом отрезке, но в которую вождь вовсе не считал нужным углубляться), а лишь его прогностическую ошибку. Не интеллектом (свидетельстве которого он нам не оставил), а чрезвычайно развитым инстинктом власти Ленин уловил взрывчатую силу предсказания неизбежности революции. Я даже подозреваю, что благодаря своей гениальной интуиции (или просто опыту жизни в благополучной Швейцарии) он угадывал недостоверность этого революционного прогноза, а посему так опасался любых углублений в марксову теорию, — за что и знаялся на Плеханова, Каутского и всех меньшевиков-“начетчиков”.

Напоминая об антимарксистской сути ленинского переворота, трудно удержаться, чтобы не напомнить также, что власть Ленин отобрал не у “миштров-капиталистов” правительства Родзянки и князя Львова, а у эсеров и эсдеков правительства Керенского, воспользовавшись как раз их разногласиями по вопросу о создании “демократической власти”, как говорится, “по науке”. Захватив же власть, он гениально нейтрализовал основного ее противника — подвластный народ — с помощью якобы марксистского лозунга: “Земля — крестьянам, заводы — рабочим”. Пикантность ситуации состояла в том, что сей лозунг не был обращен ни к крестьянам (кои упорно стояли за эсеров, о чем свидетельствует состав Учредительного собрания), ни к рабочим (кои поголовно были за эсдеков, о чем свидетельствует состав Советов до вливания в них “солдатских депутатов”). Лозунг сей был обращен, прежде всего, к толпам “революционных” солдат и матросов, чье дезертирство с фронтов было реабилитировано третьей частью знаменитой фразы: “...и мир — народам”. Этой вооруженной (а потому представлявшей единственную реальную оппозицию власти) толпой сей лозунг был понят мгновенно и просто: “Грабь награбленное!”

Было, правда, несколько десятков миллионов наивняков, принявших всерьез лозунги о земле и заводах и начавших — по той же наивности — работать всерьез, но этот вредный для марксистствующей власти трудовой пыл был быстро погашен следующим фараоном путем простого “уничтожения кулака как класса” и нескольких процессов “рабочей оппозиции” и им подобных. (О судьбе палестинских супернаивняков, тоже поверивших в эти лозунги, читайте в том же “22”, № 55 свидетельство Ривки Тагер.)

Кстати, сам приход Сталина к власти был точной (лишь замедленной копией) прихода к власти Ленина (что, кажется, не было замечено до сих пор ни одним исследователем). В самом деле, ленинские соратники в массе своей мало отличались от его же оппонентов — эсеров и эсдеков. Те же люмпен-интеллигенты, просто волею судеб и личных связей оказавшиеся не в том лагере, а в этом. Недаром столь тяжко, лишь подавляя истерику, он убогал их на участие в октябрьском перевороте. И точно так же, как их предшественники, так и сталинские соратники, придя к власти, тоже стали воспринимать марксистскую догму по-плехановски всерьез, пытаясь

приложить ее к подвластной ситуации. Сталкивая их лбами, лоя на бесконечных — и неизбежных — ошибках, Сталин задавил их всех и прибрал власть к рукам. Разница лишь в том, что на этот захват, для которого Ленину понадобилось семь месяцев, у Сталина ушло семь лет. Последующие репрессии также не содержали в себе ничего оригинального — и Ленин до последних дней своей жизни уничтожал уже поверженных противников.

Так что Сталин воистину был самым “верным и последовательным ленинцем”.

Из наследников Сталина один лишь Хрущев пытался слегка разворочить тлеющие головешки идеологии. Затем наступил глухой период коллективного маразма...

И вот пришел новый фараон. На Эхнатона, правда, он походит лишь лысиной, зато супруга его, в сравнении с прежними фараоншами, — истинная Нефертити (а если еще окажется под рукой придворный скульптор Тутмосов!) ... Новый сей властитель не только ворочает потухший костерок идеологии — он вдобавок еще плеснул на него бензинчиком гласности и приставил вентилятор для ускорения: пусть ярче горит светлый крематорий перестройки... Долой старые зажравшиеся кадры, даешь новое, эхнатонное пополнение рядов! На всю жизнь сохраняют они ему верность за ухващенные сейчас посты. Но ежели вновь кто-нибудь по наивности воспримет реанимированную “идеологию” всерьез, — ему путь один: вслед за товарищем Ельциным (Ель-Цы-Ным) . В крематорий...

Ну, а народ? Вот Автор пишет, что, мол, народ ради “величия” и “светлого будущего” отказался от водки. Не верю!!! Знаю я этот народ, тридцать лет и три года прожил я с ним, — не верю! Автор, я полагаю, не являясь любителем сего ценного продукта, просто не в курсе, товарищи. Я ж, напротив, — являясь, просек, мне кажется, гениальный ход ген-сека М. С. Г. Да! Ход этот действительно блестящ и оригинален. Ибо, пожерив всяческие там начетнические жидоватые идеи, опираясь исключительно на реальность, данную ему в ощущениях, непредсказуемый ген-сек, на самом деле, д а л н а р о д у в о д к у , только возведя ее при этом в высший ранг советской ценности — в ранг д е ф и ц и т а .

Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались мы за дефицит, за всякие там джинсы и сигареты?! Да что джинсы! — я вот помню, в славные 60-е был дефицит на презервативы, так один мой знакомый, раздобыв упомянутые, упорно их придерживал, утверждая, что обладание оным дефицитом куда приятнее, чем его пользование...

Теперь М. С. Г., не отменяя прежних видов дефицита, изобретательно создал новый, в с е н а р о д н ы й его вид, добывание и обладание коим создает абсолютную духовную и душевную занятость. Поголовно.

И народ — безмолвствует...

К чему сей экскурс в историю советской власти и советского дефицита? Какое отношение имеет он к экономическим размышлениям господина Эгермана?

Прямое. Экскурс этот должен вразумить, что существование советской системы целиком и полностью относится к сфере п о л и т и ч е с к о й , то есть к сфере в л а с т и , а не к сфере экономической, где только и допустимы задаваемые Автором вопросы: зачем, для чего и какой теории соот-

ветствуют действия М. С. Г.? Советская система является тоталитарной методой захвата и удержания власти, а посему все ее цели содержатся в ней самой: *д л я в л а с т и*. Для ее сначала захвата, а потом — удержания.

Что не отменяет выводов господина Этермана (он же — Автор), — см. выше высказывание Нильса Бора. В духе этого высказывания и я, обойдя истину со стороны, противоположной Автору (и находящейся в столь близком расстоянии от статьи 70-й УК РСФСР, что аж ностальгией прошибло), прихожу к тем же выводам: новый фараон цепко, по-ленински, ухватил власть, а посему ожидать от него можно всякого. Только не отказа от этой власти.

А посему, господа евреи (и тут я полностью с Автором согласен), — *е х а т ь н а д о!*

Виктор Богуславский (поселение Баркан)

...статья М. Азбеля

Уважаемая редакция!

С некоторым опозданием я прочитал в вашем журнале письмо Марка Азбеля о различиях в организации научной работы в Советском Союзе и Соединенных Штатах. На основе собственного опыта автор пытается помочь эмигрантам-ученым правильно ориентироваться в мире науки в США и Израиле, где игра ведется по иным правилам, нежели в СССР. Но значение его статьи значительно шире этой утилитарной задачи. В статье много интересных наблюдений и нетривиальных высказываний, так что ее прочли и те, кто не собирается делать научной карьеры.

Однако именно потому, что статья М. Азбеля привлекает внимание не только своей утилитарной стороной, я считаю необходимым поспорить с суждениями автора, содержащимися в его "литрическом отступлении" об арийской и еврейской науке.

Эти суждения отличаются двумя особенностями. Во-первых, игнорированием широко известных сведений из истории и философии науки. И, во-вторых, весьма странной для ученого путаницей простейших терминов и понятий.

Назвав имена пяти "великих евреев" — Моисея, Маркса, Фрейда, Эйнштейна и Троицкого, а затем добавив к ним Иисуса Христа — М. Азбель заявляет:

"Все это люди одной всепоглощающей идеи. Люди, для которых Теория имела бесспорный приоритет перед Экспериментом... Их теории всегда строились чисто умозрительно..."

Здесь спутаны два совершенно разных понятия, ибо можно быть человеком "одной идеи", но не ставить теорию выше эксперимента. Луи Пастер (француз) был одержим одной идеей и он же был великим экспериментатором, одним из создателей экспериментальной медицины. Грегор Мендель (немеценный чех), ввел экспериментальный метод в изучение наследственности и выдвинул великую идею гена. Еще более нагляден пример русского физика Лебедева: он был одержим идеей *э к с п е р и м е н т а л ь н о* взвесить свет, что ему и удалось. Как видим, поглощенность

идеи вовсе не противостоит уважению к эксперименту и не является сугубо еврейской особенностью.

Добавлю, что экспериментальный метод это один из методов познания *п р и р о д ы* (хотя и не единственный). Он используется только в естественных науках, но никак не в философии или, допустим, в политэкономии. Если можно обсуждать, в какой мере считались или не считались с экспериментами Эйнштейн и Фрейд, то по отношению к Моисею или Марксу такой вопрос лишен всякого смысла. М. Азбель, по-видимому, имеет в виду ф а к т и ч е с к и й м а т е р и а л, которым пользуется наука, но даже в естествознании таковой не сводится к данным экспериментов. Дарвин построил свою теорию на "Монблане фактов", но экспериментальные данные среди них занимали очень скромное место. Кстати, англичанин Дарвин был человеком одной идеи ничуть не в меньшей степени, чем Эйнштейн или Маркс.

Русский полужидев Мечников тоже был человеком одной идеи и порою грешил слишком поспешными обобщениями. Однако немец Геккель грешил тем же самым еще в большей степени, за что Мечников обрушивался на него с беспощадной критикой. В оторванном от жизни теоретизировании Мечников упрекал и Льва Толстого, чье мировоззрение – сугубо русский вариант христианства.

Пренебрежением к фактам отличались многие ученые, мыслители, политики разных национальностей. Так, француз Ламарк в начале XIX века измыслил псевдонаучное объяснение эволюции, а в XX веке ту же идею "внедрял", вопреки фактам, украинец Лысенко, которому подсобляла целая рать партийных и беспартийных негодяев – от Исаия Презента (еврей) до Иосифа Сталина (грузин).

Натурфилософия, как основной метод познания, утвердилась в Германии в начале XIX века. Ее основателями считаются Окен и Шлегель, но в большей или меньшей степени ею пронизана вся немецкая философия. Умозрением пытались постичь истину и Гете, и Гегель, и даже Кант, хотя именно он впервые дал обоснованную критику "чистого разума", чем проложил дорогу позитивизму. Откуда же следует, что склонность к умозрительным построениям Маркс унаследовал от матери, а не впитал с молоком кормилицы, именуемой гегельянством? Ленин, хорошо знавший марксизм, указывал на три его источника: а н г л и й с к у ю политэкономия, н е м е ц к у ю философию и ф р а н ц у з с к и й социализм. Что же общего с Моисеем можно найти у Маркса кроме роскошной бороды? Впрочем, Моисей был в младенчестве отторгнут от еврейской среды, и его мышление формировалось во дворце фараона, под влиянием египетских жрецов.

Об Эйнштейне имеется обширная литература, включающая в себя воспоминания хорошо его знавших ученых. Из этих вполне надежных источников он предстает крайне самобытным и самоуглубленным человеком, занятым разрешением спожнейших научных проблем и равнодушным к внешнему успеху. М. Азбель, к сожалению, не назвал имени биографа, который изобразил Эйнштейна высокомерным и нетерпимым. Думаю, что этим биографом скорее охарактеризовал самого себя: давно сказано, что каждый понимает в меру своей испорченности.

Находя склонность к умозрению и пренебрежению фактами общей чер-

той перечисленных им "великих евреев", М. Азбель ужасается собственному псевдооткрытию, заявляя, что "о б э т о м д а ж е с т р а ш н о д у м а т ь" (разрядка автора. — С. Р.). Чтобы его успокоить, я хочу предложить другой ряд имен: Ленин (русский), Сталин (грузин), Гитлер (немец), Лысенко (украинец), Мао Цзэ-дун (китаец), Каддафи (араб), Хомейни (иранец)... Я думаю, что если всерьез относиться к фактам, то в мышлении перечисленных личностей можно найти гораздо больше сходства с мышлением Троцкого, нежели между тем же Троцким и Эйнштейном или Фрейдом, не говоря уже о Моисее, во времена которого само понятие о мышлении не имело ничего общего с современным.

Собственную склонность к умозрительному теоретизированию М. Азбель тоже напрасно приписывает своему еврейскому происхождению. Сам его "теория", по справедливому указанию автора, заимствована у такого патентованного арийца, как Геббельс, который, впрочем, имел многих предшественников, в том числе среди русских теоретиков антисемитизма.

Семен Резник (Вашингтон)

В октябре-декабре журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: А. Анер (Холон) — 30 шек., Н. Байтальская (Нагария) — 30 шек., Х. Ботинко (Реховот) — 25 шек., Х. Иослин (Таль-Эль) — 15 шек., Л. Карапетян (Кфар-Саба) — 10 шек., Ю. Новосельская (Ариель) — 10 шек., Г. Шапиро (Герцлия) — 15 шек., Л. Фабрикант (Иерусалим) — 25 шек., Ю. Язловицкий (США) — 44 долл., Е. Светлова (США) — 10 долл., Г. Вильдгрубе (США) — 20 долл. Выражаем искреннюю признательность этим верным друзьям журнала. Обращаемся ко всем читателям с просьбой и впредь поддерживать журнал по мере возможности. Все, даже самые скромные, пожертвования будут приняты с глубокой благодарностью.

Редколлегия

ОТ РЕДАКЦИИ: По просьбе Наталии Рубинштейн она освобождена от обязанностей члена редколлегии.

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА "22" С ГЛУБОКИМ ПРИСКОРБИЕМ ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ В ВОЗРАСТЕ 44 ЛЕТ БЛИЗКОГО И ДОРОГОГО ЧЕЛОВЕКА – АЛЕКСАНДРА ГОЛЬДМАНА ИЗ РЕХОВОТА – И ВЫРАЖАЕТ СОЧУВСТВИЕ СЕМЬЕ ПОКОЙНОГО.

ПАМЯТИ ДРУГА

Я очень любил этого человека. И разве я один? Его любили очень многие, мужчины и женщины, и очень любили дети. Объяснять, за что и почему любят, — я не берусь. Говорят, что дети любят хороших людей. Может быть, лучше поэтому, отстранившись от любви, рассказать об Алике Гольдмане как о человеке? Конечно, каждый человек индивидуален. Но индивидуальность Алика, мне всегда так казалось, была совершенно необычной. Он был творчески одаренным человеком и обладал достаточным уровнем мотивации, чтобы реализовать этот творческий потенциал. Это, конечно, незаурядные качества, но сами по себе еще не необычные. Зачастую они сочетаются с ярко выраженным эгоцентризмом. Конечно, все мы, в той или иной степени, эгоцентрики; но у многих творческих людей их эгоцентризм имеет, я бы сказал, злокачественный характер. Так вот, эгоцентризм Алика Гольдмана был явно доброкачественным. Необычным в нем было именно сочетание одаренности и идущей с ней в пару серьезной амбициозности с каким-то поразительно глубоким и неподдельным интересом к проблемам окружающих его людей. Может быть, в этом проявлялось еще одно особое качество его натуры — врожденная артистичность, умение и желание отождествить себя с другими людьми, то качество, которое, в сочетании с незаурядным остроумием, доставляло столько радости и света окружающим? Меня всегда поражали вопросы, которые он задавал. Каким-то удивительным образом он знал, чувствовал, угадывал, что меня волнует сейчас больше всего — и спрашивал именно об этом. И я точно знаю, что не был в этом смысле исключением: с таким же проникновением, вниманием и тактом он относился к десяткам других своих друзей. И, возможно, не будет преувеличением сказать, что Алик именно поэтому стал одним из самых любимых, самых притягательных — и самых известных — людей в нашем кругу. Я не могу свыкнуться с мыслью, что его уже нет, и знаю, что точно то же ощущают сейчас сотни знакомых и незнакомых мне людей — по ту и эту стороны океана.

Но, может быть, именно потому Творец и призвал его к Себе так рано? Может быть, и Он нуждается в людях, умеющих сказать доброе слово в самый нужный момент? Что же остается нам? Увы, только горькая боль — и светлые воспоминания...

Георгий Дризлих

Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

**заведующая редакцией – Мириам БАР-ОР
технический редактор – Наталья РУБИНА**

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", Р. О. В. 7045, Рамат-Ган.
Телефон редакции – 1031-394525*

Представители журнала за рубежом:

США: L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805, USA.

ФРГ: L. Roitman, 67 Oettingenstr. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR.

Великобритания: R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4 4DD, England.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва–Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 65 шек., для организаций – 75 шек., за рубежом – 50 долл. (авиапочтой в Европу – 60, в США – 65 долл.), для организаций – 65 долл. (авиапочтой в Европу – 75, в США – 80 долл.).

Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС", ул. Рош-Пина 22, Тель-Авив

